





И.В. ФЕДОРОВ-ОМУЛЕВСКИЙ

Проза и публицистика



И. В. ФЕДОРОВ-ОМУЛЕВСКИЙ

Проза и публицистика

Москва • „Советская Россия" • 1986

Составление Н. В. Минаевой и В. Д. Оскоцкого

Вступительная статья В. Д. Оскоцкого

Примечания Н. В. Минаевой

Рецензент кандидат филологических наук Е. А. Таратута

Художник В. В. Еремин

Ф $\frac{4702010100-216}{М\text{-}105(03)86}$ 95—86



ЗА ПРАВОЕ, ЧЕСТНОЕ ДЕЛО

Впервые имя И. В. Федорова появилось в печати в 1857 году, когда начинающий литератор, вольнослушатель юридического факультета Петербургского университета под псевдонимом «Омулевский», ставшим отныне его второй фамилией, выпустил в своих переводах книгу сонетов Адама Мицкевича. Забегая вперед, скажем, что переводы, которыми он много и охотно занимался на протяжении всей жизни, не обладают значительной художественной ценностью. Если судить о них с высоты наших сегодняшних представлений о переводческом искусстве, то это были, скорее, не переводы, а вольные, «часто» и «даже очень» вольные, как признавался сам автор, переложения мотивов, свободные вариации на тему иноязычных оригиналов. При всем том, однако, они красноречивый факт его писательской биографии — и творческой, и гражданской. Самый выбор поэтов, будь то Людвиг Кондратович (Владислав Сырокомля) или Виктор Гюго, отбор их стихов, чаще всего вольнолюбивых, если не впрямую революционных, неопровержимо свидетельствовали не только о художественных пристрастиях и вкусах переводчика, но и о его идейных позициях и убеждениях. Многое здесь объясняют условия, в которых рос писатель, среда, которая формировала его духовно.

Иннокентий Васильевич Федоров-Омулевский родился в 1836 г. на Камчатке (Петропавловский порт) в семье исправника, переведенного затем в Иркутск полицмейстером. В губернском Иркутске, признанной столице Восточной Сибири, прошли детство и юность будущего писателя. В годы гимназического ученичества и последующей службы мелким чиновником он сблизился с политическими ссыльными, включая патриотов-революционеров, участвовавших в польском освободительном движении. Дружба с ними оставила в душе глубокий и благодарный след. Не случайно этот автобиографический мотив войдет спустя годы в роман «Шаг за шагом», главный герой которого, как и сам автор, рано «выучился... по-польски, познакомился в оригинале с Мицкевичем, Красинским, Лелевелем». Юношеское увлечение польской литературой сохранилось у Омулевского на всю жизнь, и мы вправе видеть в этом одно из многих свидетельств исторических традиций в развитии революционных и культурных связей России и Польши. «Мицкевич стал моей настольной книгой»,— писал он о своем «осознании красот великого поэта» в письме другу, зем-

ляку-иркутянину П. Н. Васину, которое поместил в качестве предисловия к переводам.

Книга «Мицкевич в переводе Омулевского» успеха не имела, даже вызвала критический отзыв Добролюбова[1], но по-своему помогла начинающему автору войти в литературу. И хотя в течение четырех лет, последовавших за этой неудачей, вплоть до стихотворных публикаций 1861 года в журнале «Век», имя И. В. Омулевского в печати не появлялось ни разу, то были для него годы решающего самоопределения — осознания своего жизненного предназначения, творческого призвания. Не дослушав университетского курса, он уехал сначала в Витебск, где недолго служил чиновником, затем в Псков, но снова вернулся в Петербург с твердым намерением целиком отдаться писательскому труду. В литературном кружке сибиряков, проживавших тогда в столице, он читал свои поэтические и прозаические опыты. Здесь встретился с Н. С. Щукиным, который вскоре напечатает его первую прозу в иркутском сборнике «Сибирские рассказы» (1862), и Н. М. Ядринцевым, впоследствии издателем еженедельной газеты «Восточное обозрение», где И. В. Омулевский будет активно сотрудничать в конце жизни.

60—70-е годы — время интенсивной литературной деятельности, разносторонней творческой работы И. В. Омулевского как поэта и прозаика — были едва ли не самой насыщенной, идейно противоречивой, драматически напряженной полосой в истории русского революционно-освободительного движения. «Либералы 1860-х годов и Чернышевский,— писал спустя полвека В. И. Ленин,— суть представители двух исторических тенденций, двух исторических сил, которые с тех пор и вплоть до нашего времени определяют исход борьбы за новую Россию»[2].

Резкое политическое размежевание революционной демократии и либерального охранительства происходит на гребне первой революционной ситуации и ведет отсчет от раскола в редакции «Современника», от самоопределения журнала на позициях Чернышевского и Добролюбова. «Современник» же был не островом в океане, а целым материком, как магнит, притягивавшим к себе все демократические силы русского общества. Заложенные им традиции революционно-демократической журналистики отстаивали и развивали «Искра», «Гудок», «Будильник». Усилиями видного демократа-просветителя Г. Е. Благосветлова трибуной передовых идей времени стал также журнал «Русское слово». В 1866 году, после каракозовского выстрела, «вследствие доказанного с давних времен вредного... направления» журнал был закрыт «по высочайшему повелению». Г. Е. Благосветлов возглавил тогда журнал «Дело», чья широкая демократическая программа привлекла как прежних сотрудников во главе с Писаревым, так и новых сподвижников. И. В. Омулевский активно пе-

---

[1] См.: Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти т., т. II. М.; Л., 1962, с. 346—347.

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 174—175.

чатался в «Современнике», «Искре», «Будильнике», «Русском слове». Главные прозаические произведения его опубликованы в журнале «Дело».

В лагерь революционной демократии писатель пришел в начале творческого пути, когда, по воспоминаниям Н. М. Ядринцева, «со всем пылом юности и жажды просвещения бросился в... атмосферу горячих увлечений тогдашней русской молодежи». За этот выбор приходилось платить бедственным положением «литературного пролетария», как называл себя И. В. Омулевский в одном из писем,— «ужасным, безвыходным» положением человека, обреченного на мученическую борьбу с нуждой, отчаянно выбивавшегося, но так и не сумевшего выбиться из нищеты.

Справедливо будет признать, что в творчестве И. В. Омулевский предстает личностью куда более сильной, стойкой и цельной, чем в жизни, которую Горький, применительно к судьбам большинства литераторов-разночинцев, редко доживавших до сорока лет, называл голодной, трущобной, кабацкой. В этом нет никакого противоречия: жизнь была терзанием физическим, творчество — озарением духовным. В жизни случается проявить слабость характера, особенно когда видишь себя в тисках безысходных обстоятельств. Писатель не вправе позволить себе слабости духа, зная, как неминуемо отзывается она робостью мысли и фальшью слова.

Закономерно, что одним из ближайших, если не самым ближайшим, ориентиром для Омулевского-поэта была некрасовская «муза мести и печали». И хотя до идейно-художественных вершин творчества старшего современника ему не дано было подняться, свой творческий поиск он осуществлял в русле, проложенном гражданской лирикой Некрасова.

Сознательная ориентация на образцы безусловно имела место. Но неверно было бы видеть в этом всего лишь старательное подражательство, прилежное ученичество. При очевидной несопоставимости талантов, несоизмеримости мастерства творческие миры Некрасова и Омулевского оказывались сопредельными в силу кровного или, если говорить языком литературоведческих понятий, типологического родства. Такого глубинного родства, при котором за внешними точками сопряжения сокрыты внутренние сцепления, в свою очередь отражающие характерный для 60—70-х годов прошлого века тип взаимосвязей литературы и жизни, искусства и действительности. Жизнь, действительность привносили в идеи и образы писательского творчества близкие темы и мотивы, сходные интонации, мелодии, ритмы, становившиеся в структуре стиха тем общим признаком, который объединял многие поэтические индивидуальности.

При всей, однако, очевидности сходства и близости как с Некрасовым, так и с другими поэтами-шестидесятниками, будь то А. Плещеев или М. Михайлов, В. Курочкин или Д. Минаев, у И. В. Омулевского была и своя «целина». Она принадлежала ему одному, и только он мог распахать

ее не в пример многим другим старшим и младшим современникам. Такой разработанной И. В. Омулевским целиной стала для русской поэзии 60—70-х годов тема Сибири, сибирского края, необоримой силой слова приближенного «сквозь снега и морозы», через тысячеверстные расстояния. Неоглядные просторы отчей земли, суровое величие ее природы, неразмытые краски равнинных и горных пейзажей сливаются в своеобразную симфонию: взаимосвязанными тематическими мотивами ее воспринимаются «дорожные наброски» поэта, колоритные описания бытового уклада, обычаев и традиций, увлеченная поэтизация характера, доминантой которого выступают «дух, стремящийся к свободе, любящий простор; поиск дела, жажда света». Еще дальше на восток простирается взгляд поэта в стихотворениях камчатского цикла. И. В. Омулевскому принадлежит одно из первых мест в поисках демократического решения национальных проблем России, в выдвижении требований широкого просвещения среди малых народов Сибири и Дальнего Востока.

Художественное открытие Сибири совершал И. В. Омулевский и своей прозой. Примечательно, что самый первый его рассказ появился в составленном Н. С. Щукиным сборнике «Сибирские рассказы» и назывался «Сибирячка». Датированный 1862 годом, он носил отчетливо выраженный антикрепостнический характер и представлял собою расчет писателя с только что отмененным крепостным правом — чудовищной реальностью российской действительности.

Попытаемся представить, как был прочитан рассказ тогдашними читателями, какие ответные мысли будил в их сознании. Конечно же, было здесь и проклятие нравственным уродствам жизни, которые порождал крепостнический миропорядок, крушивший человеческие судьбы, и восхищение моральной чистотой, духовной цельностью, силой воли крепостной девушки, так отчаянно, исступленно вступившейся за свое попранное достоинство. Как говаривалось во времена «Бедной Лизы», и «крестьянки любить умеют». Однако глубинный смысл рассказа не в повторении этой самоочевидной истины, которая в середине прошлого века доказательств уже не требовала. Все дело в том, какой ценой отстаивает героиня свое неотъемлемое право на любовь, которую уберегла, сохранила, пронесла незапятнанной через все лихие мытарства. Годами каторги заплатила она за убийство развратника-барина, которое писатель отнюдь не склонен вменять ей в вину, хотя бы и вынужденную. И не безгласной жертвой рокового стечения обстоятельств воспринимает писатель свою «сибирячку», но правой мстительницей за унижения и обиды.

Антикрепостническая тема углубленно разрабатывалась И. В. Омулевским и в опубликованном в 1882 году рассказе «Острожный художник», но обретала при этом особый поворот, подсказанный стойкой традицией русской прозы, которая восходит и к герценовской повести «Сорока-воровка», и к тургеневским «Запискам охотника». Трудно сказать, в какой мере доподлинна житейская история «затерянного в глуши сибирского

этапа» художника-самородка, но даже если и списана она «с натуры», писатель сумел придать ей художественное обобщение, поднять до типической трагедии самобытных народных талантов. На них никогда не скупилась российская действительность, но чаще всего обрекала на неминуемую гибель.

«Рассказом из путевых впечатлений» названа в подзаголовке «Сибирячка», «очерком из мира забитых талантов» — «Острожный художник». Первым определением сопровождаются также рассказы «Медные образки» (1862), «Сутки на станции» (опубликован в 1904 году), черновой автограф незавершенной рукописи «Ученые разговоры». Вторым — неоконченный рассказ «Без крова, хлеба и красок». Есть еще оборванные на полуслове «Рассказы в осенние вечера» с подзаголовком «очерки из воспоминаний о погибших людях», начатый, но тоже недописанный цикл «В мировой камере», названный «заметками для будущих жен и матерей». Столь настойчивое повторение жанровых определений, сближающих рассказ с очерком, носило для писателя отнюдь не формальный характер. Оно указывало на особенности новеллистики И. В. Омулевского, ее, если так можно сказать, родовые черты, преемственно воплотившие идейно-художественное своеобразие «натуральной школы». К созданию типических характеров и обстоятельств писатель шел путем скрупулезного исследования «частного» факта, конкретного случая или события. В поэтике и стилистике его прозы это отозвалось намеренно подчеркнутой очерковостью рассказов; постоянным присутствием в них автора, который, как правило («Сутки на станции» и «Ученые разговоры» — единственные, кажется, исключения), ведет повествование от первого лица или, едва начав, тут же передает главному действующему герою; нескрываемым стремлением, не лишая свое живописание художественной обобщенности, придать ему непререкаемую достоверность документального свидетельства — моментального снимка действительности, сиюминутных наблюдений над жизнью, непосредственных впечатлений бытия. Разумеется, полемически демонстративное признание за собой роли беспристрастного созерцателя — не более чем видимость, иллюзия, искусно подстроенная с одной-единственной целью такого безраздельного погружения художественной мысли в стихию повседневности, когда у читателя создается стойкое, твердое убеждение в абсолютной доподлинности происходящего, когда и малого повода не оставлено для сомнений в том, что не сочинитель рассказывает о жизни, а жизнь говорит под его пером на многие и разные голоса.

В рассказе «Медные образки» это монологический голос станционного смотрителя, раскрывающего перед героем-повествователем дикую картину чиновного насилия и произвола, взяточничества и мздоимства в той атмосфере безнаказанности, которую порождала система государственной службы как в крепостнической, так и в пореформенной России. В рассказе «Сутки на станции» — хор нескольких голосов, полифонично соединенных в разнобойную сутолоку всего одного дня, такого же тусклого,

как и вся «безрассветно-темная, горькая жизнь» в провинциальной глуши. Чеховская ирония, развившая и обогатившая гоголевский «смех сквозь слезы», пока что неведома русской литературе, но отдаленное предвосхищение ее уже угадывается в обилии колоритных деталей, составляющих пеструю мозаику застойного быта, в метких речевых характеристиках, передающих простонародный говор, во множестве трагикомических эпизодов и откровенно фарсовых ситуаций.

Не менее показательны для идейной позиции и творческой ориентации писателя неоконченные рассказы. Первый — «Ученые разговоры» — примечателен как бытовая сатира нравов, перерастающая в сатиру социальную. Широк диапазон писательского изображения уродств российской действительности, увиденных в провинциальной глуши: не сама по себе глупость или тупость человеческая, но порождающие их беспросветность губернского захолустья, унылая обыденность бездуховного существования в непрерывном чаду, непреходящем угаре похмелья. Как зловещее порождение условий жизни, олицетворенное воплощение ее общественных пороков выведен распутный отец Николай — обобщенный тип захребетника-паразита, наживающегося на темноте и невежестве народа, растлевающего его разум и душу. Так и не дошедшее до печати сатирическое слово писателя приняло на себя отсвет одной из обличительных традиций русской классики, направлявшей свое отточенное острие против духовенства, в разложении которого проницательно угадывала признаки социальной и духовной деградации самодержавного строя.

В двух других, также незавершенных, но опубликованных (один — прижизненно, второй — посмертно), рассказах сибирская глубинка уступает место петербургским трущобам — социальному дну, где обитают униженные и оскорбленные неудачники, люди несостоявшихся, сокрушенных судеб, несбывшихся, обреченных надежд. В рассказе «Без крова, хлеба и красок» это художник Толстопяткин, духовно сломленный, опустившийся, тщетно прячущий за показной клоунадой «гнетущую скорбь», которая вот-вот выплеснется «неизбежной катастрофой». Кричащий контраст его отчаянному положению — взлеты таланта, о которых догадывается герой-повествователь, разглядывая «мастерски набросанный масляными красками эскиз на толстой картонной бумаге в величину квадратного аршина». Если, руководствуясь писательским представлением картины, вообразить ее мысленно, то где, как не в живописи передвижников, можно отыскать ближайшие аналогии? И. В. Омулевский недвусмысленно подсказывает их безукоризненным воссозданием «передвижнического» духа и колорита. Тем самым подчеркивается социальная природа происходящей драмы: самодержавная действительность обрекает на нее передовое демократическое искусство, проникнутое сочувствием страждущим и обездоленным, протестом против власть предержащих.

Рассказ «В мировой камере» задуман и начат как типичный «физиологический очерк». На это определенно указывает публицистическое обра-

щение к «невзыскательной читательнице», которая, уверен писатель, потребует от него «только ясности и полноты рассказа, да серьезного, глубокого сочувствия к... предмету» повествования. Предметом же, близко ее касающимся, избраны «те практические стороны женского вопроса, которые до настоящего времени более или менее ускользали от прямого наблюдения и только теперь, благодаря нашей судебной реформе, выглянули на свет божий в своем натуральном, неприкрашенном виде».

В этом и многократных последующих упоминаниях судебной реформы явственно слышна авторская ирония, полемично нацеленная против либерального прекраснодушия, с верноподданническим энтузиазмом воспринявшего допущенный самодержавием гласный суд присяжных. Два судебных дела, обстоятельно изложенных в рассказе,— всего два из многих возможных! — призваны убедить: новый порядок судопроизводства — не более чем заплата на общественной совести, по-прежнему бессильной изменить что-либо в бедственном положении «темных горемык» — ни спасти их от «безысходной нищеты», ни утолить «горячую жажду честной работы» и «любви настоящей, горячей, беззаветной». За рекламным фасадом худосочной реформы И. В. Омулевский прозорливо разглядел не мишурный призрак демократических свобод, застлавший глаза, одурманивший сознание либеральствующих краснобаев, а «глубокую, полную жизненности драму» убогих чердаков и гиблых подвалов...

Если, обращаясь к поэзии И. В. Омулевского, в поисках возможных аналогий мы называем Некрасова, а говоря о «малой» прозе, держим в виду авторов «Физиологии Петербурга» и «Петербургского сборника», то разговор о романе «Шаг за шагом» (1870) будет попросту невозможен без упоминания романа Чернышевского «Что делать?». Написанный в тот самый год, когда И. В. Омулевский выступил с прозаическими произведениями — рассказами «Сибирячка» и «Медные образки»,— роман «Что делать?» на протяжении двух последующих десятилетий оказывал решающее воздействие на формирование и углубление революционно-демократических традиций русской прозы, утверждение в ней образов «новых людей» — героев, чье созидающее социально-активное действие не оставляло более места не только рефлексиям «лишнего человека», но и разрушительному нигилизму базаровского толка. В таком русле, проторенном идейной борьбой 60-х годов, появился роман «Шаг за шагом». Передовая общественная мысль России сразу же восприняла его как явление, сопредельное роману «Что делать?» и противостоящее фальшивым сочинениям воинствующе «антинигилистического» направления, а также таким, где «антинигилизм» автора маскировала громкая либеральная фраза.

Знаменательное в этом отношении свидетельство мы находим в «Истории моего современника», где крайними полюсами резкого размежевания литературных лагерей взяты романы Д. Мордовцева «Знамение времени» и И. В. Омулевского «Шаг за шагом». «Мордовцев,— вспоминал Короленко,— был писатель не вполне искренний и сильно «себе на уме»... Свой ро-

ман он начал эффектным бредом больного. В картинах этого бреда ловились намеки на казнь Каракозова. Это кидало на весь роман неуловимый для цензора, но ясно ощутимый покров «революционности»... Роман имел в то время огромный успех. Его зачитывали, комментировали, разгадывали намеки, которые, наверное, оставались загадкой для самого автора... Омулевский был гораздо искреннее и проще. От его романа веяло молодой верой и какой-то особенной бодростью. Слабохарактерный, спившийся, погибавший, он как бы раздваивался в своем произведении: себя он вывел в лице доктора, мрачного меланхолика, страдающего запоем, безнадежно загубленного уже мраком окружающих условий, но благословляющего своего молодого друга Светлова на новую жизнь и борьбу. В Светлове, как об этом свидетельствует уже самая фамилия, воплощена вера в будущее. Он бодр, силен, светел. Все ему удается, все преклоняются перед его знаниями, характером, особенной удачливостью». Иронизируя далее над «эзоповскими намеками и шарадами», которыми герои Мордовцева «закутывали» слово «революция», Короленко отмечал, что в романе И. В. Омулевского оно угадывалось ясно и определенно как ближайшая перспектива «общества, вышедшего из крепостного строя и остановленного на пути к всестороннему раскрепощению...».

Сформировавшись в духовной атмосфере 60-х годов, И. В. Омулевский чутко отозвался и на те новые идейные веяния, которые, исподволь вызревая в общественном сознании пореформенной эпохи, в 70-е годы стали ее знамением. Ничего удивительного: в истории десятилетия не отгорожены одно от другого неприступной стеной. Появившийся на рубеже двух десятилетий роман «Шаг за шагом» равно принадлежит им обоим.

Появление его совпало хронологически с публикацией «Исторических писем» Петра Лаврова (1868—1869), чья проповедь «неоплатного долга перед народом» получила мощный отклик среди демократической молодежи, послужила идейным обоснованием ее последующего «хождения в народ». Предвосхищением этого начального этапа в движении революционного народничества и было, по существу, погружение героя И. В. Омулевского в стихию народной жизни. И хотя сам народ не выступает пока в богатстве индивидуальных характеров и судеб, а представлен совокупностью обезличенных портретов, которые даны в романе приблизительным общим планом,— «широкий в кости кузнец», «видный мужик среднего роста», «чистокровный тип сибирской сметливости и находчивости» и т. д.,— Светлов находит в нем живительный источник, который питает его революционную веру, заряжает новой энергией для борьбы.

Подобно тому, как деятельность Светлова, разворачиваясь в 60-е, устремлена в 70-е годы, так и его характер воплотил типические черты не только революционера-шестидесятника, но и революционного народника, вышедшего на арену русской истории в следующее десятилетие. С одной стороны, в нем очевидна рахметовская родословная, а с другой — не менее ярко выявлен и тот стержень, который роднит его с «сильной критически мыслящей личностью» (П. Лавров), сменившей в 70-е годы «нового чело-

века» 60-х годов, и предопределяет обобщенный социально-психологический портрет пропагандиста-семидесятника. Недаром пропагандистская идея «проводить как можно больше сознания в массу» уже безраздельно владеет помыслами Светлова и даже приносит первые ощутимые плоды, отзываясь настоящим делом — стачкой на Ельцинской фабрике, которая подана в романе не как случайный выплеск вспыхнувшего недовольства, а как выражение повсеместно зреющего протеста фабричного люда против притеснений и угнетения.

Обратим, далее, внимание и на то, как погруженность повествования в 60-е и одновременная устремленность в 70-е годы прослеживаются даже на языковом уровне. «И локомотив идет сперва тихо, будто шаг за шагом, а как разойдется — тогда уж никакая сила его не удержит»,— обосновывает, например, Светлов стратегию и тактику революционного действия, проясняющие и тот ключевой смысл, который вкладывает писатель в название романа. Опрометчиво было бы определенно подключать эту реплику к известному образу Маркса, назвавшего революции локомотивами истории[1], хотя, с другой стороны, почему бы и не допустить, что писатель мог знать или слышать распространенное выражение, которое ввела в обиход марксовская работа «Классовая борьба во Франции», появившаяся за два десятка лет до романа «Шаг за шагом»? Дело, однако, не столько в прямой, сколько в опосредованной этимологии образа. Войдя в речевой строй романа И. В. Омулевского, локомотив истории как бы соединил революционно-демократическую лексику 60-х с народнической фразеологией 70-х годов.

Продолжая образную аналогию, заданную романом, мы вправе числить Светлова в машинистах локомотива, приняв, разумеется, те оговорки, которые делает писатель в финальном обращении к «неудовлетворенному, а может быть, и недоумевающему читателю», называя свое и его время переходным, малоблагоприятствующим занимательным сюжетным интригам. Или, говоря иначе, временем безвременья, не путей, но перепутий, когда пора «практической деятельности» еще не пришла и лишь «ее далеко не окрепшее начало» прорисовывается «как бы еще в утреннем тумане»: будущее исподволь прорастает в настоящем...

Предощущением этого будущего проникнуты главы незаконченного романа «Попытка — не шутка» (1873). Применительно к нему мы вынуждены судить больше о замысле, чем воплощении, и можем говорить лишь о том, как накрепко завязал писатель сюжетные узлы повествования, не зная даже предположительно, как он намеревался их развязать.

Начальные три главы, напечатанные в «Деле», содержат развернутую экспозицию к действию, которое, судя по всему, должно было развиваться динамично, стремительно и бурно, словно бы наперекор суждениям И. В. Омулевского в «Шаг за шагом» о том, что минула пора «блестящих интриг» —

[1] См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 86.

завлекательных сюжетов. Рассказ князя Львова-Островского об экстравагантных выходках его эмансипированной «тетушки» Евгении Белозеровой, которой суждено стать главным действующим лицом романа, сулит впереди немало неожиданностей,— предчувствие их вполне оправдывает сцена ее дуэли с доктором Матовым. Ясна в основном и расстановка героев. Бонвиван-князь, великосветский лоск которого не более чем ширма, скрывающая его пустоту и никчемность. Доктор Матов, человек, скорее всего, светловского склада. Как и предшественника, его отличают «стойкость собственных убеждений», «нелицеприятная терпимость относительно чужих мнений». В нем сочетаются «спокойное, отрезвленное наукой отношение к явлениям действительной жизни» и «горячее стремление помочь этой жизни». Польза, какую он хотел бы «оказывать обществу», не измеряется «количеством приобретаемых денег». При всем том просветительская или пропагандистская деятельность революционера — еще не его удел, хотя «общественные вопросы» поглощают пытливое внимание, «неясное брожение современного общества» отзывается неутоленной жаждой «широкой, ничем не стесняемой, общественной деятельности» и несет, «как могучий поток... через все препятствия, к далеко намеченной цели». Все это звучит куда как неопределенно. Но ведь и герой романа еще только приглядывается, примеривается к жизни, ищет в ней приложение своим силам.

В последующих шести главах, открывшихся нам по черновому автографу, в действие включается еще один герой, которому, по-видимому, отводилась также ведущая роль. Это управляющий завидовским железным заводом Терентьев, «деловой малый, немного буржуа, с американской складкой». Дальнейшее развитие сюжета показало бы, насколько верна такая аттестация Терентьева, которую дает ему Матов по первому впечатлению, во благо или во вред вышел бы его «американизм», который пока что выступает синонимом деловитости, предприимчивости, рачительности.

И авторские описания завидовских порядков, и рассуждения героя об организации на заводе труда и быта не дают оснований для вывода о том, что И. В. Омулевский, идя по следам романа «Что делать?», предпринял попытку показать социалистический идеал в его жизненном воплощении, реальном действии. Однако и авторское предпочтение «разумного экономического расчета», ориентированного на долговременную перспективу, сиюминутному «грошовому» интересу не надо недооценивать, каким бы прагматическим или утилитарным оно ни казалось, как бы ни было лишено моральных стимулов и нравственных оснований в словах Терентьева, подменившего гуманистический смысл своей деятельности меркантильными соображениями хозяйственной выгоды. Стоит сопоставить завидовский завод с Ельцинской фабрикой из романа «Шаг за шагом», чтобы понять, как настойчиво искал писатель надежное противоядие управленческим ли злоупотреблениям, административному ли произволу, которыми заявляла о себе новая — капиталистическая — эксплуатация, углублявшаяся по мере роста фабрично-заводского производства. Альтернатива, предложенная ей, конечно же, наивна, кар-

тина благополучия, набросанная во втором романе, идиллична, но включение этого мотива в повествование несомненно свидетельствовало о писательской чуткости к явлениям и проблемам, привносимым в российскую действительность развитием капитализма.

Сюжетно изображение завидовского благополучия важно еще с одной точки зрения. Терентьев управляет заводом, который принадлежит Евгении Белозеровой, стало быть, действует с ее ведома и согласия. Тем самым борьба героини романа «на пользу женского дела» обретает бо́льший простор, чем только защита своего человеческого достоинства в сфере личной, интимной жизни. Сама проблема эмансипации женщины, таким образом, ставится и решается не в узком нравственном, но широком социальном плане. Нам не суждено знать, насколько органично соединились бы оба плана в дальнейшем, но заявка на их синтез уже сделана. Некоторые детали повествования, как бытовые, так и психологические, поданы с явным намеком на то, что Белозерова недолго устоит в «мудреных принципах» неприступной девы-затворницы, наглухо замкнувшей свое сердце. Оно не выдержит, дрогнет под напором жизни, запросит любви и захочет ответить на любовь. Вряд ли это уведет ее от общественной деятельности, от решения социальных задач, где героиня романа еще полнее проявит себя как свободная личность.

Такое направление художественной мысли предсказывалось авторским подзаголовком к роману: «Посвящается русской женщине». Слова эти таили немалый заряд полемического вызова официальным установлениям. Как рассуждал Салтыков-Щедрин в рецензии на «Шаг за шагом», самое «стремление женщины обеспечить свое существование самостоятельным трудом вызывает насмешки, а попытка встать в равноправные отношения к мужчине возбуждает уже прямое презрение и клеймится специальным названием «распущенности нравов»[1].

Но не только на защиту сословно-кастовых нравов поднялась царская цензура, оборвав публикацию романа,— она по-своему проницательно разгадала в нем и подрыв социальных устоев самодержавия. За запретом романа «Попытка — не шутка» вскоре последовали внезапный арест Омулевского, обвиненного в «антиправительственных высказываниях», заключение сначала в Петропавловскую крепость, а затем в петербургскую тюрьму Литовский замок. Казалось, писателя ждет участь его лучших современников — Чернышевского и Н. Серно-Соловьевича, М. Михайлова и Н. Шелгунова. Судьба, однако, улыбнулась ему, возможно, не в первый, но наверняка последний раз в жизни. Освобожденный за недоказанностью «преступления» в том же 1873 году, И. В. Омулевский не стал продолжать работу над обреченным романом. Отныне и до конца жизни (1883) он останется для читателей только поэтом и публицистом, автором репортажей и обзоров на злобу дня.

Правда, и публицистика И. В. Омулевского, уступающая прозе

[1] Салтыков-Щедрин М. Е. Полн. собр. соч. в 20-ти т., т. 9. М., 1970, с. 415.

в художественном качестве, достаточно оригинальна по фактуре и форме, чтобы даже с нынешнего временного расстояния не потускнеть, не затеряться в потоке журнальных публикаций. Что же говорить тогда о восприятии ее современниками, чутко и остро реагировавшими и на больные вопросы жизни, к которым писатель приковывал внимание, и на идейную полемику с чуждыми ему общественными настроениями, оспариваемыми позициями и взглядами, и на нескрываемо ироническое или откровенно сатирическое изображение некоторых общеизвестных деятелей тогдашней журналистики, громогласно выставленных на всеобщее осуждение! Все это было в пестрой мозаике житейских историй, хронике малых и больших событий, монтаже цитатных извлечений из газетной и журнальной периодики, все соединялось вместе, прошивалось авторской мыслью и интонацией и становилось поводом для оперативного отклика, короткого или развернутого комментария, полемически заостренных суждений, выводов, оценок. Последние нередко подавались в форме стихотворного фельетона, литературной пародии: так в публицистическую прозу И. В. Омулевского входили образцы его сатирической поэзии.

Публицистическая проза... Такое определение представляется куда более правомерным, нежели жанровое обозначение «фельетон», сопровождающее публикации и «Мимолетных набросков» в «Живописном обозрении», и «Набросков сибирского поэта» в «Восточном обозрении». Даже если учесть, что во времена автора фельетонами назывались любые статьи, составляющие «отдел россказней в газете» (В. Даль), а не только те, где использовались «юмористические и сатирические приемы изложения» (так объясняется «фельетон» в современных словарях), то и в этом случае произведения Омулевского-публициста принадлежат, скорее, литературе, чем журналистике. Больше того: они представляли собой один из возможных вариантов писательского дневника в том именно смысле, какой придавал этому новооткрытому жанру Достоевский, хотя, разумеется, с его «Дневником писателя» сравнения не выдерживают. И дело тут не просто в разномасштабности талантов, большем или меньшем совершенстве формы. Суть — в содержательном наполнении формы, требующей мысли не только социально острой, но философски глубокой. Диалогичность «дневника писателя» — структурный принцип его построения — не для монологических «набросков», с которыми выходил к читателям И. В. Омулевский.

Это, однако, не помешало ему начать их первую же публикацию открытой полемикой с Достоевским — с провозглашенным в «Дневнике писателя» историческим правом России на Константинополь. Отвергая этот тезис, И. В. Омулевский разделял критику политических идей и пророчеств Достоевского, которая исходила от публицистов (П. Н. Ткачева, А. М. Скабичевского и других) демократического лагеря, народнического направления. Стояло за спором Омулевского с Достоевским и их разное отношение к русско-турецкой войне 1877—1878 гг.

Многоразличны другие адреса авторской полемики. Не все они безоши-

бочны и справедливы. Поспешны и торопливы упреки Тургеневу. Явно не прав И. В. Омулевский, подозревая Л. Толстого в «халатных отношениях» к читательской публике. Коррективов и уточнений требует спор с М. А. Антоновичем. Но, погружаясь вослед «наброскам» в водоворот отшумевших с течением лет дискуссий, в кипение поостывших со временем полемических страстей, выветрившихся из памяти личных столкновений, нельзя не отдать должного Омулевскому. Как бы ни заблуждался он в тех или иных крайних суждениях, как бы ни «перегибал» их, ни «перебарщивал», увлекаясь,— его позиция, помимо всего, максималистски диктовалась высоким уровнем нравственных требований к литературному быту, этике таких творческих взаимоотношений, когда превыше всего ставятся интересы общего дела, а для «печальных фактов обидчивости, неоспоримо доказывающих существование у нас эпидемии невытанцовавшихся самолюбий», не остается попросту места. Отсюда — демонстративная нетерпимость ко всякого рода литературным и журналистским аномалиям. Олицетворением их чаще всего предстает А. С. Суворин, вводивший в русскую журналистику нравы «желтой прессы»[1].

Но не одни литература и журналистика давали И. В. Омулевскому основания обличать в духе революционно-демократической публицистики и критики «общественные нравы и привычки». В преизбытке поставляли их «некоторые факты будничной действительности», почерпнутые в личных ли наблюдениях, в газетных ли хрониках происшествий. От факта, случая, эпизода к суду над действительностью, приговору ей — такой путь восхождения совершает публицистическая мысль писателя, утверждающего свою веру в гуманистические идеалы общества и благородные цели человека.

Немало беспокойного и тревожного подсказывает И. В. Омулевскому судебная хроника, позволяя даже в «мелких явлениях обыденной действительности... искать разгадки нашего общественного строя или, вернее сказать, неустройства...». Воистину слово найдено. Не прозрачный намек — точное указание на первопричину того зла, всех тех действительных уродств жизни, которые вызывают неподдельное возмущение то «неподражаемым цинизмом» капиталистического предпринимательства, то вседозволенностью насилия над человеком, унижения личности, оскорбления ее достоинства. Позиция «молчаливого презрения», как писатель заявил было сгоряча по конкретному поводу, не для него...

То же и в «Набросках сибирского поэта» — последней прижизненной публикации И. В. Омулевского. Явным контрастом их общему критическому настрою звучит лирическое обращение к родному Иркутску, городу отрочества и юности: «Я помню блестящую плеяду европейски образованных людей (читай: ссыльных революционеров.— *В. О.*), дававших тон твоему об-

---

[1] Отношение И. В. Омулевского к А. С. Суворину засвидетельствовано его эпиграммой: «Он первый на Руси создал литературную клоаку и первый пятиться в ней стал, подобно раку» (ЦГАЛИ, ф. 371, оп. 2, ед. хр. 10).

ществу, вносивших в его жизнь осмысленное уважение к личности, нравственную чистоплотность и благопристойность». Нынешняя «мерзость запустения», встретившая автора на родине, не дает выхода трепетному ностальгическому чувству, как не дают его и другие сибирские впечатления, вынесенные из поездки 1879 года. И здесь его внимание сосредоточено на жалобах «о притеснениях, обирательстве и противозаконных поступках» губернских и уездных властей, чиновников и священнослужителей, местных богатеев, падких на наживу за народный счет. Сгущение сатирических красок? Заострение полемических приемов? Если бы...

Как ни занимала, однако, И. В. Омулевского публицистика, внутреннее влечение к большой прозе все же не оставляло его. Свидетельство тому — две дешевые тетрадки с обтрепанными краями, густо исписанные плотным, мелким, убористым почерком. «Софья Бессонова. Повесть» — значится на одной. «Новый губернатор. Роман» — выведено на другой. И повесть, и роман только начаты. Однако и начальные главы их — не самое действие, а всего лишь экспозиция к действию — обладают историко-литературной ценностью и как факты творческой биографии писателя, и как выражение идейных исканий художественной мысли, пытавшейся найти выход из противоречий и драм эпохи, развязать тугие узлы социальных конфликтов.

Повесть «Софья Бессонова» наверняка задумывалась как своеобразное продолжение, хотя и на другом жизненном материале, неоконченного романа «Попытка — не шутка». В ней заявлена та же тема гражданского равноправия женщины — свободного члена общества, в котором она должна обрести себя как личность, найти приложение своим недюжинным силам и устремлениям. Об этом — больном и остром — ведут разговор-диспут Андрей Александрович Аргунов, выпускник Петербургского университета (юрист по образованию, знает польский язык — и в этом случае писатель наделяет героя чертами собственной биографии), прибывший на службу в губернский город, и молодая женщина, гостем которой он случайно оказывается. Уже в этой беседе выразительно очерчиваются их характеры, жизненные позиции, убеждения и взгляды, нравственные принципы. И хотя собеседница настроена куда решительней Аргунова, им обоим дороги достоинство личности, свобода человека, духовная независимость, которой тесны пределы дома. «Наша независимость... зависит, по-моему, от нас самих, от меры наших требований к жизни»,— говорит героиня. Мерой же выступает сокровенная для Омулевского идея пользы обществу, понимание которой предвосхищает, наверное, не только идейное единомыслие героев повести, но и духовную близость.

Ясна в общих чертах и расстановка действующих лиц в сюжетной завязи романа «Новый губернатор». Исходная гоголевская ситуация — «к нам едет ревизор» — передана сатирическим изображением растерянности и смятения губернских чиновников, оглушенных известием о назначении нового губернатора. Писательская заявка на психологическую обоснованность ха-

рактеров, самораскрытие их в процессе нестесненного действия прочитывается во многих сценах, колоритно живописующих убожество провинциального захолустья. Это и суетные будни губернской канцелярии с ее бюрократическим маховиком и казенным ритуалом, и «вечер у госпожи Матюниной» — скука и пошлость под камуфляжем светского лоска, и инспекторская поездка в острог, проливающая свет на мздоимство и казнокрадство, расцветшие пышным цветом. Среди многих и разных фигур выделяется правитель канцелярии Николай Иванович Вилькин — яркое воплощение напористого, пробивного карьеризма любой ценой, «во что бы то ни стало, честным или нечестным путем». Карьера и честь — понятия несовместимые, и как можно догадаться, службистское рвение «сердца губернии», как прозвали Вилькина любвеобильные дамы, отнюдь не бескорыстно: за время продвижения по ступеням успеха он, способный «больше... быть начальником, чем подчиненным», опутал губернию «мастерски скрытыми, но тем не менее крепкими тенетами своего изворотливого практического ума.

А что же новый губернатор Павел Николаевич Арсеньев, к холопскому пресмыкательству перед которым готовится весь чиновный Земельск? Как понимать его обещание служить благу общества? Либеральная маска, скрывающая сановное высокомерие? Прекраснодушная утопия, которая приведет к краху? Благие намерения, что, согласно пословице, ад мостят? Как бы там ни было, а Вилькин, лихорадочно заметающий следы своих противозаконий, извлечет для себя пользу в любом варианте.

Но один вариант для писателя исключался наверняка: воплощение в образе губернатора того идеального «государственника», который способен претворить программу коренных социальных преобразований. Революционно-демократическая позиция И. В. Омулевского не допускала таких иллюзорных надежд на демократизм правительственный, на благоразумие реформ «сверху»...

Как увидит читатель этого сборника прозы и публицистики И. В. Омулевского, значительную часть его составляют произведения незавершенные, в ряде случаев лишь начатые. Таким дошло до нас литературное наследие писателя, не сумевшего довести до конца многие прозаические замыслы. Что было причиной этого? На поверхности — отчаянная нужда и безысходная нищета, усугубленные безалаберным, неупорядоченным образом жизни, необходимость в грошовых сиюминутных заработках на хлеб насущный в ущерб долговременным планам, которые откладывались до лучших дней, так и не наступивших. В глубине — духовная драма писателя, не уверенного в ощутимых результатах своего труда, обреченного на невозможность быть услышанным, понятым и потому пребывающего в состоянии тупикового кризиса. Ведь даже лучшее, самое значительное его произведение — программный роман «Шаг за шагом» — было приговорено к долгому забвению. Внесенное в список запрещенных книг, оно подверглось при повторном издании 1874 года уничтожению. Не принесло успеха и намерение переиздать роман в 1896 году: отпечатанный тираж был полностью изъят. Так, освободив пи-

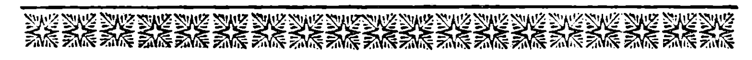
сателя из заключения, царизм продолжал прижизненно и посмертно карать его творчество, о котором вернее всего будет сказать поэтическими строками самого И. В. Омулевского:

Стою я за честные мысли свои,
За правое, честное дело...

Именно так: скромный, но честный талант поэта и прозаика, переводчика и публициста служил правому делу, и наследие его осталось неотъемлемым звеном в неразрывной цепи революционно-демократических традиций нашей отечественной истории и литературы.

В. ОСКОЦКИЙ


Проза
и
публицистика



СИБИРЯЧКА

Рассказ из путевых впечатлений

Ну, барин, погодка! — заметил мне сквозь зубы ямщик, отряхивая свою козью доху, причем меня как-то особенно неприятно обдало в лицо мокрым снегом.

Я было задремал, но тотчас очнулся и тревожно выглянул из кибитки; кругом, что называется, свету божьего не видать было: ветер, метель, снег, снег и снег.

— Вишь, ведь у нас по Барабе-то ветрено живет об эту пору: знаешь, степь! — продолжал ямщик, как бы в оправдание местной природе.

— А много ли осталось до дружка?[1] — спросил я с искренним любопытством.

— Да осталось немного; всего с полверсты, не больше: вишь, за метелью-то не углядишь деревни-то... Ну, со-ко-ли-ки-и! Эхти-ну-у!

И он энергически понукнул своих здоровых, но упаренных лошадок.

Действительно, через несколько минут послышался в отдалении неясный лай собак, и где-то, в разных концах, заблестели два-три огонька. При виде этих отрадных огоньков в моей голове как-то безотчетно сложилось решение не пускаться больше этой ночью в путь, а переночевать у дружка, хотя я и был совершенно уверен, что любой дружок знает Барабу как свои пять пальцев... Просто, кажется, мне захотелось отдохнуть, понежиться. Эта мысль не успела еще вполне выясниться в моей голове, как кибитка остановилась.

— Что, приехали? — спросил я с нетерпением ямщика, бойко слезавшего с козел.

— Приехали, барин, приехали! — ответил он весело и стал стучаться в ворота.

В ответ на этот стук сперва мелькнул огонек в одном окне избы, потом послышался сквозь ветер скрип отворяемой двери, и наконец чей-то голос, должно быть с крыльца, старческим басом спросил:

[1] Дружками по Барабинской степи зовут вольных ямщиков.

— Чего надо?

— Это я, Филипп Тимофеевич,— отозвался мой ямщик,— отворяй скорее: гости!

Ворота немедленно отворили. Мы въехали, и я увидел перед собой высокого старика лет восьмидесяти, совершенно седого, немного сгорбленного, но еще очень бодрого. Он приветливо помог мне выбраться из кибитки, приговаривая:

— Милости просим, милости просим... Ишь, погодку какую выбрали! Чего, парень, метет? — отнесся он уже к ямщику.

— Метет... не дай господи! — отозвался тот лениво.

— А что, Филипп Тимофеевич, можно мне у вас будет переночевать? — обратился я к старику.

— Сделайте милость, сударь... Изба у нас хорошая, места будет! Куда вам в экую погоду: ишь ведь она с вечеру загуляла — на всю ноченьку, значит!

— А чаем вы меня напоите? — спросил я снова.

— Помилуйте, сударь!.. Самоварчик вам сейчас поставят, сливочки снимут: найдется у моей сибирячки и этого всякого добра. А вот вещи-то ваши уж вы, сударь, внести бы приказали: хоть у нас тут и смирно, не шалят робята, а все оно такто поспокойнее будет... и для вас и для нас...

— И отлично, так и сделайте.

— Ужо-ко я вам огонька вынесу, посвечу,— спохватился старик,— а то неравно еще убьетесь впотьмах-то; ишь ведь, у нас деревенское заведение-то!

Старик поспешил вынести фонарь и оказался совершенно прав в этой предосторожности: лестница, по которой мне пришлось взбираться, была крута и плоха.

Мы вошли. Большая опрятная изба; стены оклеены зелеными обоями, на стенах какие-то затейливые картинки; в переднем углу множество образов, есть и в серебряных ризах; на окнах в деревянном ящичке и глиняном горшке какая-то зелень: винная ягода и бальзамины, как мне показалось; между окон стол с чистою самодельною скатертью; у дверей большой сундук, покрытый ковром тюменской работы; немного подальше от сундука — пышная семейная кровать с ситцевым пологом, за которым кто-то тихо храпит; широкие полати; на полатях тоже кто-то храпит, только сильнее; чуть-чуть видна чья-то русая голова, и прядь курчавых волос прихотливо свесилась с полатей; на лавке, возле печи, повернувшись к ней лицом, лежит под коротенькой шубейкой какая-то старушка высокого роста и тихонько охает... При одном взгляде на эту простую, мирную обстановку у меня на душе стало как-то особенно весело, светло, как будто я вдруг

ни с того ни с сего полюбил и старика хозяина, и эту охающую старушку у печи, и курчавую голову на полатях, и этого «кого-то», тихо храпящего за ситцевым пологом. Старушка при нашем появлении хотела было приподняться, но я предупредил ее:

— Лежите, бабушка, лежите... Здравствуйте!

— Доброго здоровья, государь мой! милости просим! Ахти-хти-хти-хти, господи, господи!

Старушка опять заохала и медленно обратилась ко мне лицом. Лицо это чрезвычайно меня заинтересовало с первого взгляда: большие голубые глаза, не то грустные, не то приветливые; красивые густые черные брови, хотя волосы на голове совсем седые и даже отчасти пожелтевшие; нос прямой, правильный; линия губ непременно остановила бы на себе внимание знатока женской красоты; вообще признаки этой красоты, минувшей, но замечательной, сколько можно было судить по-настоящему, отчетливо запечатлелись на всем лице старушки, даже в каждой морщинке. Все-таки она, казалось, годами пятью, не больше, была моложе старика хозяина, своего мужа.

— Ишь, сибирячка-то у меня чего-то рассохлась,— заметил он мне добродушно, кивнув головой на старушку:— ненастье: поясница-то и мает ее! Дуня! Ду-ня-а-а! Дунюшка! — побудил он кого-то за ситцевым пологом.— Вставай-ко-о! Бог гостей дал, самоварчик станем ставить: ишь, сибирячка-то у нас не может...

За пологом кто-то потянулся, тихо вздохнул, тихо зевнул, зашелестело платье, и вслед за тем оттуда показалась полуодетая девушка с большими заспанными глазами, хорошенькая, стройная, напоминавшая ростом и чертами лица старушку. Она неловко поклонилась и стыдливо прошла мимо меня в сени.

— Это, видно, ваша дочь? — обратился я к старушке.

— Дочка, государь мой... семнадцатый годок пошел осенью.

— А кто же на полатях спит?

— Сыночек, государь мой... по двадцатому годку... Иваном зовут. Ишь, умаялся день-от, Христос с ним! — прибавил от себя старик, как бы извиняясь передо мной за крепкий сон сына.— Погоняли его сегодня порядком: товары возили.

В эту минуту девушка вернулась в избу за самоваром. Я пристально заглянул ей в лицо и догадался, какой красавицей была ее мать в свое время...

Пока вносили мои вещи и шли необходимые приготовле-

ния к чаю, я попотчевал хозяина водкой, налил еще полстакана и предложил его старушке:

— Выпейте-ка, бабушка: вам будет легче.

— А и то уж разве выпью, государь мой; может, и взаболь полегчает: спинушку-то всю разломило у меня... Ахти-хти-хти-хти, господи, господи!

Старушка выпила и усердно поблагодарила.

— Ты у меня смотри, сибирячка, не загуляй! — шутливо сказал ей старик.

Старушка, охая, засмеялась.

— А ведь и взаболь будто полегчало малехонько! — заметила она, несколько оживившись.

Меня, помню, еще и раньше удивило, что хозяин назвал свою жену сибирячкой; теперь это название, повторенное несколько раз сряду, вдруг почему-то особенно заинтересовало меня. За разрешением моего недоумения я обратился прямо к старушке:

— Отчего это он вас, бабушка, все сибирячкой зовет?

Старушка заметно смутилась от неожиданного вопроса.

— Дак кто его знает! — отвечала она неохотно, даже как будто с легкой досадой.— Вишь, ведь он, слышь ты, греховодник у меня...

— Случай с нею такой был, сударь...— объяснил мне старик, поглаживая бороду.

— Какой же такой случай? — спросил я снова, весь заинтересованный.

— Не слушай ты его, греховодника! — обратилась ко мне старушка, тревожно взглянув на дочь, которая в уголку пила в это время чай.— Право, болтает, чего не надо! Ахти-хти-хти-хти, господи, господи!

И она снова заохала, но на этот раз уже заметно притворно.

— Вот ужо молчите, она вам порасскажет, как накушаетесь чайку; молодец ведь она у меня... бывалая! — сказал мне старик весело и самодовольно.— Ничего, сибирячка-а! все единственно, что попу, что хорошему человеку каяться...— обратился он ободрительно к жене.

— Ну уж ты, Тимофеич, право...— махнула она рукой и отвернулась к печи.

Чай отпили. Во все время, пока Дуня убирала со стола чашки и самовар, я сидел как на иголках от нетерпения. Наконец старик пожелал мне покойной ночи и отправился вместе с дочерью спать на другую половину дома, несмотря на все мои доводы и отговорки, что я не люблю спать на перине, что это мне даже вредно, хотя, признаюсь откровенно, после уто-

мительной дороги в три тысячи верст с лишком для меня ничего не могло быть соблазнительнее мягкой постели.

— А уж сибирячка моя пускай с вами тут остается; у ней уж это самое любимое место на лавочке: ишь, теплее старым-то костям возле печи. Она вам ужо порасскажет тут про старину-то свою, про бывальщину; одно слово, мастерица сказки сказывать! Вы только не пообидьте ее у меня, смотрите: ишь ведь седьмой десяток в начале пошел, а сама все чернобровая, как есть кралечка! — пошутил с нами на сон грядущий старик, торопливо выходя из избы.

Следом за ним привезший меня дружок вскарабкался на полати и почти тотчас же захрапел на всю избу. Старушка раза два слабо охнула, как будто желая дать мне этим почувствовать, что рассказывать она не в состоянии. Я, однако ж, не терял надежды, задул свечу, наскоро разделся и лег или, лучше сказать, утонул в пышном пуховике.

— Покойно ли тебе там, государь мой? — справилась она у меня, может быть, нарочно отводя мои мысли в другую сторону.

— Очень, очень хорошо; лучше не надо... А что же вы мне не расскажете про случай-то ваш, бабушка?

— Слушай ты моего старика! Есть у него, пожалуй...

— Да нет,— прервал я ее,— в самом деле, расскажите... пожалуйста! Или вы меня почему-нибудь за нехорошего человека принимаете?

Последние слова сделали, по-видимому, на старушку то самое впечатление, какого я ожидал от них.

— Что это ты, господь с тобой! — ответила она обидчиво.— Как это можно тебя, государь мой, за недоброго человека принять? Выдумал что! Знать ведь человека-то сейчас... с первого ласкового словечка то есть можно узнать. Али уж мне рассказать тебе, чего ли... уж и сама не знаю!

— Расскажите, бабушка... пожалуйста!

— Расскажу уж, видно... Вот какой со мной случай был, государь ты мой... да ведь долго рассказывать-то.

Она остановилась в заметной нерешимости, хорошо ли чужому человеку рассказать свою семейную тайну. Я заметил это, но не подал ей никакого вида, уверив ее, что вовсе не хочу спать и что готов слушать хоть до утра.

— Начинайте-ка с богом! — ободрил я старушку.

И она, прокашлявшись прежде, начала мне рассказывать...

— Я, слышь ты, государь мой, подкидыш была: в Иркутском родилась. А подкинули меня к одному чиновнику, Суровцову по фамилии. У этого самого чиновника жена была такая добрая бароня, дай ей господи царство небесное! Она,

слышь, и взяла меня на воспитание. А допрежь того, годков за пять до меня, им таким же манером мальчика подкинули; она и его взяла. Сам-от он был плох человек: чарочки-то уж, слышь ты, шибко придерживался. Нас-то, приемышей, он не любил, а только бароне-то прекословить не смел — у ней, слышь, в Тверской губернии имение свое было, так боялся... Нас с Филипкой (Филипкой приемыша-то первого звали) в горницу-то он не велел пускать, а мы всё больше на кухне находились; только как он это разве уедет куда, так она нас и позовет к себе, ласкает; грамоте нас тоже потихоньку учила. Вот это он раз уж шибко таково запил; запил да запил... Начальство-то его по этому самому и велело ему в отставку подавать: пьяниц, мол, нам не нужно! С начальством какой разговор, государь мой...— подал! Вот они, как вышли в отставку-то, и поехали в баронино имение, в Тверскую губернию, значит, в село Черепановку; и нас с собой взяли. Мне тогда девятый годок пошел, а Филипке тринадцать исполнилось. Только бароня на новом-то месте не долго пожила: скончалась... уморил он ее, не тем будь помянута его душенька! Он, государь ты мой, как бароня-то померла, взял да, слышь, имение-то ее и продал другому помещику, а сам укатил в Питер; оно ему от барони-то по наследству там как-то досталось. А прежде-то, государь мой, по нашим законам так выходило: что ежели который тепериче ни на есть помещик примет на воспитание подкидышей, так он опосля может их записать за собой крепостными. Он нас и записал так, хошь бароня шибко его просила перед смертью, чтоб он этого греха не делал. Ну, да вот поди с ним! Записал! чего станешь делать!..

Дело наше было сиротское; так нас и продали с селом-то вместе. А помещик этот, другой-то, который купил-то нас, сам, слышь, все в губернии проживал, в самой, значит, Твери: почмейстером он там был. А у нас от него управляющий был поставлен, хороший такой человек, добрейшей души, можно сказать. А мы в дворовых числились. И славно это нам таково жить было! Филипку-то я уж шибко полюбила, ну да и он меня крепко любил тоже: душа в душу то есть жили. Он мне все, бывало, норовит как бы угодить получше: и дело-то за меня тяжелое сделает, и кусочек-от мне хороший за обедом предоставит, и все-то то есть, чего только твоя сиротская душенька хочет; ни в чем, стало быть, отказу не было. А я ему за это, бывало, и тулупчик починю, и рубашку другой раз вымою, а то еще и деньжонками поделимся, коли заводились. А только целовать себя ему часто не давала, потому горячий, слышь, человек он был, ну, да и я не каменная. А из себя

я была красавица; уж это я могу не хвастаясь сказать тебе, государь мой. Он тоже был парень из себя видный, а пуще — души добрейшей. Вот это, как мне исполнился семнадцатый годок, а ему двадцать второй пошел, мы и хотели жениться; все ужо помещику написать думали, и управляющий это нам советовал и все участие в этом деле принимал. Собирались мы это, государь мой, собирались, да и прособирались. Приходит, слышь ты, от нашего помещика, из Твери-то, грамотка управляющему, чтоб он, мол, выслал ему туда из дворовых Филипку да какую ни на есть девушку; потому, мол, что которые у меня живут, никуда не годятся: отошлю, мол, их к вам в науку; да поскорее, мол, посылайте. Призывает это меня управляющий к себе, в тот самый вечер, слышь, как грамотку-то получил от барина, да и говорит мне жалостливо таково:

— Вот, мол, Настасья, какая тебе доля выпадает: Филипку твоего барин к себе требует да еще вот которую-нибудь из девушек дворовых... Так уж, мол, ты, видно, отправишься: не разлучать же, мол, вас. Коли хочешь, говорит, я тебя и отправлю завтра с ним: тебе же ведь лучше!

— Чего же, говорю, Онисим Петрович, отправьте уж, только бы, говорю, с Филиппушкой мне не разлучиться, а то хошь куда угодно!

Говорю, а сама плачу.

— Так ладно, говорит, чего же плакать-то! Я вас завтра обоих и отправлю: собирайтесь, мол...

Вот нас и отправили. Приехали мы; к барину пошли на поклон, по обычаю, значит. Барин — ничего, видным из себя таким показался, только уж немолод, лет так под сорок будет. Посмотрел он на меня пристально таково, да и спрашивает:

— Как, говорит, тебя зовут, красавица?

— Настей, мол, батюшка барин.

— Да ты, говорит, не та ли самая Настя, которую прежний ваш помещик из Сибири вывез?..

— Та самая, мол, и есть.

— Видишь, говорит, как выросла: узнать нельзя!

Взял да и ущипнул меня за подбородок-от. А чего, прости господи, выросла! Сам-от, окаянный, и не видал меня ни разу в глаза до самой сей поры! Оглянул он меня раз, два, а все пристально.

— Ну, говорит, ступайте теперича к бароне!

Пошли мы к бароне. Как сейчас помню, сидит она, голубушка, в креслах, худенькая из себя такая, желтенькая, слышь ты, а лицо злое-презлое. Прищурилась она на нас этак

раз десять, и на меня-то, и на Филипку-то,— и к ручке допустила. Допустила к ручке и опять прищурилась...

— Одначе, говорит, какие же вы неуклюжие: сейчас видно, что из деревни! Как уж и служить-то вы при комнатах будете, не знаю!

— Постараемся, мол, угодить вам, сударыня...

Это я ей буркнула сдуру-то, слышь.

— Да вы, говорит, все одно говорите... знаю, мол, я вас: не один десяток перепробовала! Как растете, мол, скотами, так скотами, мол, и помрете: никакой от вас тепериче благодарности!

Сказала это и повела носом-то, да далеко таково — в самый угол. А я ей опять сдуру-то, слышь, и брякни (страх была я горячая в ту пору!):

— Почему, мол, сударыня, скотами: люди, мол, тоже... как есть люди!

Так она, слышь ты, государь мой, от этих моих слов-то просто задрожала, позеленела вся от барского гневу.

— Ох, говорит, какая же ты вострая! видно, в бане давно не была... смотри, говорит, ты у меня!

Погрозила мне сердито пальцем и прогнала нас к барошням. Пошли мы и к барошням. Младшая-то, как нас увидела, так и покатилась со смеху.

— Вот, говорит, чучел-то нам каких, Сашенька, навезли!

И пошла, и пошла... А Сашенька, старшая-то, останавливает ее:

— Полно тебе, говорит, Леночка, без пути смеяться! Они ведь, говорит (на нас указывает), еще не одеты как следует, только что из деревни.

Ну, та будто унялась, присмирела будто...

— Вы уж извините меня,— говорит (нам-то!), а сама, вижу, еле-еле только стерпеть может, чтоб не прыснуть, значит.— Тебя, говорит, как, девушка, зовут?

— Настей, мол, барошня.

— Ну, право же, говорит, Настя, пресмешное у тебя платье — модное, слышь, уж шибко... (выдумала же ведь вот что сказать!). Ей-богу, не могу!..— говорит...

И опять засмеялась, да звонко таково, слышь. Только, могу тебе сказать, государь мой, барошни оне были добрые; а смеялась над нами младшая-то, надо быть, от ребячества своего. Это уж я опосля разобрала, как поогляделась малехонько на новом-то месте. Спервоначалу у нас, слышь ты, все хорошо шло; только барин-от на меня нет-нет да и поглядит как-то таково нехорошо, что я уж и не знаю! Вот, государь ты мой, раз и посылает он моего Филипку в Моск-

ву, на неделю будто бы, слышь ты, за покупками разными, будь он окаянный!

Филиппушка мой и поехал; как барской воле прекословить станешь? Ладно, уехал. А в тот самый день-от бароня наша с барошнями на бал поехали; к вечеру это было. Я, слышь ты, сижу это в кухне, скучно мне таково стало — плачу... Барин наш вдруг и приходит; заглянул в кухню — ушел. Погодя опять пришел, опять заглянул в дверь...

— Ты, говорит, Настя, чего там делаешь?

— Ничего, мол, барин; сижу.

— Поди-ко, говорит, постелю мне лучше постели...

Чего, думаю, ему так рано спать захотелось? Пошла. Прихожу я это к нему в кабинет, стала постель постилать, он и приходит. Подошел, да вдруг и обнял меня. Просто я так со стыда и сгорела!

— Что вы это, барин! — говорю, а у самой руки дрожат.

— Да ничего, не бойся, говорит, вишь какая ты славная у меня, словно ягодка спелая!

И полез, злодей, в губы целоваться ко мне... вот те Христос! А я его взяла, да руками-то и отсторонила от себя...

— Отойдите, мол, лучше, барин, от греха...

Сама вся уж, слышь ты, дрожу. Нет! он-таки свое: пристает да пристает! Взял меня вдруг, да и повалил на диван-от...

— Спесивая уж, говорит, ты, ягодка, больно!

Как он это мне сказал да на диван-от меня повалил, я уж и не знаю, что со мной доспелось такое: так вот вся внутренность и заходила во мне! Я взяла, да оплеуху и зарядила ему что мочи было. Зарядила, государь мой; это я как перед богом говорю, что уж зарядила! Сама драла скорее на кухню; забралась в угол да и сижу плачу... Погодя он опять, окаянный, приходит, сердитый такой, записка в руке.

— Где, говорит, Настасья? — у повара Степана, слышь ты, спросил.

— Да вон в углу, мол... плачет.

— Ладно! говорит. Ты, Степан, возьми, мол, эту записку да отведи ее с ней к частному приставу в полицию... Слышишь?

— Слушаю, мол.

Привели меня к частному. Вышел он, посмотрел на меня...

— Нагрезила, мол, видно, сударыня?

Я молчу. Он записку прочитал...

— Барин, мол, твой вот чего мне пишет: просит, чтоб я тебя на ночь в темную запер, а завтра поутру попотчевал

хорошенько березками... Умней, мол, будешь, не станешь вперед грубить барину... Посадить вот ее!

Я ему в ноги; заплакала...

— Простите уж, говорю, в первый и в последний раз!

А рассказать, как все дело было,— не могу; это стыд нашел на меня втупоре, что вот, кажется, лучше бы живьем провалилась на месте, только это бы не рассказывать!

— Слышал я уж это, говорит, матушка, не от одной тебя! Запереть, мол, ее!

Так я и промолчала. Заперли меня в темную. Духота там, вонь такая, что не приведи господи! Натерпелась я в эту ночь всякого горя, государь мой! Как только вспомню, что завтра,— меня в лихорадку. Думала я это, думала... всю ноченьку напролет думала, да к утру и надумалась... Как проснулись это все в полиции, то я и говорю ундер-офицеру, окошечко там такое узенькое было, так через него, слышь:

— Сходи, мол, господин служивый, к своему частному да скажи ему, что мне беспременно надо сейчас с ним повидаться.

Тот и пошел, слышь ты; добрая, знать, душа была... Позвали меня к частному.

— Чего тебе там, спрашивает, али нетерпение такое большое? Успеешь, мол, еще отведать березовой-то кашки; рано уж шибко проголодалась!

— Я, мол, ваше благородие, не за этим вас спрашивала...

— Так за чем же? — говорит.

— Везите, мол, меня сейчас к губернатору, а то опосле чтоб отвечать не стали: мне, мол, ему нужно важную тайну открыть...

Частный-от так на меня и уставился.

— Да ты, говорит, девка, в своем ли уме?

— В своем, мол, в девичьем...

— Ты, говорит, подумай прежде: это ведь дело не шуточное!

— Чего, говорю, тут думать? думано! Знаю, мол, что не шуточное дело, за этим и пришла!

— Ну, коли так, говорит, так постой...

Стал он это по горнице своей расхаживать взад-вперед; ходил, ходил — сел. Посидел малехонько — ушел куда-то. Погодя выходит он это ко мне в мундире, при шпаге, как есть во всей форме ихней...

— Нечего делать, говорит, поедем.

К губернатору, слышь ты, поехали. Частный-от спервоначалу сам к нему пошел, а мне обождать велел. Ждала я,

ждала — насилу дождалась. Высунулся он из дверей, рукой мне машет.

— Иди, мол, к его превосходительству.

Оробела я шибко, одначе вошла. Губернатор-от так прямо сам и подошел ко мне, только строго таково взглянул, слышь.

— Чего же, говорит, ты мне, голубушка, скажешь?

— Я, мол, ваше превосходительство, при их благородии (на частного ему показала) ничего не могу сказать.

— Выйдите на минуточку...— частному говорит.

Частный вышел.

— Ну, говорит, рассказывай теперече, голубушка.

— Моя речь, мол, ваше превосходительство, коротка будет...

— Нужды нет, говорит, все равно рассказывай...

— Меня, говорю, вчера мой барин в часть посадил да еще выстегать велел сегодня; а вины, мол, за мной никакой не было, окроме того, что они сами...

— А кто, говорит, твой барин?

— Почмейстер здешний, говорю.

А губернатор-от приходился кто-то сродственником нашему-то барину. Ногами, слышь ты, он на меня затопал, как я почмейстера-то назвала...

— Так ты, говорит, только за этим-то меня и обеспокоила? а? Да как ты смела, кричит, а? Ах ты... такая-сякая!

Извини уж, государь мой: стыдно теперече и впотьмах-то сказать, как он меня втупоре всячески обозвал... Одначе я приободрилась, как он ногами-то затопал...

— Так и смела, говорю, потому, если меня выстегают, я чего-нибудь сделаю...

— Чего, говорит, ты можешь сделать?

Ревет, слышь ты, одно слово, ревет.

— Мало ли, мол, чего, ваше превосходительство, могу сделать!

— А! — захайлал.— Так ты еще вон с чем ко мне пришла...

Скверно таково опять выругался.

— Господин частный! — ревет.— Господин частный! Пожалуйте сюда...

Вошел частный: бледный такой из себя сделался, оробел, надо быть. Губернатор-от, слышь ты, и на него прикрикнул.

— Чего, говорит, вы меня всякими пустяками беспокоите! А? Извольте, мол, сейчас домой ехать, да чтоб вперед у меня этого не было! А ее, говорит (на меня показал), выпороть.

Поклонился он это нам, да низко таково, и хотел уйти. А я ему вслед-от:

— Попомните же это, говорю, ваше превосходительство, что если какой грех случится, на вашей душе будет.

— Хорошо, хорошо, голубушка! — говорит. И ушел.

Повез меня частный сызнова в полицию, всю дорогу ругался: опять меня в темную, слышь ты, заперли... Сижу я это, а уж час двенадцатый на дворе... Слышу: шум в десятской, народу много... Посмотрела в окошечко: розги принесли, лавку середь полу поставили... Кличут меня, дверь мне отперли... Не могу я, слышь ты, идти: отнялись просто ноженьки... дрожу вся... Вывели меня, рабу божию... Гляжу: частный пришел...

— Ну-ко, сударыня, говорит, изволь-ка ложиться...

Стою я как каменная: зубы, так те, слышь ты, словно на крещенском морозе, так вот один об другой и стучат... и всю-то меня бьет, бьет... Вот, государь ты мой, как послышала я это, и схватилась рученьками-то за голову... А частный-от, тиран, и приметил это...

— Не бойтесь, сударыня! — говорит.— Туалета вашего не изомнут... Берите,— говорит,— ее! Чего на нее смотреть!

Как это они меня взяли, да положили на лавку-то, да как подолишко-то мне заголили... извини, государь мой... так я, слышь ты, такую в себе силу почувствовала, что так вот, кажется, взяла бы в руки всю эту ихнюю полицию, все это строение то есть, да и закинула бы в тридесятое царство; шесть человек, слышь, насилу меня удержали! Только уж как домой привели — этого не помню... Вот те Христос, не помню! Туман такой в голове у меня доспелся... Опосле малехонько опамятовалась; стыдно мне таково стало: ну не могу, слышь, глядеть на человека, да и шабаш! На лбу у меня то есть как будто огненными словами написано, что тебя в полиции стегали: всякий, мол, как взглянет, так сразу и прочитает... А плакать я, государь мой, не плакала; и рада бы, да слез, как на грех, втупоре не было... Барошни все ко мне приставали с ласками своими разными, только мне уж не до того было... Ну, вас! думаю: отойдите, отвяжитесь вы от меня, барские дети! И задумала я, государь мой, думу... крепкую думу... совсем сумасшедшая была я втупоре! Вот, государь ты мой, как улеглись это все в доме-то, я и пошла в баронину спальню... Подошла к дверям-то, послушала: спит... Ладно! думаю себе. А барошни-то у себя, в другом покое, почивали. А у барони-то ночник горел; такое уж у ней заведение было; светло не светло, а голову человеческую от подушки отличить можно... Подошла я это к самой, слышь, ее кровати, еще по-

слушала: спит крепко; а лицо такое злое... А я с собой из девичьей, слышь ты, подушку принесла. Поглядела я, поглядела на бароню-то да подушку-то ей к лицу и прижала: не называй, мол, нас больше скотами, сахарные барские уста! Так я, государь мой, втупоре ее и порешила... просто она у меня и не пикнула; только маялась шибко — билась. Ахти-хти-хти, господи, господи! А с вечера я еще в завозне топор припасла... Пошла отыскала я его — да к барину... Сама дрожу вся, и в голове туман, а на ногах крепко стою... Ощупала я у него голову-то, слышь ты, да обухом-то его и брякнула по лбу... и пошла направо да налево, направо да налево... топором-то, слышь! Уж и не помню я, не знаю, чего это со мной такое доспелось втупоре... только я как полоумная была! Выбежала я это на улицу, а ночь-то была светлая, месячная... Гляжу: на платьишке-то у меня кровь все, а оно такое маркое было — желтенькое, слышь, как сейчас помню... Как увидала я кровь-то, и побеги, да прямо к губернаторскому дому... Прибежала я, слышь ты, позвонила... Лакей ихний мне навстречу вышел, нарядный такой, важный... Хотел он было мне под самым носом дверь припереть, да я, государь ты мой, прямо в залу да посредине-то и остановилась, как есть вся растрепанная да в крови... А гости у него сидели, и людно таково их там было: все барони да кавалеры, да все нарядные такие...

Побледнел ведь губернатор-от, как меня увидал! слышь, и гости-то его все тоже побледнели, али уж мне втупоре так показалось... Не дала я это им опомниться, показала губернатору-то на кровь-от на платьишке, да только и вымолвила:

— Вот, мол, полюбуйтесь, ваше превосходительство, на свое греховное дело! Сдержала, мол, я свое слово!

Да так тут, на месте-то, где стояла, об пол и грохнулась... Ахти-хти-хти-хти, господи, господи! Опосля, как я уж в остроге сидела, губернатор-от, этот самый, приезжал острог осматривать: прокурор с ним был. Вошли они это и в нашу половину. Губернатор-от меня и заметь.

— Это, мол, не почмейстерская ли девка? — у прокурора спрашивает.

А сам-от побледнел весь.

— Точно так-с,— говорит прокурор,— она самая. За то, мол, и за то судится...

Только губернатор-то ведь не дал ему сказать...

— А! — говорит, да глухо таково.— Знаю. Ах ты... сибирячка этакая!

Задохся, слышь, совсем: повернулся, да и вышел скорешенько таково. Вот с этого самого, государь мой, и прозвали

меня сибирячкой да так и зовут все. Спервоначалу меня бабы острожные так прозвали, вишь, оне слышали, чего губернатор-от мне сказал; а после и Филиппушка стал меня так звать, поглянулось ему, слышь ты... Так вот я, государь мой, и попала опять на свою родимую сторонушку... Кнутом ведь, слышь ты, меня били: с тех самых пор вот спинушка-то и болит к ненастью — ломит, слышь... Ахти-хти-хти-хти, господи, господи!

Старушка остановилась, едва переводя дух. Хотя в избе было и темно, но мне как-то сердцем виделось, что по увядшему лицу ее текли горячие слезы, такие же юные и свежие, как ее рассказ, такие же горькие, как его содержание, и такие же мучительные, как ее душевная рана, не зажившая вполне до такой глубокой старости!

— А с Филиппом-то, бабушка, вы так уже больше и не встречались, что ли? — спросил я погодя, когда она немного поуспокоилась.

— Чего ты это, государь мой! а старик-от мой на что? Он ведь и был Филипка-то!

Неожиданность этого ответа чрезвычайно сконфузила меня: я только теперь вспомнил, что действительно хозяина моего звали Филиппом Тимофеичем.

— Да он еще чего сделал, Тимофеич-то мой! — прибавила неожиданно старушка, видимо довольная своей памятью.— Он вот какую, государь мой, штуку удрал... Как приехал из Москвы-то да как про меня ему все рассказали, он и поди к губернатору: «Заел ты, мол, ваше превосходительство, мою Настю! Подлец, мол, ты!» Вот чего! Так мы по одной дорожке с ним и пошли; он ведь это нарочно для того и сделал. А обвенчались уж мы с ним здесь, на поселении то есть, много годков спустя. А только, могу тебе сказать не хвастаясь, государь мой, я ему в руки досталась как есть голубицей невинной... вот те Христос! Хоть его самого спроси... Это уж как перед богом! Одначе, государь мой, приятного тебе сна желаю! — заключила со вздохом старушка.

Я от всего сердца пожелал ей того же. Но сам я долго не мог заснуть: перед глазами у меня беспрестанно восставала, со всеми своими действующими лицами, эта вопиющая драма, ежедневная, правда, но, может быть, потому именно и неведомая счастливым и сильным мира сего... Зато, когда на другой день я проснулся в одиннадцать часов утра, мне живо почувствовалось, что нигде еще не засыпал я, совершенно уверенный в своей безопасности, с таким наслаждением и беспечностью, как заснул под кровом этой энергической пары!

День стоял чудесный: теплый, светлый. Лошади мои были уже готовы. Вся семья вышла проводить меня, как родного, до ворот своего дома.

Я, признаюсь, едва не заплакал, садясь в кибитку: так мне было жаль оставлять этих добрых, простых людей... Сын хозяина, красивый парень, каких мне редко удавалось видеть, молодецки вскочил на козлы. Сестра вынесла ему позабытые рукавицы; он игриво ущипнул ее за шею, а она поправила ему за это волосы под шапкой...

— Ну, с богом! Трогай, парень! — заключил хозяин наше трогательное прощание.

— Напредки просим тебя, государь мой! — кланялась мне любовно старушка.

— Лихом не поминайте! Смотри, Ваня, шапку не потеряй! — кричала Дуня.

Но мы уж мчались во весь дух свежих сил...

МЕДНЫЕ ОБРАЗКИ

Рассказ из путевых впечатлений

Проездом из Петербурга, за несколько станций перед Нижнеудинском, на одной из них я вышел из моей неуклюжей кибитки напиться чаю. Дело было поздним вечером. В станционной комнате не оказывалось ни одной души, кроме косоглазой русской бабы аршина полтора в талии да старика лет шестидесяти с совершенно седой и несколько курчавой головой. Я нашел эти две души в соседней камере, на полу, спящими с таким блаженным свистом и храпом, что я догадался бы о их присутствии там даже и тогда, если б был глух на оба уха. В дороге, господа, человек, как известно, делается страшным эгоистом, и потому, как я ни гуманен, а все-таки неминуемо пришлось разбудить милую парочку. По совершении этого процесса, не очень-то, впрочем, краткого, старик оказался станционным писарем, а косоглазая баба — временной подругой его пустыннической жизни. Они засуетились, баба побежала ставить самовар, а писарь принялся с необыкновенным жаром рыться в почтовой книге, совершенно бессмысленно, я думаю. В ожидании чая я приютился, как мог, удобнее на каком-то длинном сундуке — и вздремнул. Шипенье массивного самовара, слегка напоминавшего талию косой бабы, и не менее массивный голос этой последней — вырвали меня из сладкой дремоты. Засуетился я в свою очередь. По-моему, нет ничего несноснее, как пить чай одному на станции. Я, надо вам сказать, человек общественный, и потому какое бы то ни было общество составляет для меня всегда первую насущную потребность. На этот раз, за неимением ничего лучшего, жертвой такой моей потребности должен был оказаться, как вы и сами догадаетесь, станционный писарь.

— Не хотите ли чаю? — спросил я его как можно мягче.

— Покорнейше благодарим-с; кушайте сами на здоровье: вы человек дорожный, а мы, значит, люди на месте. Кушайте-с, кушайте-с.

— Да нет, отчего же? Вы не помешаете мне, и я вам также.

— Покорнейше благодарим-с, кушайте-с...

«Не податлив, старый, — подумал я. — Постой! попробую с другой стороны».

— Коли не хотите чаю, так, может, стаканчик рому выпьете? — продолжал я опутывать мою жертву, как паук муху.

— Не пьем-с... — отвечали мне лаконически.

— Так хоть просто посидите со мной, потолкуемте... — настаивал я.

— Это можно-с...

За сим кратким ответом жесткая жертва моя, оторвавшись от почтовой книги, медленно выползла из своей каморки и, как-то ободрительно утерши нос большим пальцем левой руки, приблизилась к самовару. Теперь только я рассмотрел это лицо; оно было очень выразительно и оригинально, а в больших слезящихся глазах ясно проглядывало присутствие того, что по-русски обыкновенно выражается словами: «себе на уме».

— Садитесь, пожалуйста, — сказал я, подвигая ему стул.

Жертва моя молча села, но только не на стул, а поодаль от меня — на сундук. Воспользовавшись этой минутой, я налил стакан чаю наполовину с ромом и поставил на сундук возле жертвы.

— Выкушайте-ка, без церемонии, стаканчик на сон грядущий.

На этот раз стакан был принят, не знаю уж почему, без малейшей отговорки, поставлен блюдечком на все пять пальцев правой руки, а затем не прошло и десяти минут, как я налил ему в другой стакан, подбавив туда как можно больше рому. С половины этого, второго, рокового стакана жертва моя нечаянно обнаружила способность и стремление к мышлению в следующем афоризме:

— Невеселые ноне люди пошли, сударь!

— Как так?

Я начинал интересоваться моей жертвой.

— Да уж так! Нет то есть прежней забавы в людях, лядащие пошли.

— Ну, а в ваше время веселее жили, что ли?

— Известно, веселее; веселые, сударь, в мое время люди бывали...

— Кутили, что ли, много?

— Кутили не кутили, а, значит, все нараспашку.

Жертва моя окончательно получила в эту минуту высокую цену в моих глазах, и я распустил шире мою паутинку.

— Да разве и теперь не живут многие нараспашку? — возразил я лукаво.

— Не то! — отвечал писарь с каким-то особенным жаром, махнув рукой в угол: — совсем, сударь, не то!.. Вот хоть теперь, к примеру сказать, был у нас здесь исправник, забыл по фамилии как, годков двадцать ведь будет, как он у нас был, — развеселый был человек, можно сказать!

— Что же он? — спросил я, навострив уши.

— Шутник был, значит, большой. У нас это, знаете, проживал здесь мужик, богатый-пребогатый, не то раскольник, не то православный, а так, знаете, старой веры малехонько придерживался. У нас ведь здесь, окромя станции, деревня большая. Только этот мужик кремень был, скряга, выжига такая, что упаси господи! А честный был мужик, нельзя напрасно сказать. Даром он это, таперича, никому не даст, хоть вот, значит, губернатор сам приезжай. Ну, если дело какое — вывалит! Это уж беспременно, что вывалит... сотню вывалит, а то еще и две, пожалуй! не постоит... А исправник-то наш, знаете, все это у него с приезду останавливался; лижется он около мужика, лижется — ничего не вылижет! С тем и уехал, значит, всякий раз, с чем приехал... понимаете? Накормит, напоит — уж это, значит, отлично, и уложит мягко, а дать — ничего, таперича, не даст! Больно на него за эвто грыз зубы наш исправник, за эвто, значит, самое, что не дает ничего.

— Уж подведу, говорит, я эвтова мужичонку под тысячонку!

А сам это ничего — смеется: добрая ведь душа был, шутник такой! Вот это раз, в Иркутском, гулял он, исправник-от наш, с заседателем, с нашим же, по Большой улице, значит. Слово за слово, разговорились они, примерно сказать, о своей пастве, которая-де овца больше шерсти дает. А заседатель-то, знаете, вдруг и брякни исправнику:

— Вы-де, говорит, все еще со Степана взять ничего не можете?..

А Степаном-то, знаете, звали эвтова самого мужичка выжигу-то.

— Вот же возьму, — говорит исправник: — нонече же возьму!

— А не возьмете, — говорит это заседатель-то ему: подстрекает, значит.

Исправник-от и разгорячился: стыдно ему стало, надо быть — потому дело плевое...

— Хотите, говорит, об заклад побьемся, что возьму?

— Хочу, говорит, давайте!

— А что, говорит, идет? — это исправник-то. — Хотите, говорит, так: если я нонече со Степана возьму, так вы мне, зна-

чит, должны соболей жене на воротник представить; а коли я проиграю — я вам две дюжины, двадцать четыре бутылки, значит, шампанского выставлю. Вы, мол, еще молоды для соболей-то, да и женки у вас нет, а шампанское на здоровье выпьете. Идет, что ли?

— Идет, говорит.

Заседатель-то, значит, согласился. Ну, и ударили по рукам, тут же, стало быть, на улице,— и разошлись, значит, по домам. Только этак с недельку прошло, нагрянули они оба к нам вместе. Заседатель остановился у старосты Микиты, а исправник-то прямо на двор к Степану. Исправник такой ласковый приехал; все это, знаете, Степана по плечу треплет да и приговаривает: каково же, мол, ты, Степанушка, поживаешь? А тот, знаете (дивно ему это), только и знает, что кланяется ему в пояс:

— Ничего, говорит, ваше высокоблагородие, живем маломальски вашими милостями. Супружница ваша все ли, мол, в добром здоровье, ваше высокоблагородие?

— Ничего, говорит, здорова, здорова; тебе кланяется.

— Покорнейше, мол, благодарим!

А сам это, знаете, исправник-то, значит, все осматривается кругом. Видит это он, слышите, что Степан-от один себе в избе, и говорит ему, да ласково таково:

— Поди-ка, говорит, Степанушка, позови ты мне старосту, да и понятых: надо, мол, о поведении поселенцев расспросить; да уж за одно попутье и заседателя повести.

Ну, Степан-от, знаете, и пошел. Ладно. А у него, знаете, у Степана-то, в углу избы всё медные образки стояли. Этакие уж нонече редко попадаются: со створками, значит. Вот, сударь ты мой, как Степан-от это ушел, исправник-то возьми да и переверни все образки-то вверх ногами. Сделал себе дело, сел на лавочку, сидит да ждет, усмехаясь: собольки-то, мол, теперь женушке на воротник беспременно будут! Воротился Степан, староста пришел, понятые с ним, ну, и заседатель, стало быть, тут же.

— Здравствуйте, здравствуйте, ваше высокоблагородие!

Поздоровкались, значит. Помолчал наш исправник маленько, да и брякнул:

— Староста! — говорит: — сей человек (на Степана указывает) какой у вас веры?

— Известно, мол, батюшка, ваше высокоблагородие, православной, надо быть, ему веры.

А исправник-то Степану:

— Ты, говорит, Степанушка, какой веры?

— Православной, мол.

— Нет, врешь! — говорит: — какой, говорит, ты православный; раскольник ты, бестия, вот что! Посмотри, говорит, это образа-то у тебя как стоят? Староста! Это, говорит, что такое? Это ведь, говорит, ересь сущая! А! говорит, ты тут, Степанушка, новый раскол заводишь, вот оно что! Понятые! — кричит: — видели?

— Видели, говорят.

— Староста! видишь? говорит.

— Вижу, говорит, батюшка, ваше высокоблагородие

Степан, знаете, стоит, как угорелый, да только посматривает во все буркалы; посмотрит это на образки, на исправника посмотрит, да и опять на образки. А исправник-от, шельмец, почесывает за галстуком да и говорит:

— Надо, мол, акт составить; дайте-ка мне сюда бумаги, перо да чернила.

Сходили, принесли.

— Садитесь-ка, говорит, Антон Матвеич (это он заседателю, значит), да пишите.— И стал ему подсказывать: тысяча восемьсот, мол, такого-то года, так и так, мол,— и пошел... А тот, заседатель-то, и пишет. Смотрел это, смотрел на них Степан, за ухом, почитай, раза четыре поскребся, да и бух в ноги исправнику.

— Помилосердуйте, говорит, отец родной! не погубите! Это, говорит, не я... Это, мол, надо быть, ребятишки малые играли да перевернули образки-то... мы, мол, эвтакими делами не занимаемся, ваше высокоблагородие, как вам известно...

— Ничего, говорит, брат, известно! Я уж, говорит, Степанушка, давно за тобой эвти грехи-то приметил; давно, говорит, до тебя добираюсь — вот что! Пишите, говорит (заседателю). Чего с ним толковать... мошенник!

А Степан-то это опять за ухом поскребся-поскребся да и говорит, тихонько таково, исправнику-то:

— Ваше высокоблагородие, пойдемте, мол, в кут; я вам там во всем покаюсь, всю душу то есть выложу!

— Пойдем, говорит, выложи душу; посмотрим, какая она у тебя: христианская или раскольничья...

Пошли в кут.

Исправник-то и говорит шепотком, значит:

— Ну, выкладывай, мол, душу...

А Степан ему в ответ, шепотком же, значит:

— Мне, мол, ваше высокоблагородие, чего душу выкладывать; я, мол, тут ни в чем не повинен, а только, мол, срам мне большой выйдет... Так уж, говорит, не посрамите: рублей двести, мол, выложим.

А исправник-то и вскинулся, да громко таково, почитай, на всю избу, инда курицы в шестке встрепенулись:

— Ах ты, сучий сын! Что-о-о? двести рублей? Н-е-е-т, шалишь, парень! Тут, брат, не двумястами, а тысячами двумя пахнет! Дело-то ведь это уголовное! ты как думал?

Степан, примерно, опять поскребся:

— Шестьсот, говорит, положу...

— Нн-е-е-т! — говорит: — ловок больно будешь! Последнее слово: тысяча!

Торговались они это, торговались, сударь ты мой, да ведь так на тысяче ассигнациями и положили. Выходит это исправник из кути-то, посмеивается, посматривает на заседателя да как тыкнет ему под нос красненькими-то.

— Что, говорит, Антон Матвеич: чья взяла?

— Ваша, говорит.

— А собольки, мол, когда?

— Через неделю, говорит, представлю.

— То-то вот и есть, говорит, батенька, — молоды! А уж шампанским напою... Не в счет! Пойдемте, говорит. А вы-де, братцы (это он старосте да понятым), тоже ступайте себе по домам; дело это, мол, я разобрал сам: клин — так клином и вышиб!

Вот оно и поди! В тот же день он от нас так и уехал вместе с заседателем... Такой был шутник, ей-богу! Нонече уж таких веселых людей нету-с!

Станционный писарь поставил на сундук свой допитый стакан и выразительно помотал головою.

— А ромец хороший-с! — заметил он тоном знатока.

— То-то же и есть; а вы еще отказывались...

— Да мы ведь, знаете, только с хорошими людьми пьем-с... Лошадей прикажете закладывать?

— Да, пожалуйста.

— Заложим-с, заложим-с...

Уехав через несколько минут с этой станции на тройке измученных лошадей, я долго размышлял дорогой, под звуки неотвязчиво и нестерпимо-скучно звеневшего колокольчика: действительно ли нет у нас ныне таких веселых людей, как этот исправник? И все мне мерещилось, что подобные «шутники» встречаются изредка и в наше невеселое время...

СУТКИ НА СТАНЦИИ

Рассказ из путевых впечатлений

I

Зимнее утро. Крошечное село Крутые Лога, или, говоря официальным языком, Крутоголовская почтовая станция, только что проснулось; по крайней мере, дым так и валит воронкообразными столбами из низеньких труб, застилая собою и без того хмурое небо. Сказать положительно, который теперь час, решительно невозможно. Во всем селе только двое часов, у смотрителя да у священника. Но смотрительские часы остановились еще месяц тому назад: «устали, мол, все ходить да ходить без починки», так что смотритель записывает уже приход и отход почты не по ним, а по расписанию губернской конторы, висящему в березовой рамке над его супружеским ложем. Правда, на одни сутки он и вообразил было себя часовым мастером: разобрал все колеса и выдул из них столько пыли, что присутствовавшая при этой операции смотрительша даже чихнула раза три, обозвав тут же сгоряча своего сожителя «проклятым копалой», причем попыталась было доказывать ему, не понимая, конечно, назначения губернской конторы, что это ее дело, а не его, смотрителя; но старик никаких резонов не принял и до позднего вечера провозился с разными винтиками и колесиками. Как бы то ни было, только за ночь, и должно быть — не кто иной, как враг рода человеческого, так ухитрился перепутать всю эту и без того мудреную механику, что смотритель на другой день решительно не мог взять в толк, каким бы родом привести ее в прежний порядок, и наконец решился сложить «как бог на душу положит», отчего к концу работы внутри часового ящика и получился вместо обычного механизма — чистейший кавардак. Это не помешало, однако же, смотрителю повесить часы на старое место, с глубокомысленным лицом толкнуть маятник. Но бедняжка только крякнул: «Вот тебе, дескать, и раз!» — и затрясся как в лихорадке; тем дело и кончилось. Что же касается священнических часов, то хотя отец Прокофий, по свойственному его сану смирению, и не доходил до подобного импровизаторства, но вот уже другая неделя, как он в разъездах по требам. Часы у него суточные,

а попадья как на грех отличается преимущественно способностью не уметь делать именно того, в чем не затруднилось бы и малое дитя, так куда уж ей заводить часы. «Не решаюсь без батюшки»,— заметила она раз по этому поводу одной деревенской бабе, да так все и не решается.

Надо полагать, однако ж, что уж час восьмой есть на дворе. Именитый крутологовский гражданин Максим Филиппыч Мясников, он же и почтосодержатель станции, натянул уж новый полушубок и опоясывается синим кушаком — значит, на улицу собирается; а раньше других у него и заводу нет выходить из избы. Косоглазая и невыразимо-сдобная сожительница его, Анисья Петровна, давно успела коров подоить и сидит теперь, «чайком балуется»; а это уж несомненный признак, что не очень рано на дворе. Супруги беседуют.

— Куды эфто, Филиппыч, собираетесь?

— Да смотрителя надо сходить проздравить...

Молчание.

— Чем будете проздравлять-то?

— Да зелененькую все надо...

Молчание.

— Поди, и двух будет?

— Нет, видно — не будет!

Супруг сердито сплевывает; супруга наливает себе шестую чашку чая.

— Чайку бы выпили на дорогу...

— Пей, коли влезает. Што мне в ней, в траве-то в эфтой: у смотрителя водки выпью...

— Все бы чашечку...

— Ну тебя с чашечкой! Пристала. Право, пристала!

Молчание; угрюмое расчесывание бороды.

— Поди, и мне надоть пойти к Марье Федоровне с поздравкой?

— Эфто ваше дело, бабье...

Супруга наливает себе седьмую чашку.

— С молочком-то как славно пить: выпил бы ты одну чашечку, ей-богу...

— Это чего же ко мне баба-то пристала? Тьфу ты!

Недовольное молчание с обеих сторон.

— Однако и мне чего-нибудь снести Марье-то Федоровне?

— Ну, и снеси.

— Не знаю, чего снести-то?..

— Коли не знаешь, так и толковать нечего.

Молчание.

— Курочку ли, чего ли снести?..

— Ну, курицу неси.

— Опять же, чтоб замечания не было от нее какого...

— Не почместерша — не побрезгует. Каки таки твои доходы-то? Много у нас с тобой доходов-то!

Молчание.

— Тоже не нищие какие, поди...

— Толкуй с тобой!

Супруг надевает шапку и рукавицы.

— Не то снесу уж ей курочку да петушка?

— Да неси ты, леший тебя дери, что хошь! Мне-то како дело. Как банный лист пристала!

Супруг хлопает дверью и удаляется, все еще ворча себе под нос: «Пристала как банный лист, право». Супруга наливает себе восьмую, вряд ли, впрочем, последнюю чашку, раздумывая вслух: «Снесу уж либо ей петушка да курочку?»

II

В ямской избе тоже идет беседа, но только беседа не в одиночку, а гуртом, в несколько голосов разом.

— Робята, кто вчерась кульера возил?

— Пайков, надо быть, Демка.

— Ты, что ль, Демка, кульера возил?

— Я.

— Он, братцы, теперича и говорить не станет с важности...

Смех.

— Ты, што ли, язык-то у меня съел?

— Он те сколько, Демка, на водку дал?

— А те што?

— У него, робята, эфта водка те в зубах засела — посейчас выплюнуть не может...

— Ой ли?

— Право слово, так.

Смех.

— Взаправду, братцы, у него щока спухла...

— Глаза у те, видно, спухли, пучеглазый!

Смех.

— Ишь кульер-от как его навострил!

— А ты б ему, Демка, сдачи, брат...

— Нельзя! Больно крупную закатил.

— Размену, значит, не хватило?

— Был, да просыпался дорогой — больно уж хлестко гнал.

Общий хохот.

— Ты, Демушка, ужо сальцом на ночь помажь...

— Што ты, паре! Девки любить не будут.

— Не будут, што ли?

— Ей-богу, не будут; Машка смотрительска первая наплюет в харю.

— Нешто он уж и за Машкой ноне приударил? Эку кралю выбрал!

— Ему, братцы, и смотрительска свинья впору...

— Во как, брат Демка, ноне!

Хохот на всю ямскую.

Приземистый и рябой Демка, парень лет восемнадцати, забивается при этом в самый темный угол избы и только пыхтит, поглядывая на всех исподлобья. Входит ямщик молодцеватого вида.

— Слыхали, робята: смотритель ноне опять запьет?

— Ну?!

— Поглядите, што запьет.

— Ты почему знаешь?

— Чин получил. Сичас у подрядчика был — Анисья сказывала. Сам-то проздравлять пошел.

— Эво как!

— Какой же теперича на нем, братцы, чин будет?

— Хто его знат! Первой, стало быть.

— Нешто он покедова без чина был?

— А ты как думал?

— Мо статься, эфто второй?

— Куды те! Ему и с эфтим-то не справиться.

— А я думал, братцы, он у нас с чином.

— Был чин-от, сказывает Анисья, да не настоящий, не хрещеный, значит...

— Ну, теперича беспременно загуляет.

— Загуляет — эфто верно.

— Теперича держись, робята! Как раз порку задаст.

— Задаст же и есть, братцы.

— Демке, паре, первому достанется...

— Перво-наперво ему.

Смех.

— Што ж, братцы! Пойдем, што ли, смотрителя проздравить?

— Поди-ко ты, бойкий, сунься...

— Што ж так?

— Он те проздравит!

— На радостях ничего...

— Толкуй-ко ты, малый!

— Прогонит, ребята.
— Не прогонит.
— Осенесь прогнал.
— Осенесь — друго дело.
— А може, братцы, што и водкой угостит?
— Ладно — на свои выпьешь.
— Што ж! Не зверь он какой...
— Известно, не зверь — не съест.
— Чаво ж гуторить-то попусту — идти али нет? сказывайте.

Молчание и общее раздумье. На дворе слышится звук почтового колокольчика. Все снова оживляются: даже Демка вылезает из угла.

— Никак, робята, тройка бежит?
— Надо быть, тройка.
— Тройка же и есть, паре!
— Чья очередь-то?
— Миколки Копылова никак.
— Пошто моя-то? Андронникова.
— Его разе?
— Его.
— Микита, беги к Андронникову.
— Чаво бежать-то: сам услышит.
— Може, кульер.
— Типун те на язык-то!— что больно часто.
— Не пошта ли, ребята?
— Поште рано прибежать.
— Коли, братцы, кульер — Дёмкина очередь...
— Его!
— Известно, его.

Смех.

Два-три ямщика уходят, почесываясь. За перегородкой, слышно, кто-то молится вполголоса.

— Парфен! А дядя Парфен!
— Господи помилуй! Господи помилуй! Дай богу-то помолиться... Господи помилуй!
— Де у те новыя-те постромки?
— Господи помилуй! Господи помилуй! Спроси у Орины, че-орт!— она убирала. Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй!

Еще двое уходят. Дядя Парфен молится учащеннее. Ямская мало-помалу пустеет.

III

Перед самым крыльцом станции стоит огромная кошева. Подслеповатый ямщик — вся борода и усы в ледяных сосульках — медленно выпрягает лошадей. В кошеве сидит господин в енотовой шинели, с гражданской кокардой на фуражке; рядом с ним толстый купец в громадной песцовой шубе. Ямщики кучкой стоят около экипажа, похлопывая от времени до времени ногой об ногу. Одни осматривают полозья, другие пробуют рукой отводы; вообще, все суетятся, как будто делают что-то, в сущности же, ровно ничего не делают. Максим Филиппыч, на этот раз уже в качестве ямщицкого старосты, угрюмо переговаривается сперва вполголоса, а потом все громче и громче с приехавшим ямщиком:

— По казенной али по частной?

— По ча-астной.

— Прогоны каки?

— Па-аровы.

— Не троешны?

— Не-е.

— Чего ж не просили на тройку?

— Не да-ает.

— Какова на ходу-то?

— Бе-еда чажела: на подъеме совсем, паре, замаялся...

— Клади-то, поди, довольно?

— Е-есть.

— Не увести на паре-то?

— Где тут на паре увезешь! Дай, господи, тройкой-то, вишь, дорога-то кака.

— Замело, што ль?

— Бе-еда, паре,— по колено.

— Этта у нас еще похуже пойдет...

— Мот ли быть?

— Ей-богу, право!

Господин с кокардой нетерпеливо высовывается из кошевы.

— Закладывайте живее!

— За конями, ваше благородие, побежали. Сичас запрягать станем.

— Беги, Степан, к Андронникову: де он там застрял?

Проходит минут десять. Андронников приводит лошадей, что называется, одни кости да кожа. Начинают запрягать. Запрягают так суетливо, как будто вдруг пришло известие, что время сильно вздорожало. Поминутно слышатся разно-

образные безалаберные голоса, начиная от самого забористого баса и кончая самым мизерным дискантом.

— Савраску, што ль, в корень-от закладать хошь, Андроха?

— Е-го. Ну, сто-ой, язви тебя! Тпрррру!

— Постромки-те, робята, перевязать надоть — коротки.

— Де коротки-то?

— Да ты гляди: эфто што? Тпрру! Тпрру!

— Гуж-от, паре, перетерся!

— Перетерся, што ль?

— Перетерся, язви его! Тпрру!

— Эко ты горе! Да, може, доедет?

— Хто его знать! Може, и доедет.

— Супонь-от, черт, затяни крепче!

— Куды его ищо тянуть-то?

— Куды! ты вишь али нет?— ослаб. Тпрру!

— Сбегай, братцы, хто-нибудь за рукавичками,— у Матрехи спроси.

— Эка, парень, растеряха-мужик!

— Лягатся у тя Сивка-то, што ль? Сто-ой, че-орт! Тпрру!

— Ляга-атся, будь она проклята!

— Зануздывай, робята, поскорее!

— Вожжи-то де? Тпрру! Тпрру!

— Чаво он там проклажается?

— Ташши скоре!

— Леший!

— Тпрррру!

Лошади, с грехом пополам, заложены; Максим Филиппыч, слегка приподняв шапку, подходит к кошеве с того боку, где сидит господин с кокардой.

— Прогончик, ваше благородие, здесь пожалуете...

— Сколько верст станция?

— За двадцать семь с половиной по расписанию-то платится, да все двадцать восемь будут...

— Сколько же следует прогонов?

— Рубль двадцать четыре копейки; по настоящему-то двадцать три и три четверти приходится...

— На пару-то?

— На тройку-с...

— Я, братец, на пару плачу, а не на тройку.

— Помилуйте-с! На паре теперь не увезешь...

— Я уж тысячу верст так проехал, а ты будешь мне рассказывать тут...

— Дороги здешние не те-с...

— Рассказывай...

— Нет, уж на троечку-то положьте-с...

— Ты, видно, брат, не учен еще?

— Известно, неграмотный-с.

— Ты мне, пожалуйста, любезный, эти глупости-то не говори! Сколько на пару?

Почтосодержатель, не отвечая, оборачивается к ямщикам.

— Андронников! На паре повезешь?

— Где же тепериче, Максим Филиппыч, на паре выехать с экой кошевой; сам знаешь, кака ноне дорога...

— Да вон барин не дает на тройку...

— Положите уж на троечку-то, ваше благородие!

— Я вот тебе на той станции положу, шельма!

— Эвто как вашей милости угодно. Где же тут, робята, на паре выедешь? На паре тут никаким родом не выедешь, право; тут горы пойдут.

— Да по мне, хоть на шестерке вези. У вас всё горы, мошенники вы этакие!

Почтосодержатель приосанивается.

— Здесь, ваше благородие, мошенников нет... Мы не знам, каки таки и мошенники бывают,— от вас первых слышим. Здесь всё ямщики...

— Что-о?

— Ругаться, мол, не хорошо!

— Да ты что тут один за всех говоришь, а? Кто ты такой?

— Староста, значит; потому и говорю.

— Поговоришь ты у меня ужо.

— Да мне што молчать-то?.. Тут енералы проезжают, да не обзывают всяко...

— Ну, староста, цела у тебя, видно, спина!

— Известно, наша спина в казне застрафована. А вот, ваше благородие, вы лучше подорожную пожалуйте: надо еще поглядеть, каки таки господа вы сами то есть?

— Раньше ты что думал?

— Прописать-то ее немного время встанет...

Господин с кокардой нехотя достает подорожную. Почтосодержатель на минуту уносит ее и затем, с тонкой улыбкой на губах, возвращает по принадлежности.

— Так как же, ваше почтение, на тройку не положите?

— Сказано тебе раз — нет!

— Што ж, робята! Откладай не то одного-то коня... Пущай Андрошка парой везет шагом; к вечеру-то, может, будет на станции...

Между ямщиками происходит нерешительное движение. Купец что-то горячо шепчет на ухо своему спутнику. Госпо-

дин с кокардой бормочет ему в ответ, нарочно громко, чтоб все слышали: «Постойте, вот я их проучу, бездельников!» — и затем небрежно-важно обращается к старосте:

— Сколько, ты говоришь, следует прогонов на тройку?

— Рубль двадцать четыре копейки по моему счету выходит, не знай, как по вашему.

— Получай!

К кошеве робко подходит ямщик, привезший ее на эту станцию.

— Старому ямщику на водочку милости вашей не будет ли?

— За что? Что семнадцать-то верст три часа вез?

— Да, вишь, дорога-те кака ноне...

— Тебя, скот, оштрафовать бы еще следовало!

— И на том благодарим покорно!

Некоторые ямщики прыскают со смеху; другие насмешливо переглядываются. Почтосодержатель отходит от кошевы.

— Подержи хто-нибудь, робята, коренника-та... Садись, Андрюха! Осторожне, смотри, парень, под гору-то спущайся. Микулинских увидишь — скажи, штоб беспременно сюда к воскресенью прибыли; шибко, мол, Мясникову надо. Перебору, смотри, нет — прогон весь получон.

— Ладно.

— Ну, трогай с богом!

Кошева бойко трогается. Господин с кокардой высовывается из нее и на лету озлобленно грозит старосте пальцем. Можно еще расслышать его отрывочную брань:

— Будешь ты меня, подлец, помнить! Я тебе покажу-у!..

Почтосодержатель преуморительно посылает ему рукой в ответ популярнейший из русских масонских знаков.

— Нечего, слышь, тебе показать-то: чин-от у тя в Питере остался!

— В закладе, што ль, Максим Филиппыч?

— Да-а што, право! Звездочку эфту на лоб себе приклеил,— тоже ширится... Тьфу ты, опепыш!

IV

Полдень. Это уж и без всяких часов можно сказать почти наверно: само брюхо подсказывает. У смотрителя гости: Максим Филиппыч с Анисьей Петровной. Смотрительские апартаменты, собственно говоря, одна комната с отгороженной ширмами крошечной спальной, чистенько прибраны, как перед рождеством или пасхой. На одном столе, у зеркала, стоит поднос с огромным графином местной водки и пол-

штофом местной же кабацкой ратафии. На закуску поставлен тут же, рядом, рыбный пирог с надрезанной в двух-трех местах коркой, мизерного вида и крутологовского фасона. Другой стол, у ширмы, занят исключительно из всей мочи пыхающим самоваром и разнокалиберным чайным прибором. Особенный эффект производят на нем совершенно пожелтевшая от времени салфетка, связанная в тамбур еще давным-давно, чуть ли даже не «в лета невозвратного детства» собственными руками хозяйки, и груда сладких пирогов, похожих на то, как будто их почтенный автор, рассердясь на сии в полном смысле невинные создания, дал каждому из них по пощечине, прежде чем они успели побывать в печке. Марья Федоровна с Анисьей Петровной угощаются преимущественно китайской травой, ибо жидкость, испиваемую ими, никто не решится назвать вполне чаем. Максим же Филиппыч вдвоем со смотрителем занимаются тоже преимущественно, по выражению сего последнего, «душеспасительной». Марья Федоровна пьет всего еще только четвертую чашку; Анисья Петровна, как гостья, сделала уже значительный преферанс против нее. Смотритель еще только по пятой прошелся, а уж Максим Филиппыч, тоже как гость, собирается «клюкнуть» седьмую. Физиономия смотрителя на первый взгляд ничем особенно не отличается, разве что только продолговатым картофелевидным носом подозрительной красноты; при дальнейшем же обозрении на ней открываются некоторые достоинства, впрочем, больше археологического свойства. Марья Федоровна — женщина в полном соку так называемого «бабьего лета». Гости не описываются — из приличия к гостям вообще. У того и другого стола идет беседа; беседа идет то в одиночку, то врассыпную.

— Я это говорю тебе, Анисья Петровна, не как начальница твоя, а, значит, по дружбе больше...

— Я эвто очинно хорошо понимаю, Марья Федоровна,— завсегды вами были довольны...

— Хоть теперь попадья: могла бы она, кажется, поздравить-то меня прийти? Не отвалились бы у нее ноги-то...

— Точно што оно и вам тепериче обидно, хоть до кого доведись...

— Не корыстна у нас попадейка-то-с, Марья Федоровна?

— Ты, брат, в бабьи-то разговоры не мешайся, а занимайся-ка лучше своим делом!

— За нами дело, Миколай Семеныч, не станет-с; извольте дорожку проторить — замело-с...

— Видел ты, как это устраивается?

Бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк — смотритель наливает две рюмки водки.

— Тепериче-с понял.

— То-то!

— Опять же я, Марья Федоровна, хочу и сама перестать к ней ходить; потому наговаривает она мне про вас все. Смотрительша-то ваша, говорит, дома лычком подпоясывается; а мне, мол, слава богу, батюшка кушаки из городу возит...

— У нас, поди, и во всем-то доме лыка не найдется, бесстыжая она этакая! Это, точно, раз как-то я веревочкой обвязалась — в блузе была; не могла, знаешь, второпях-то кушака найти; а у меня булки в печке сидели,— вот она и говорит, бесстыжая...

— Сама-то тепериче она тоже не бог знает в каких платьишках ходит; онучей-то я ее тоже видала.

— Эта штука-то, брат, недешево нашему брату обходится; я вот до него тридцать пять лет и три месяца отхватал!

— Известно, эку щедроту не скоро и выслужишь.

— То-то!

Бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк.

— Она это больше по теперешней ссоре нашей на меня несет...

— А я эвтого, признаться сказать, и не слыхала, чевотако у вас вышло...

— Ка-ак же!

— Сказывала эвто опомнясь Марфушка, што, мол, попадья нонече к смотрительше нашей не ходит — сердится; да мне эвто и невдомек будто — суетилась я чего-то втупоре.

— Из пустяков больше, знаете... Это, видите, вот как было. Сидит у нас как-то вечерком отец Прокопий, и она пришла. Подпили они с муженьком-то моим; а ведь батюшка-то шутник такой,— вот он и говорит Николаю Семенычу: «Давай, говорит, поменяемся женами-то! Моя-то, говорит, очень уж сухопарая, а твоя как раз поповская».— Шутит, значит. Мой-от греховодник туда же — соглашается. А я это, знаете, сижу, смеюсь да и говорю батюшке-то: «Я, мол, батюшка, к постной жизни не приучена; так трудно вам со мной будет сладить». Просто, знаешь, для смеху это сказала. Попадья-то и прими на свой счет — покраснела вся. Конечно, говорит, хоть мы с Прокопием Василичем голодом и не сидим, а все же нам не след накануне покрова на вечорках с мужиками плясать. Меня, знаете, это так и взорвало. Про кого, говорю, вы это говорите, матушка?— Да про вас же, говорит, и говорю.— Где же это, говорю, вы меня на вечорках-то видели?— Где бы уж, говорит, там ни видала, а только видела, хоть и не своими глазами. Ну, знаешь, тут уж я и сама не стерпела — брякнула ей: «Вы ведь, говорю, молодых-то

пономарей нахлебниками держите: так они, видно, вам эти вести и приносят!» С этого у нас и пошла ссора с ней...

— Взбалмошна — бабенка-с!

— Ну, ты! Опять к ним полез... Кому запрягать-то? Очереди своей не знаешь; а еще старостой величают...

— Сичас. Дайте-ы!— дух-от перевести хоша...

Бульк, бульк, бульк, бульк.

— То́-о-то!

— Это чего же, Анисья Петровна! С разговорами-то я и забыла совсем тебя угостить...

Смотрительша направляется к другому столу, берет у мужа рюмку, наливает в нее ратафии и подносит Анисье Петровне.

— Эвто што же вы, Марья Федоровна, беспокоитесь-то, право! Како́ тако нам еще угощение надыть: свои гости-то — не взыщем.

— Выкушай-ка рюмочку.

— Ой, што вы эвто, Марья Федоровна! Благодарим покорно: совсем ведь я эвтого не потребляю...

— Рюмочку-то можно...

— Нет, уж увольте... Как и други-то его пьют, погляжу, так мне ровно как тошно доспется...

— Да ведь это сладенькая, квасок...

— Вот те Христос, не могу!

— Нельзя же — монаршей-то милостью поздравить...

— Анисья! Чаво ж ты-ы! куражишься... Пей, коли тя добрые люди-ы просют!

— Пьяна ведь я этак-то буду, ей-богу...

— С одной-то рюмочки? Что ты это, Анисья Петровна!

— Уважь, Анисья!

— Да видно, што уж надыть уважить... Ну, Марья Федоровна! Всякого вам благополучия да енаральского чину поскоре!

— Покорно благодарю. Куда уж мне до генеральского-то! Хоть бы до советницы-то дожить,— и то ладно.

— Максиму Филиппычу дай господи...

— Ты-ы!— не раздобыривай, а пей!

— Будьте-ко здоровы!

После принятия крутологовской ратафии у Анисьи Петровны остается на лице, по крайней мере в продолжение пяти минут, именно то самое выражение, какое приняло оно в первый момент этой трудной операции. Тем не менее она становится как-то сообщительнее после этого; говорит больше шепотком, благодушествует насчет ближнего. Стулья

под смотрителем и почтосодержателем тоже что-то уж очень интимно сближаются, точно сто лет не видались.

— Да ты, лысая борода, у меня не финти! Николай Семеныч да Николай Семеныч! Николай Семеныч теперь ваше благородие — понимаешь ты это?

Бульк, бульк, бульк, бульк.

— Почему-ы! — не понять, ваше... благородие...

— То́-о-то!

— Завсегды-ы! — с нашим почтением...

— А ведь ты, брат, свинья! Я тебе скажу.

— Кажись... супротив вашего благородия-ы! — вины за нами... нет-с...

— То́-то! Ты вот, собачий ты сын, небось не мог на пятитку-то сегодня раскошелиться?

— Не хватило-ы! — значит...

— Знаю я, брат, как у тебя не хватает-то. Самое это плевое дело для тебя.

— Што ж! Эвто мы-ы! — и доложить могим. Хоша... таперь извольте... получать — не постоим-ы! — для вашего... благородия.

— То́-о-то!

Бульк, бульк, бульк, бульк.

Обоюдная выпивка, безмолвная передача двух рублей и целование.

— Люблю я тебя, свинью, за это: не постоим, говорит, и не постоит! А все-таки ты, значит, собачий сын выходишь!

— Эвто ж как-с?

— Да та-ак! Ямщики давеча ко мне приходили: начальство, говорят, поздравить пришли с монаршей милостью, — четвертная-та бы тут и впору пришлась... Потерял небось смекалку-то?

— И эвто все-ы! — оборудовать можем-с...

— Мне теперь контора что! Плевать я на нее хочу, на контору-то твою!! — ты это понимай...

— Мать-то, говорит, у нее на почтовом дворе белье стирала: сама-та, говорит, в одной ватнице и замуж-от вышла!.. Отец-то, говорит, ее как сивую кобылу кнутовищем драл; она, мол, от него все к почтальонишкам бегала прятаться... И всякие то исть гадости она мне про вас расписывала.

— Это она сама, может, к семинаристам-то по ночам бегала да поповскими штанами окна по вечерам завешивает, чтоб пономаря-то у нее не видали... Приедет вот ужо батюшка-то: все ее шашни эти на свежую воду выведу! Он ведь этого не любит.

— Кака же эвто она злющая, я на нее поглядела...

— Необразованная, знаете...

— А тоже грамотная — поди ж ты!

— Это ведь ее все пономарь этот выучил — ко мне и письма-то читать приходила.

— А ты меня прокати! Самую то есть что ни на есть лучшую тройку мне заложи; чтобы, значит, ты сам и на козлах сидел,— понимаешь?

— И на том-ы!— уважим-с...

— То́-то! Ты думаешь, ты что́? Подрядчик? Ты — ямщик! Больше ничего! Вся тебе цена тут... Но?!

Почтосодержатель приподнимается, держась за стул.

— Для кого-ы!— теперече... стало быть...— другого; для самово́-ы!— почместера-ы!— не уважу,— для тебя... Миколай Семеныч... завсегда-ы!— уважу!

Смотритель вытягивается во весь рост.

— Да ты меня, брат, не тыкай! Ты слушай, собачий сын, что тебе начальство твое приказывает: закладывай, п-шел!

Раздается легкая, но звонкая пощечина.

— Но?!

Почтосодержатель, шатаясь и мотая головой, улепетывает из комнаты.

— То́-о-то!

Анисья Петровна и Марья Федоровна возмущаются.

— Очинно уж вы, Миколай Семеныч, обижаете муженька-то мово...

— И что это у него, у дурака, за привычка такая мерзкая: напьется — сейчас и драться лезет! Только и затвердил: то-то да то-то! Дурак ты, так дурак и есть...

— Но-о!

— Да чего ты орешь-то?!— кто тебя боится-то, стелька ты этакая, прости господи! Тьфу!

— То́-о-то!

Бульк, бульк, бульк, бульк.

Марья Федоровна торопливо уводит гостью в прихожую, нашептывая ей что-то; Анисья Петровна то кланяется, то головой качает. Изредка слышно: «Нет, уж увольте... Не могу, вот те Христос!— побожилась, што есть... У вас, поди, скоромное готовлено... Што вы! Как эвто можно!» и проч.

V

На большой дороге, за версту от станции, совершается презабавная сцена.

Под горой, у мостика, стоит почтовая тройка, «самая

что ни на есть лучшая тройка» Крутологовской станции. Большие новые пошевни опрокинуты и взъехали передками на низенькие перила. Одна пристяжная валяется под коренной, а другая, в почтительном расстоянии, стоит по брюхо в снегу. Дуга точно «унеси ты мое горе» поет — так ее перекосило. Налево, в сугробе, новобранец первого чина в одном своем смотрительском вицмундире карабкается руками и ногами, силясь приподняться, но разбрасывает только горстями снег на ту и на другую сторону. Лоб у него расшиблен. Как его угораздило разбить себе до крови лоб об снег — известно одному только всевышнему. Собственно говоря, господина смотрителя даже и не видно, а по временам только как-то особенно напряженно высовывается красный картофелевидный нос его нового благородия. Достолюбезный его подчиненный и собутыльник, Максим Филиппыч, всячески старается помочь обескураженному «начальству», но через минуту подвергается и сам той же печальной участи. Пестрый доморощенный ковер, старая енотовая шуба, вся потертая, и щегольские бараньи рукавицы торжественно устилают собою путь от этого рокового места к не менее роковому же мостику.

Разговора не происходит; но мычание — сильное. Впрочем, от времени до времени ясно слышится какое-то неопределенное, но в высшей степени угрюмое: «О, штоб тебя язвило!» — и вслед за тем, как бы в ответ, глухо раздается из глубины сугроба протяжно-грозное: «То́-о-то!»

Издали, шажком, едет к станции обратный ямщик. Вероятно, завидев перед собой нечто не совсем обыкновенное, он становится на ноги в повозке и, прислонившись спиной к накладушке, одной рукой правит, а другой в раздумье лениво почесывает себе затылок.

«Эка, паре, разнесло-то ее как!» — думает он, не узнавая, конечно, в этом обезображенном виде своего грозного «начальства».

Через несколько минут картина изменяется.

По этой же самой большой дороге, вслед за обратным ямщиком, едет кое-как направленная им та же «самая что ни на есть лучшая» крутологовская тройка. На дне пошевней полулежит закутанный и до костей промерзший смотритель, а рядом с ним Максим Филиппыч, правящий только для виду совершенно распущенными вожжами...

И пока эти случайные близнецы подвигаются таким дружеским образом к станции, каждый придорожный куст, каждая придорожная былинка, верстовой столб, даже цифра

на этом столбе — одним словом, все, что ни встречается им на дороге,— смотрит и навсегда запечатлевает в своей памяти, как любовно проводит их «начальство» этот достопамятный день...

VI

На кухне у смотрителя обедают. Впрочем, сказать «обедают» — не совсем верно; «закусывают» — будет вернее, так как блюда не подаются, а поставлены на стол все разом. Порядок этот нарушен, вероятно, от нерасположения духа хозяйки и, кажется, отчасти от особенного расположения духа хозяина. Во всяком случае, кушанья, даже и при такой незатейливой их постановке, довольно красноречиво напоминают о великоторжественном празднике. Особенно красноречив жареный поросенок со своими оскаленными зубами: у него такое выражение на мордашке, как будто он чувствует себя в эту минуту, по меньшей мере, губернским почтмейстером. Да и щи с квашеной капустой так себе, ничего: конечно, они ведут себя солидно, скромно; но ведь они зато очень хорошо и сами понимают, что простым русским щам иначе себя и вести нельзя. Другое дело — рыбный пирог. Это уж не тот младенец, который так смиренно торчал недавно на подносе с водкой,— нет-с! У этого и корпус другой, и вид позамашистее. Он так растянулся на столе, как будто хочет сказать присутствующим:

«Попробуйте-ка, дескать, съешьте меня!»

Немного подгуляла только студень; но ей это совершенно простительно: вряд ли кто обратит на нее внимание, созерцая двух названных молодцов. Торжественнее всего здесь то, что эти messieurs и mesdames расположены так, как располагаются танцующие во французской кадрили,— дама против кавалера и кавалер против дамы; так что если бы им вздумалось сейчас танцевать, то студень отплясывала бы с рыбным пирогом, а щи — с поросенком. За столом сидят только двое: у одного конца смотрительша, у другого vis-à-vis смотритель. Последний не только сидит за столом, но даже нет-нет да и приляжет на него головой. Марья Федоровна больше ест, чем слушает; а Николай Семеныч больше говорит, чем ест. По правде сказать, он почти и не ест совсем, а только по временам, в приливе красноречия и ради особенной его выразительности, тычет вилкой в то либо другое блюдо. Замечательно, что в продолжение всего обеда его благородие никак не может расстаться с этой вилкой, как будто он вдруг вообразил себя капельмейстером, как некогда

неудачно вообразил себя часовых дел мастером. Вообще, господин смотритель находится пока в самом нежнейшем настроении.

— Ну, Машечка! Уж и прокатились же мы... Лихо!

— Чего и говорить! Это и видно.

— Так он меня пер, так пер, что и... и сказать нельзя!

— Ты бы хоть лоб-то, чучело, вытер — весь в крови.

— Это я, Машечка, здесь, в сенях, об колоду ударился...

— Уж хоть не врал бы ты, дурак этакой!

— А ты не ругайся; ты лучше меня поцелуй...

— Еще лучше, кабы ты в зеркало поглядел, на что у тебя рожа-то стала похожа: как стелька,— хоть выжми! Чучело, так чучело и есть прямой...

— Он, брат, мне дорогой-то еще пятичку всучил!..

— Кулаком в лоб-от, что ли?

Марья, или, выражаясь технически, «смотрительска Машка», невидимо присутствующая при этом диалоге, надседается — хохочет за печкой, уткнувшись головой в печурку.

— Теперь уж ты у меня, Машечка, чиновница, ваше благородие, коллежская регистраторша, а не почтальонша какая-нибудь,— ты это почувствуй! Тридцать пять лет и три месяца — вот оно чин-от-то что́ значит! Не шутка, брат. Чего нам, Машечка, не жить-то с тобой? Нам-то с тобой и жить! Чего у нас нет-то? Все у нас есть! Ты погляди-ка хорошенько. Вон и поросенок жареный у нас есть (тык); и щи с капустой у нас есть (тык); и студень есть (тык); и пирог (тык),— всего довольно, слава тебе, господи! Великое дело, Машечка, чин! А это что: «огражден-то четырнадцатым классом» в почтовом расписании стоит,— это пустяки; было испытано — не ограждает! Прежде, бывало, увидит тебя почмейстерша: «Эй, ты, Марья! Вымой поди мне полы»,— ты и пошла, и вымыла... А теперь не-ет! шалишь, брат! Полно! Теперь, кроме меня, никто тебя тыкать не смеет...

Этот монолог действует на «смотрительску Машку» еще сильнее предыдущего диалога. Она уж и не хохочет даже, а просто ржет.

Смотритель оборачивается к печке.

— Ужо ты у меня пофыркаешь там, ракалия!

Но тут уж с «смотрительской Машкой» решительно происходят конвульсии. Наконец, зажав себе одной рукой нос, а другой рот, она в таком виде стрелой вылетает из-за печки, через кухню, в сени.

«Ой, матушки! ой! моченьки моей нету! ой!»,— явственно доносится оттуда в кухню.

— Мы с тобой, брат, можно сказать, благоденствуем, Машечка! Скажи ты мне на милость, по чистой совести скажи: у кого ты этакой пирог (тык) видала? А поросенок-от, собачий сын (тык)! вишь, зубы-то как оскалил... Ус (тык)!

Смотритель, в азарте, даже встает, придерживаясь за спинку стула рукой, не занятой вилкой.

— И всяким-то он куском, дурак, выкорит тебя!

— Нет, ты мне сперва скажи: где ты видала этакой пирог (тык)?

Но при этом в высшей степени азартном движении его благородие внезапно теряет равновесие и, увлекая за собою несчастный стул, падает навзничь на пол, с приподнятой кверху в правой руке вилкой, на кончике которой торчит, в виде грибной шапочки, кусок нечаянно поддетой им пирожной корки. При такой поразительно-уморительной картине и сама смотрительша не выдерживает: выпрыскивает только что было взятую ею в рот ложку щей обратно в свою тарелку.

— Дурак, так дурак и есть, право! Вишь ведь, как ты назюзился-то, прости господи! — и катанье-то в снегу не могло тебя проветрить хорошенько! И как это он, бесстыжий этакой, делает, что ведь вот на ногах совсем стоять не может, а язык у него ничего — не смелется у проклятого!

— То́-о-то!

— Затокал опять, как глухарь: я ведь тебе не копалуха какая досталась, токанье-то твое подлое слушать!

«Не копалуха» нехотя помогает своему «глухарю» подняться на ноги. Николай Семеныч нежничает и все целоваться лезет; но поминутно лобызает один только воздух, насквозь пропитанный смачным запахом кухни.

— Экая ты у меня какая (чмок) сердитая...

— Да ты уж хоть не коверкайся — вставай; не то брошу и уйду — лежи тут свиньей на полу хоть до утра.

— Раздобрела ты у меня, Машечка (чмок)! Отъелась на смотрительских-то хлебах (чмок)...

— Ну тебя, дурак! Обслюнил всю...

— Ведь не виноват же я, Машечка, что у меня на тебя (чмок) слюнки текут...

— Тоже, дурак, каплименты говорит!

— Чин-от, брат, хоть кому ума даст, — да!

— Да как же, так оно и было! Да ну тебя! Вставай, что ли!

— Я, Машечка, сейчас прогуливаться (чмок) пойду...

— Иди-ка ты лучше спать, бесстыжая твоя рожа!

— Ей-богу, прогуляться пойду!

— Есть там и без тебя кому заборы-то боками обтирать: подрядчик-от твой всех ямщиков перепоил. Вот ужо! Почта-то прибежит — и везти некому...

— Сам повезу!

— Дурак ты, дурак!!

Беседа продолжается все в этом же роде, но недолго. Вышедшая наконец из терпения смотрительша насильно уводит своего благоверного «дурака» спать. Через пять минут он уже храпит, да таково сердито, что любимец Марьи Федоровны, большой полосатый кот, забравшийся было к нему под кровать, при первой же ноте кубарем вылетает оттуда с испугу, вскакивает, окончательно растерявшись, на туалетный стол смотрительши, ежится и жалобно мяучит, как будто выговаривает:

«Стра-ашно! Стра-ашно! Ай, как стра-ашно!»

Марья Федоровна, не обращая внимания на своего любимца, который не бледен смертельно в эту минуту только потому, что у него вся морда в шерсти, сердито отправляется дообедовать. «Смотрительска Машка», возвратившаяся уже на кухню и к которой, в свою очередь, каким-то чудом вернулась «моченька», стоит у печки, аппетитно облизываясь на «барыню». Ее, впрочем, все еще нет-нет да и передернет,— по крайней мере, не фыркает. Слышно, как кто-то на улице пьяным голосом забористо дотягивает:

«Во зе-ле-ны-их лу-га-а-а-а-ах...»

VII

Вечер. На почтовом дворе идет страшная суматоха: «пошта на шести парах прибежала». Суматохи этой в трезвом состоянии изобразить невозможно: надо именно самому напиться, чтоб передать сколько-нибудь сносно всю эту бессмысленную кутерьму. Это не суета множества людей, занятых впопыхах одним общим спешным делом; даже не извинительно бестолковая суета пожара,— нет. Это просто какое-то отчаянное состязание пьяных голосов, старающихся из всей мочи перереветь или переругать один другого. Неподражаемая русская брань, самая закатистая и с такими невообразимыми вариациями, что, кажется, услышав ее в первый раз, поняли бы и самые бесстыдные уши, сыплется здесь свободно, с треском, как крупный горох из неосторожно развязанного мешка. Иной помолчит да как закатит свое заветное крепкое словцо, так только невольно подумается, что на выработку одного этого истинно-ядовитого словца пошла вся его безрассветно-темная, горькая жизнь.

И над всем этим носится, заглушая остальные голоса, распьянейший голос почтальона, сопровождающего «пошту», который, под бременем множества возложенных на него губернскою конторою чужих «радостей и горестей», находится сам, сердечный, в таком печальном положении, что его двое ямщиков выводят под руки из почтовой повозки.

Смотрительша, второпях накинувшись чем попало, выходит на крыльцо и расспрашивает первого попавшегося ей на глаза ямщика, как фамилия приехавшего с почтой почтальона. Но ямщик оказывается столько же сведущ в этом, сколько и она. «Смотрительска Машка», стремглав прибежавшая откуда-то, весьма кстати выручает ее.

— Быков, Быков, барыня! — докладывает она впопыхах и тотчас же опять куда-то скрывается.

Смотрительша успокаивается.

— Марье Федоровне... мое наиглубочайшее! — слышит она вдруг позади себя оглушающий бас.

Оказывается, что перед ней, пошатываясь в обе стороны, стоит огромного роста почтальон, явившийся сюда так неожиданно с заднего крыльца. Вся особенность физиономии этого великана губернской конторы единственно заключается в том, что у него такие большие ноздри, как будто он только и делал на своем веку, что беспрестанно ковырял у себя в носу.

— А! Матфей Иваныч! Дорогой гость!

И приветствиям нет конца; и они, так же как и брань, сыплются здесь чем-то вроде дешевого гороха, горстями пускаемого деревенскими мальчишками друг другу в лицо. Смотрительши узнать нельзя при этом свидании. В эту минуту она уже не «начальство», не чиновница, не ваше благородие, не коллежская регистраторша даже, а просто-напросто все та же прежняя почтальонша, мывшая когда-то без отговорок полы в комнатах какой-то почтмейстерши. Торопливо уводит Марья Федоровна своего «дорогого гостя» прежде всего на кухню; торопливо приносит ему целый графин водки, не раздумывая даже, влезет ли теперь в «дорогого гостя» хоть одна рюмка; торопливо вынимает она из печки собственными своими «начальническими» руками остатки простывшего обеда; торопливо выспрашивает все губернские новости и наконец, угомонившись несколько, отправляется будить своего «бесстыжего дурака».

Его благородие опочивают удивительно-сладким сном на своем супружеском ложе. Спят они, впрочем, собственно, не на ложе, а в довольно широком отверстии между ложем и стеною. Как ухитряется «начальство» спать в этом ущелье,

не провалившись под кровать,— уму непостижимо. Только на лоне праотца его Авраама и можно спать так сладко и праведно. Снится ли ему теперь прибежавшая на шести парах «пошта»? Снится ли ему хотя новый полный графин водки на кухне, который он снова может в эту минуту выпить, весь дочиста, со своим старым приятелем почтальоном Быковым, не опасаясь больше упреков со стороны своей «отъевшейся на смотрительских хлебах Машечки»? Нет; ничего подобного ему, вероятно, не снится,— иначе он давно бы уж вскочил, натянул бы снова свой заветный вицмундир и не стал бы, на всевозможные старания Марьи Федоровны разбудить его, отвечать на каком-то новом, только одному ему понятном, языке:

— Бурррр... тырр... тырр... тахxx...

«То́-о-то!» — воскликнул бы он по обыкновению и тотчас же бы воспрянул.

А смотрительша все стоит над ним терпеливо, все не теряет надежды привести своего «глухаря» к впечатлениям видимого мира. Уж чего-то она не делает для этого! И толкает-то его, и щиплет, и трясет-то его; даже в лицо ему плюнула — нет! Не просыпается, да и только, его благородие. Наконец она прибегает к последнему средству: затыкает ему пальцами обе ноздри, а ладонью другой руки — рот; но получает такой энергический отпор, что не решается даже повторить своего маневра.

— Тьфу ты, пропастина этакая!— говорит она, плюнув еще раз в лицо, и сердито удаляется.

А с улицы нет-нет да как раздастся под самым окном:

— Я-я-язви твою душу, черт!

VIII

Поздний вечер: у «некорыстной попадейки», хотя, повидимому, и все спокойно, а тоже на душе суматоха не последняя; к ней хоть и не «прибежала на шести парах пошта», но зато са́м батюшка внезапно подъехал на тройке. Попадья угощает его теперь чаем с дороги; а красивый из себя пономарь Василий Иваныч, который «совсем нечаянно встретился с батюшкой у ворот», сидит поодаль от них на сундуке и как-то конфузливо перебирает струны старой гитары, не издавая, впрочем, никаких звуков. Отец Прокофий даже еще и рясы снять не успел.

— Смотритель-от наш...

— Слышал, слышал!..— сказывал Василий.

— И получили-то как нежданно-негаданно...
— Что ж! Дай бог! Очень я рад за него: пора уж ему...
— А я так совсем этому не радуюсь...
Батюшка разводит рукавами.
— Крайняя односторонность с твоей стороны.
— Она теперь еще пуще нос-от задерет...
— Не замечал я этого, чтоб Марья Федоровна важничала: очень почтенная дама.
— У вас все, Прокопей Василич: «почтенная дама»!
— Коли не замечал.
— Старостиха-то тоже, поди, не глухая — слышим, что она про нас-то говорит...
— Что ж! Со стороны Анисьи это нехорошо — сор из избы выносить.
— Тоже и говорить-то лишнего не надо...
— Какие же у них сегодня гости были? К пирогу-то я и не поспел.
— Да каки гости-то? Только Анисья Петровна и была с подрядчиком,— я не ходила.
Батюшка опять разводит рукавами.
— Крайняя односторонность!
— Да мне чего ходить-то к ней на поклон? Пирога, что ли, я ее не видала? У меня завтра и свой будет...
— Надо было сходить поздравить. Я бы вот и теперь пошел, да поздно — поди, спят все.
— Поссорились да еще ходить...
— Что ж, что поссорились... Мы вон, пожалуй, с благочинным десять раз ссорились, а я и по сию пору к нему хожу.
— То отец благочинный...
— Все единственно. Вот ужо, как на исповедь-то к отцу Степану пойдешь,— он тебя не причастит. По-моему, поссорился да тут же и помирился.
— А я этого не могу...
Батюшка еще раз разводит рукавами.
— Ну, я и говорю: крайняя односторонность!
Молчание.
— Василий Иваныч, вам чайку-то налить?
— Ты что ж, Василий, в самом деле чаю-то не пьешь? Пей, парень, это ведь не водка.
Но пономарь только «благодарит покорно» — не хочет: дома напился. Он без отца Прокофия так часто пил чай у попадьи, что теперь, при батюшке, ему даже уж как-то и совестно пить.
— А у нас это блох сколько без вас, Прокопей Василич, расплодилось; просто житья от них нету...

— Надо ужо как-нибудь из городу порошка привезти. Порошок, говорят, такой есть.

— Третьего дня так совсем меня заели. Уж я и перину-то трясла на снегу — ничего-то их, гадин, не берет, мои матушки!

— Что ж! Надо и этому зверю чем-нибудь питаться.

Молчание. Пономарь кашляет в руку.

— Треб-от много справили, отец Прокопей?

— Довольно.

Молчание.

— А мне вчерась Василий Иваныч смешну таку книжку принес почитать...

— Какую же такую книжку? То есть название-то как у ней?

— Да уж смешно и называется-то: «Миргород».

— Не зна-аю.

— Уж я похохотала же вчерась... И как у них это все ловко выходит, у сочинителей у этих!

— Мало ли чего господа сочинители пишут — брехотня одна больше. Ты где ее, Василий, выкопал?

— Мне, отец Прокопей, проезжающий один подарил.

— Это же как?

— Без вас этта как-то лошадей у смотрителя не было, я ему вольных сыскал, он мне и подарил — на память, говорит, возьмите.

— Не худую ли он тебе какую книжку, парень, подарил?— всякий ведь тут народ проезжает. Ужо-ко я ее завтра сам почитаю — это дело-то будет вернее...

Пономарь конфузится. Молчание.

— А у меня дорогой ухо продуло: надо бы вот деревянным маслом помазать на ночь-то.

— Может, и так пройдет...

— Помазать-то все лучше: колоть не станет.

Пономарь подходит под благословение.

— Куда ты, Василий? Спать?

— Да надо ложиться пораньше, отец Прокопей: завтра, поди, обедню будете служить?— воскресенье.

— Буду. Доброе дело, парень. Ну, бог тебя благословит! Во имя отца и сына и святого духа... Малышихе от меня поклон скажи,— послезавтра, мол, батюшка окрестит. Да это у ней, смотри, парень, не от тебя ли уж?.. Духовному, брат, это не подобает...

Пономарь так краснеет, что даже матушке становится совестно и досадно.

— Уж и погорел, красная ты у меня девушка! Это ведь

я так сказал, не к худому, — пошутил... Ну, прощай, парень, с богом!

«Красная девушка» поспешно раскланивается с попадьей и уходит, немилосердно стуча кунгурскими сапогами.

— Поди, и нам уж, мать, спать пора?

«Мать» согласилась с «отцом» молча.

— Это чего же, часы-то у нас стоят, никак?

— Не решилась я без вас, Прокопей Васильевич, завести...

Батюшка в четвертый раз разводит рукавами.

— Опять это крайняя односторонность с твоей стороны.

— Боюсь я их заводить-то — неравно еще испорчу чего-нибудь...

Батюшка в последний раз разводит рукавами.

— Я и говорю: крайняя односторонность!

Отец «Прокопей» достает из лампадки деревянное масло, мажет себе ухо, раздевается и ложится, покашливая, на диван. Попадья стелит свой пуховик, гасит свечу и тоже ложится. Все успокаивается. Лишь изредка, поймав, вероятно, каким-то секретным способом в потемках блоху, матушка скрипит кроватью и будто шепотком приговаривает:

«Вишь ведь, мои матушки, куды ее опять, гадину, угораздило!»

IX

Ночь. В приемной станционной комнате сидит проезжий офицер в дорожном полушубке с намотанным в три ряда красным шарфом на шее и дорожною же сумкою на ремне через плечо. Ожесточенно курит он свою тоненькую папироску, сверкая большими черными глазами. Почтовые правила и расписания как-то искоса и насмешливо смотрят на него из своих траурных рамок. Недружелюбно косится на господина офицера и зеркало, висящее на противоположной стене. Оно даже, низко нагнувшись, как-то особенно любопытно заглядывает на него сверху, как будто никогда и не видало такого сердитого лица.

— Смотрителя мне сюда подать!! — неистово кричит проезжий, потрясая солидным кулаком весьма непрочный на своих тоненьких ножках казенный стол, который, вероятно, в паническом страхе за свою и без того уже годами испытаний надломленную жизнь, трясется весь как в лихорадке и бессмысленно, как малое дитя, лепечет скороговоркой:

«Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас!»

Но стол, бездельник, врет: он это только успокаивает господина офицера, потому что «смотрительска Машка», босая и растрепанная спросонья, только через час после этого прибегает в каком-то очень уж грациозно-фантастическом костюме на неистовый зов проезжего.

— Смотритель где?!

— Спят...

— Разбудить!!!

«Смотрительска Машка» сперва опрометью бросается к дверям; но потом, как будто не разглядев еще хорошенько грозного «проезжающего по казенной надобности», оборачивается на одно мгновение снова к нему, описывает по комнате какой-то тоже не менее фантастический круг, но наконец убегает без оглядки — только пятки мелькают, совершенно как будто кто сзади дал ей хорошего пинка.

«Да, как же, разбудишь его теперь, держи карман-от!» — глубокомысленно думает, вероятно, седой станционный таракан, преспокойно разглаживающий в эту минуту своими тоненькими усиками офицерскую спину. Дедушка, кажется, дремал на потолке, но, услышав внезапный шум, проснулся и нечаянно оборвался спросонья.

Смотрительша, успевшая уже пробраться в одной ночной сорочке в пустую соседнюю комнату, трепетно поглядывает в щелочку перегородки, оказавшуюся удивительно удобной для подобного созерцания. Проезжий как бы предчувствует это. Снова потрясает он казенный стол, заставляя при этом несчастного опять бессовестно врать, и в заключение неистово схватывает жалобную книгу. В азарте он срывает даже казенную печать на шпурке, связывающем будто бы неразрывными узами эту, по правде можно сказать, книгу жизни с угольным столиком, и принимается черкать ее пером, найденным тут же в покрытой плесенью синей чернильнице. И уже отчаянно же черкает проезжий! И чего-чего только не начеркает он в ней, в этой несчастной, безответной мученице — жалобной книге, которую чрез несколько дней равнодушно просмотрит уполномоченный губернскою конторою ревизор, может быть, такой же станционный смотритель, как и Николай Семеныч, и безграмотно и бестолково отметит сбоку: «Жалоба сия по недостатку вышеизложенных в ней фактов остаетца без последствий!» Много-много разве что какой-нибудь злополучный ямщик собственной спиной отдуется в этот день за так лихо отпразднованный первый чин своего «начальства», а не то — одна только серая бумага и отдуется.

Бедный ямщик! Бедная книга!

Но не так, вероятно, думает в эту минуту проезжий. Записав свою жалобу, он как угорелый выбегает на крыльцо и кричит на всю станцию:

— Эй! Староста где? Старосту мне подать сюда! Писаря!

Но — увы! — ничего этого ему не подается.

«Догадаться бы мне поросенка давешнего послать ему закусить — все бы, может, лучше было?» — тревожно раздумывает за перегородкой смотрительша, дрожа от холода и прислушиваясь к этому внезапно налетевшему на крутологовскую станцию урагану.

Двое ямщиков, бог знает каким чудом утрезвевших в этом поголовном пьянстве, без шапок и смиренно почесываясь, подходят к крыльцу.

— Ну?!

— Лошадей, ваше благородие, нетути...

— Вот я вам покажу «нетути»! Ме-ерзавцы!!

И действительно, через несколько времени он очень ясно им это показывает; но только в том смысле, что, не добившись все-таки ни от кого никакого толку, возвращается в приемную станционную комнату и, не снимая даже полушубка, бешено укладывается спать на что попало, бесцеремонно обсыпанный через четверть же часа тьмою голодных клопов, не кушавших, даже не завтракавших, может быть, в продолжение целого года.

Спокойной ночи и приятного сна, господин офицер!

X

Глубокая ночь. Все живое на Крутологовской станции спит как убитое. Уж на что чуткий прекрасный пол — и тот на этот раз не составляет исключения. Марья Федоровна, например, выводит носом на своем пуховике такие странные тонкие нотки, что так вот и кажется, что во сне ей снится что-нибудь очень уж презренное.

«Фи! фи! фи! фи!» — выделывает она поминутно.

Что же касается «смотрительской Машки», спящей на своем любимом месте за печкой, то только одна она и может так спать, как она спит теперь. Голова у сей бесподобной девицы, потеряв из виду подушку, покоится на голом полу под лавкой, а босые исцарапанные ноги греются на печке. Они имеют такой вид, как будто крепко поссорились между собою и, отвернувшись друг от друга в разные стороны, язвительно шепчут:

«Пожалуйста, подальше от меня, матушка!»

Впрочем, такое оригинальное положение «смотрительской Машки» на самом деле очень естественно. Помещение, где сия «ракалия» обретается, так узко, что спать в нем удобно растянувшись можно только вдоль; а потеряв из виду подушку, она уж, конечно, утратила и это простое соображение, почему и имеет в настоящую минуту вид девицы, согнутой, что называется, в три дуги либо в бараний рог.

Анисья Петровна хоть и благообразно спит возле «свово», так некстати на этот раз обнявшего ее, «муженька», но тем не менее — с выразительным присвистом..

Исключение составляет только несчастная попадья, которую одну в целом доме каждую ночь кусают блохи, а с приездом батюшки так «просто житья от них нету»; по поводу чего она то и дело и выбегает на двор, «вытрясти одеяло», как уверяет «ее преподобие» на до смерти надоедающие вопросы «его преподобия».

О мужчинах уж и говорить бы нечего, если б в это же дело не замешался и почтальон Быков, оставшийся переночевать на Крутологовской станции. Положим, весьма понятно, как может спать мертвецки «пропастина», бесчувственно пересаженная своей «Машечкой» при помощи «Машки», как привычный оранжерейный цветок, с кровати на пол, хоть она и рискует проснуться поутру с отъеденными ушами, ибо крысы в спальне, несмотря даже на присутствие полосатого кота, так и перебегают взад-вперед по полу, издавая по временам звуки; похожие на робкое секретное хихиканье первоклассников гимназии, когда учитель сидит еще в классе. Не удивительно тоже, что даже и ввиду этой катастрофы у Николая Семеныча «текут слюнки», неизвестно только, на видимую ли им во сне «Машечку» или просто на самое наслаждение сном. Положим, понятно также, как может спать, хотя и весьма умеренно, отец Прокофий, не считающий, конечно, сна «крайнею односторонностью».

Положим, наконец, понятно даже и то, как может беззаботно храпеть утомленный дорогою проезжий, не обращая никакого внимания на поедающих его голодных станционных пролетариев. Все это более или менее понятно. Но как может так беспардонно всхрапывать и высвистывать своими носовыми трубками разные, еще нигде не изданные пьесы почтальон Быков в то время, как привезенная им «на шести парах пошта» ночует почти без всякого присмотра на почтовом дворе,— это уж даже и уму непостижимо, кажется. А между тем самому почтальону Быкову это совершенно понятно. Он

очень хорошо знает, что бывает верен почтовому положению — не отходить ни на шаг от почты — только тогда, когда уж так напьется, что его и вытащить нельзя из повозки; в настоящем же случае он напился в комнате у смотрителя, так там и остался.

По правде сказать, не тепло и не весело различным «радостям и горестям» ночевать на почтовом дворе, в душных казенных кожаных сумках, в то время когда им следовало бы спешить и спешить, все равно, по важным или не важным причинам, близко либо далеко. Но ведь что же станешь делать! Не втащиться же им, в самом деле, в комнаты смотрителя, у которого в этот достопамятный день есть довольно-таки и своих радостей и горестей. Нетерпеливый, но недогадливый получатель их, поджидая лишний день почту, свалит, конечно, всю вину на распутицу: но как же забавно он ошибается, назвав весьма приятное для каждого получение первого чина — ни для кого не приятной распутицей!

Итак, на Крутологовской станции спит все, что только может дышать и спать. Даже караульный при «поште» — и тот спит, благоразумно рассудивши, что у них «смирно: не пошаливают — не слышно». Лишь изредка перевертывается он на другой бок и лениво чешет спросонья то место, от которого, если оно чешется, по русскому выражению — «голове легче». Да что караульный! Спишь даже ты, бедная, безответная, поистине всеми загнанная, пресловутая русская почтовая лошадь, печально опустив свою морду к овсу, которого тебе, от усталости и изнуренности, даже уж и есть не хочется! Не говоря уж об ямской: к ней если подойти теперь, то можно подумать, что это вовсе не изба, напичканная ямщиками, а какая-то всю ночь работающая фабрика: так дружно, громко и разнообразно храпят там.

Правда, не спит еще пономарь, как-то весьма неопределенно прохаживающийся мимо поповских ворот и, вероятно, припоминающий пение завтрашней обедни; да не спит еще станционный дворовый пес, «ему же несть названия». Это странное имя носит он, впрочем, совершенно законно, ибо им окрестил его однажды сам отец Прокофий, когда ни за что не мог добиться, как действительно зовут эту вислоухую собаку, которую на почтовом дворе всякий кличет по-своему, как кому вздумается. Но только эти два субъекта и бодрствуют, — да и те, вероятно, ненадолго.

И весь этот поголовный мертвецкий сон весьма близко напоминает здесь собою другой, более ужасный сон — сон преждевременной смерти заживо похороненных. Тишина

царствует невообразимая. Чутко и долго прислушивается к этой тишине «ему же несть названия» — инда одурь берет его от скуки; но, не уловив ни единого звука, к которому можно было бы придраться по-собачьи, тоскливо поднимает кверху мохнатую морду и воет, да так протяжно, томительно воет, что не спящая в эту минуту попадья, услышав такой пронизывающий душу вой, крестясь, садится на постели и, вспоминая о каком-нибудь давным-давно умершем родственнике, невольно проговаривает вслух:

«Господи Иисусе Христе! К какому же это опять, мои матушки, покойнику-то развылась!»

Может быть, и в самом деле кто-нибудь скоро умрет на Крутологовской станции,— кто знает.



ОСТРОЖНЫЙ ХУДОЖНИК

Очерк из мира забитых талантов

I

ОЛОВЯННАЯ КРУЖКА

Был у меня один школьный товарищ, по фамилии Седаков, очень неглупый малый, но большой чудак и добряк, которого я, вскоре по выходе из гимназии, как-то потерял из виду. Оно и немудрено: ему пришлось остаться на родине, коротать неприглядную будничную жизнь, а меня потянуло в неведомую даль, в столицу, за новыми впечатлениями. Правда, изредка мне удавалось слышать о нем кое-что случайно: знал я, например, что он сперва подвизался где-то в качестве столоначальника, потом учительствовал и наконец определился в военную службу юнкером,— но вот и все. Только через много лет я напал на его настоящий след, и вот каким образом.

Это было давно, в одну из моих сибирских поездок, раннею весной, в самую отчаянную распутицу. За бездорожьем и усиленным разгоном лошадей мне предстояло высидеть чуть ли не целую неделю на какой-то убогой станции. На другой же день этого злополучного сиденья, утром, я разговорился с приветливым старичком смотрителем о его станционном житье-бытье, которое, как оказалось, всегда вернее можно было охарактеризовать собственными словами моего собеседника: «просто хоть пропадай со скуки».

— Вот только и отведешь душу, как побываешь раза два в месяц у соседнего этапного командира Седакова. Такие они люди, что, кажется, век бы с ними не расстался!— заключил он восторженно.

— Позвольте!..— встрепенулся я в свою очередь.— Какой это Седаков? как его зовут?

— Михайло Кондратьич, а ее — Ольга Максимовна.

— Не служил ли он раньше в гражданской службе?

— И по гражданской служил, и учителем после был; тоже помаялся на своем веку-то,— пояснил смотритель.

— Ну, так и есть! Знаете ли? ведь это, оказывается, мой любимый товарищ по гимназии,— сказал я, искренно обрадовавшись.— Где же он живет? далеко отсюда? Мне бы гораз-

до приятнее было, извините, погостить у него, чем у вас: мы с ним сколько лет не видались.

— Вот ведь какой случай, право...— как-то суетливо, даже будто растерявшись, произнес смотритель.

— Далеко ли это отсюда? — повторил я снова, не поняв сразу причины его суетливости.

— Да живет-то Михайло Кондратьич недалеко, на той вот самой станции, откуда вас сюда привезли. Там, знаете, село большое, так потому и этап; острог-то будет в самом конце, может, видели? А я вот о чем помышляю: какое это ему-то было бы утешенье! Этакого-то дорогого гостя встретить! да еще из Санкт-Петербурга! Мы ведь тут как медведи живем. Эко горе, право!.. насчет лошадей-то.

Старичок на минуту весь углубился в себя, а потом снова засуетился еще больше.

— Стойте-ка! — закричал он вдруг и даже привскочил на стуле.— Есть у меня тут в запасе курьерская троечка... лихая... ведь и всего-то двадцать две версты... Эх! да уж куда ни шло: для милого дружка, пословица говорит, и сережка из ушка. Только уж, пожалуйста, и я с вами: не утерпеть мне, лично доставлю.

Я, конечно, был очень рад. Через час мы уже выезжали со станции в легкой смотрительской повозке, захватив с собой только мой небольшой чемоданчик с бельем. Совершенно размокшая от двухдневного дождя, глинистая дорога шла все в гору, колеса то и дело вязли по ступицу, наша «лихая троечка» буквально ползла, и мы эти двадцать две версты ехали более четырех часов.

— Рискую... ей-богу, рискую! — чуть не на каждой версте тревожно уверял меня мой обязательный спутник.— А ну как, да несчастье, да генерал-губернаторский курьер прибежит? Ведь тогда хоть по миру иди и не кажи лучше глаз в почтовую контору. А не могу для Михайла Кондратьича не уважить: вот они какие люди!

Интересуясь школьным приятелем и прежде, теперь я еще больше заинтересовался им и, от нетерпения и любопытства, едва дождался конца пути. Уже вечерело, когда мы завидели первые домики Осиновоколкинской станции или, вернее, села Осиновые Колки, а между тем оно было растянуто на целую версту, и нам еще приходилось сделать ее, чтобы достигнуть этапа. К счастью, здесь пошел уже гораздо более твердый грунт дороги, и кони прибавили шагу.

— Вон и сам майор налицо,— указал мне рукой смотритель, едва мы поравнялись с высоким заостренным частоколом острога, выкрашенным казенною желтой краской.

В самом деле, на невысоком крыльце продолговатого, в виде ящика, и такого желтого деревянного здания стояла коренастая фигура в расстегнутом до рубашки военном сюртуке, без шапки, заслонившая широкой ладонью глаза — должно быть, от отблеска мокрой дороги. В этой фигуре я бы не сразу узнал прежнего товарища: слишком уж он «заматерел», как выражаются иногда охотники о крепко сложенном волке. Лицо землистого цвета сияло, однако ж, прежним добродушием, а широкая улыбка все время держала полуоткрытым рот, точно она запуталась в густых и косматых черных бакенбардах.

— Узнаете меня, Седаков? — крикнул я ему, первым выскочив из повозки.

— Постойте-ка, ну-ка, правое плечо вперед! — густым басом скомандовал мне майор и без церемоний повернул меня в профиль к себе своими сильными, как клещи, руками.— Э! вон оно что: нос-то этот с зарубкой мне памятен. Воистину, брат, следует облобызаться!..

И он радостно назвал меня моей бывшей школьнической кличкой, облапив не хуже сибирского медведя.

Минуту спустя я буквально был на руках внесен товарищем в комнату и в таком забавном виде отрекомендован его супруге. Ольга Максимовна оказалась совсем под стать мужу: высокая, мускулистая, с несколько грубоватыми манерами и почти мужской походкой, она так крепко пожала мне руку, что у меня чуть пальцы не хрустнули.

— Как раз к самому чаю подъехали,— ласково прозвучал в моих ушах ее голос, от которого, судя по фигуре его хозяйки, я уже никак не ожидал той мелодичности и женственной мягкости, какая в нем слышалась.

— Раздевайтесь-ка поскорее, да и будьте как дома. Мы с Мишей попросту любим.

Когда она говорила это, большие темно-синие глаза ее смотрели так искренно, с таким выражением радушия, что совестно было бы даже и подумать о стеснении.

— Вот какую славную я себе бабенку подцепил,— не без гордости сказал мне Седаков, любовно провожая глазами жену, уходившую в соседнюю комнату.— Украл, брат, я ее... у родителей стащил! Раздевайтесь-ка, в самом деле, да осмотритесь на новом месте: раньше двух недель — ведомо бы вам было — я вас ни за что отсюда не выпущу, а в случае бунта... в острог запру.

Он добродушно захохотал своим густым басом и быстро вышел на улицу.

Я разделся, закурил папироску и стал осматриваться. В

комнату еще не было подано свечей, но и при слабом свете наступавших теперь сумерек можно было определить, что она имела назначение приемной залы. Размеры ее были довольно обширны, обстановка самая простая: на окнах висели чистенькие кисейные занавески, а на особо приделанных широких подоконниках ютилось множество горшков с цветами; по стенам было размещено несколько солидных гравюр под стеклом. Над диваном, как раз против входной двери, висели рядом два портрета без рам, на одних подрамках — хозяина и хозяйки, писанные, очевидно, на холсте масляными красками: сгущавшиеся все более сумерки не позволяли судить о художественном достоинстве работы, но сходство лиц было поразительное.

Прошло минут десять — и в зале стало совершенно темно. Я приютился на диване и чуть было не задремал, утомленный четырехчасовым переездом по варварской дороге. В комнате, должно быть смежной с соседнею, звякнули чайными ложечками.

— Что? не совсем еще ослепли? Хорошо мы вас на первый раз угостили? — окончательно вывел меня из забытья смеющийся голос хозяина, который незаметно подкравшись, ощупью отыскал мою руку в потемках.— Ключ, брат, потеряли от чулана, где у нас свечи держатся, так надо было пробой выдернуть. Пойдем-ка теперь на огонек.

Он крепко обхватил правой рукой мою фигуру и через темную гостиную провел меня в столовую, где кухарка только что вставила и зажгла свечи. На длинном столе кипел уже объемистый самовар, Ольга Максимовна расположилась как раз перед его краном, а рядом с ней сидел, с сияющим лицом, мой обязательный спутник.

— Пехоту пустим вперед, или прежде конной артиллерии прикажете сняться с передков? — обратился ко мне с неожиданным предложением Седаков, заботливо усадив меня возле себя.

Я не понял, о чем шла речь, и только вопросительно взглянул на него.

— А это по-ихнему значит: чай ли вы будете сперва кушать, или прежде по водочке пройдетесь? — любезно выручил меня из недоумения смотритель.

Я выразил желание начать с «пехоты».

— Артиллерию, стало быть, выдвинем к ночи? Резон! Со всех батарей будем жарить, чтобы к утру и следа, брат, не осталось от неприятельской крепости, именуемой трезвостью,— шутливо порешил хозяин.— А ты уж, Олюша, позаботься завтра о раненых,— хохоча, обратился он к жене

и поцеловал у ней руку,— чтобы, главное, кисленького было побольше, брат.

За чаем полились оживленные речи. Впрочем, собственно, говорили без умолку только мы с Седаковым; Ольга Максимовна больше слушала и лишь изредка, с большим тактом, вмешивалась в разговор, а смотритель все время как-то отечески-благодушно улыбался, молча посматривая то на того, то на другого. По правде сказать, им нельзя было особенно и заинтересоваться нашей веселой болтовней, напиравшей преимущественно на школьные годы, как это всегда бывает между не видавшимися с тех пор товарищами: то, что уже при одном намеке вызывало в нашей памяти целый ряд былых картин и ощущений, для непосвященного слушателя пропадало бесследно и даже, быть может, казалось бессмыслицей. Тем не менее эта эгоистическая тема, по всей вероятности, еще долго бы не истощилась, если б ей не помешало одно обстоятельство. Давно уже я с любопытством посматривал на затейливую кружку, из которой пил чай хозяин, но находил неловким завести о ней речь ни с того ни с сего. Теперь он вдруг сам подметил это и самодовольно улыбнулся.

— Э! так она и петербуржцу бросилась в глаза? — сказал Седаков, высоко поднимая в руке заинтересовавший меня предмет.— Это, брат, чудо своего рода! — Он живо выплеснул недопитый чай в полоскательную чашку и подал мне кружку.— Нате-ка полюбуйтесь, какая работа!

Работа была действительно замечательная. Представьте себе обыкновенную больничную оловянную кружку, но покрытую кругом, не исключая крышки и ручки, самою тончайшею сеткой из того же металла наподобие вуаля, обычные мушки которого были заменены здесь настоящими оловянными мухами, как бы ползавшими в разных направлениях по сетке. К самой средине ручки, сверху и снизу, сетка постепенно сходила на нет,— очевидно, для удобства захвата. В особенности мухи, несмотря на их почти натуральную величину, были сделаны изумительно. Признаюсь, до того времени я не видывал ничего подобного и теперь с молчаливым восторгом повертывал в руках кружку.

— Да, брат,— говорил между тем хозяин,— чудо своего рода! И ведь, заметьте, все вырезано от руки, а не отдельно приспособлено.

— Но чья же это работа? — воскликнул я, крайне заинтересованный.

— А есть, брат, у нас тут такой... острожный художник, как мы его зовем, так вот это — его произведение. Он, бедня-

га, и живописец вместе: вон в зале висят наши с женой портреты — тоже его рук и разума дело.

— Но как он сюда попал?

— Еще очень хорошо, что он именно сюда попал, в наши руки. Как попал? — передразнил меня Седаков, видимо, разгорячившись.— Да как в Сибирь-то, брат, попадают? Разумеется, пешком, а не в коляске...

— За что, я спрашиваю?

— А вот за это свое искусство: очень уж, мол, ты, брат, искусен, так поди-ка проветрись!

— Нет, в самом деле, за что же? — допрашивал я, интересуясь все больше.

— В партионном списке у него значится коротко: «за подделку фальшивой монеты и фальшивых ассигнаций»; а совесть его... уж господь ведает.

— Ты лучше, Миша, расскажи всю историю кружки сначала,— вмешалась в разговор Ольга Максимовна.— Это очень интересно.

— Да, расскажите, пожалуйста,— попросил и я.

— Вы, брат, не подумайте,— оговорился хозяин, обращаясь ко мне,— что я не берегу это сокровище — эту кружку: ведь она сегодня на столе только по вашей милости, а то ее место — в спальне у жены, в шкапу, за ключом. Признаться сказать, мне, брат, хотелось похвастаться чем-нибудь перед товарищем — вот я и заставил жену вынуть ее на свет божий. Теперь все по порядку сообщу. В прошлом году, совсем уж поздней осенью, привели ко мне небольшую партию арестантов, человек в семьдесят. Здесь полагалось им три дневки на отдых. Один арестантик — именно Павел Федорович Окунев — захворал перед отправкой: не могу, говорит, ваше благородие, идти дальше, да и шабаш! Посмотрел я: жар у него, горит весь. Делать нечего, оставил на свой страх до прихода следующей партии. Потом думаю: надо же и полечить больного. Приказал я казаку вытереть его на ночь горчицей с водкой, с солью и уксусом да накрыть потеплее. А жена (Ольга Максимовна любит-таки пошататься по острогу) снесла ему горячей малины вот именно в этой самой кружке: она с крышкой, так чтобы не остыло дорогой. Кружка эта тогда была еще просто, брат, обыкновенной оловянной кружкой. Надо вам сказать, что она у меня, некоторым образом, заветная: ее подарил мне за Байкалом один доктор-приятель, теперь уж покойный,— так я очень дорожил ею. Выпил арестантик малину при жене и Христом-богом еще попросил кружечку. Дали и еще; только во второй-то раз жена забыла принести кружку назад,— за поздним временем

так и оставили до утра. Утром я пошел его навестить. Смотрю: мой арестантик уже на ногах, брат, как встрепанный. Порадовался. «А где же у тебя, говорю, кружка из-под малины? Я ее, братец, не вижу».— «А не знаю-с, говорит, надо быть, солдатик с собой захватил-с».— «Какой солдатик? когда?» — спрашиваю. «Да кто его знает-с какой: был тут рано утром какой-то солдатик-с, я его спросонок не разглядел,— надо быть-с, он и унес». Заметьте, что острог в то время был совершенно пустой; кроме этого больного арестантика, никого там не было. Я за команду взялся,— у меня ее восемнадцать человек на руках, исключая казака,— никто ничего не видал, никто ничего не уносил, да и в камеру не заглядывал. Выяснилось только, что вот Ольга Максимовна чуть было меня под суд в то время не подвела: уходя, не заперла камеры на ключ — и арестантик мог бежать, а ведь он в каторжную работу назначен! У нас, брат, тут простые порядки, как и мы сами люди простые. Так мы тогда это дело и предали воле божией. Новая партия, за распутицей, больше месяца не приходила. Раз, будучи случайно на станции, я узнал от проезжающего офицера, что он, за три переезда отсюда, обогнал дорогой большую партию арестантов. Я в тот же день сообщил это моему арестантику и приказал ему готовиться к отправке. Он промолчал, а немного погодя, этак с час времени, опять потребовал меня к себе через конвойного. Прихожу. «Что тебе?» — спрашиваю. Арестантик мой молчит, наклонился и что-то достает из-под нар. Думаю: не добро у него на уме — и попятился. А он мне вдруг бух в ноги: «Ваше благородие! — говорит,— простите великодушно-с: за вашу доброту извольте получить в целости свою кружечку-с, только в другом виде-с»,— и поднес мне вот это сокровище...

Седаков снова приподнял рукой стоявшую передо мной кружку и на минуту умолк, видимо, сильно растроганный.

— Да, брат! вдвойне сокровище: и по работе, и по чувству...— выговорил он наконец с навернувшимися слезами на глазах.

С минуту и мы все молчали.

— Достань-ка, Олюшка, коньяку,— обратился вдруг хозяин к жене,— это меня всегда взволнует.

Он налил из поданного ему графина чуть наполовину чайного стакана и выпил залпом.

— Ведь, кажется, сколько я понял из ваших слов, этот художник и теперь здесь? — полюбопытствовал я.

— Вот, вот... в том-то, брат, и штука вся,— сказал Седаков, покачав головой,— это у меня большой служебный

грех, да и рискую я страшно. Жалко нам стало с женой гнать такого талантливого арестантика в лапы каторги, посоветовался я кое с кем, заручился свидетельством лекаря, да вот и по сие время вожусь с моим грехом: отписываюсь и все рапортую Окунева больным при смерти: у него, впрочем, и точно — чахотка. А когда-нибудь до меня доберутся же... Мы даже и запираем-то его теперь только для виду, когда приходит партия, а так он на воле больше, спит с моим казаком и ест с нашего стола: любимец Ольги Максимовны,— добродушно улыбнулся Михаил Кондратьич.

— Он такой кроткий, забитый... пусть бы уже и умер на наших глазах,— тихо и застенчиво, как бы оправдываясь, прибавила от себя хозяйка.

— Вот они какие люди! — выразительно мотнул мне на них головой смотритель.

— Ну, ну!.. перестань! Большое, брат, спасибо тебе, что ты ко мне милого товарища привез, а все-таки сахарной булкой не рассыпайся: какие есть, такие и ладно,— круто оборвал его Седаков и снова обратился ко мне.— Вот вы завтра днем посмотрите наши портреты в зале: ведь они, брат, как написаны? Даже не вывесочными красками, а просто кровельными — вот чем колоды у окон да двери красят. Холст он тоже загрунтовал обыкновенной замазкой; а больше всего горя у нас было с кистями: хорошо, что у жены нашлись горностаевые хвостики, да еще поросячью щетину пустили в дело. Вот, брат, как!

— А нельзя ли будет, Михаил Кондратьич, взглянуть на самого художника? — осведомился я.

— Почему же только «взглянуть», а не познакомиться? — спросил Седаков, и в тоне его голоса проскользнула как будто ирония.— Это можно, это мы, брат, сегодня же устроим... ужо попозже.

II

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДАРОК НА ПАМЯТЬ

Редко когда я чувствовал себя так хорошо, как в этот вечер, за чайным столом у Седаковых. Мне невольно приходило в голову, что я сижу у самых лучших друзей, где, под несколько шероховатой оболочкой, таятся благороднейшие людские чувства, где жилось и думалось неизменно честно и куда вовсе нет доступа условной нравственности, которая, соблюдая только букву, искажает весь смысл мудреной книги общежития. Да! я именно это чувствовал, и когда мы встали из-за стола, чтобы перейти в гостиную, у меня как

будто немного похолодело на душе. Мое впечатление в данную минуту можно было сравнить с тем, какое испытываешь поздней осенью, когда, пригревшись на солнце, вдруг ощутишь на себе резкое дуновение холодного ветра, напоминающее об утраченном лете. Впрочем, это впечатление прошло очень скоро, и новым согревающим лучом явилась Ольга Максимовна, когда, управившись по хозяйству, она опять присоединилась к нашему обществу.

— Я распорядилась сделать пельмени к ужину. Вы ведь, верно, любите пельмени? — ласково прозвучал мне ее мелодический голос.

В искренней беседе время летело незаметно; на этот раз все в ней принимали одинаково живое участие. У меня расспрашивали о петербургских новостях. Седаков передавал интересные случаи из своей скитальческой жизни, смотритель смешил нас юмористическими выходками насчет почтмейстерской семьи, и даже несколько сдержанная хозяйка неоднократно вызывала веселую улыбку на лицах собеседников своими меткими замечаниями. Но сказать откровенно, несмотря на всю чарующую прелесть такого интимного кружка для дорожного человека, я теперь слушал както неохотно, отвечал рассеянно: «острожный художник» не выходил у меня из головы, и мне стоило больших усилий не заговорить о нем снова. На счастье, как бы угадав мою мысль, Седаков среди разговора вдруг обратился к жене:

— Э! вот что, Олюша, вели-ка позвать ко мне Антропова: да, я думаю, нам и закусить пора.

Спустя несколько минут в гостиной появилась бравая и статная фигура пожилого сибирского казака.

— Вот что, братец Антропов,— сказал ему Седаков,— маленький чуланчик у нас пустой?

— Пустой-с; там только квашня стоит.

— Ну, это ничего. Приготовь, братец, кусочек охры, ваксы... да ведь ты, впрочем, знаешь: помнишь, как в прошедший раз при лекаре делали? Что еще нужно — у жены спросишь.

— Понимаю-с.

Казак было повернулся, чтоб выйти.

— Постой. Павла Федоровича куда сегодня поместили?

— В одиночную, ваше благородие.

— Так ты его ужо ловким манером переведи к нам в кухню,— смекаешь? Спроси у барыни стакан водки и попотчуй его. Ступай.

Казак вышел.

— Теперь у нас, за дождями, вот уж шестой день партия гостит,— пояснил мне Седаков,— так надо быть осторожнее:

тут ведь разные профессора есть. А если моему арестантику не дать предварительно водки, он ужасно стесняется при посторонних, да уж и ловкость у него тогда не та. Пойдемте-ка, господа, червячка заморить.

В столовой весь стол был уставлен закусками, винами и графинчиками с различной домашней наливкой. По лицу хозяина, однако ж, сразу можно было удостовериться, что все это делается от чистого сердца, а не напоказ. Седаков усадил меня рядом с собой и, должно быть, заметив, что я несколько удивился такой роскоши у этапного командира, любовно потрепал меня по плечу.

— Не бойтесь: не ворую,— сказал он весело.— Хорошо, брат, что в прошедшем году дядя догадался мне три тысячи в наследство оставить, а то бы я не мог сегодня прилично угостить старого и дорогого товарища. Мы еще, брат, в заключение спектакля бутылочку-другую и шампанеи дернем: знай наших!

Михаил Кондратьич стал было наливать рюмки, как вдруг спохватился:

— Да постойте-ка, господа, ведь хлеба еще не подано.

— У нас вот одно неудобство, что кухня через двор,— как бы извинилась хозяйка.

Она встала и с усилием дернула за висевший в углу конец веревки, сообщавшейся, вероятно, с кухонным колокольчиком. Вскоре явилась кухарка с тарелкой нарезанного хлеба.

— Павел Федорович на кухне? — спросил у нее Седаков.

— Нету еще; казак за ним пошел.

— Пускай сюда придет, как явится.

С четверть часа времени, которое прошло после того, я сидел как на иголках от нетерпения и любопытства. Наконец уличная дверь скрипнула — и передо мной воочию предстал «острожный художник». Это был человек неопределенных лет, черноволосый, несколько более чем среднего роста, немного сутуловатый; длинные усы и клинообразная редкая бородка подернулись у него проседью: половина выбрита по-арестантски. Хотя смуглый цвет лица отчасти и скрадывал его чахоточную бледность, но характерный лихорадочный блеск больших темно-карих выпуклых глаз ясно свидетельствовал о зловещем недуге. Глаза эти были какие-то особенные, глубокие, выразительные: даже можно сказать, что они составляли всю прелесть лица. Я заметил еще одну особенность: верхняя губа у него с правого боку как-то неприятно вздрагивала, открывая пустое пространство на месте двух выпавших или вышибленных зубов; но

уцелевшие зубы были безукоризненной белизны. Во всех движениях художника проглядывала скорее застенчивость, чем робость или несообщительность. Одет он был в серую арестантскую шинель с рукавами, из-под которой выказывалась из груди чистая холщовая рубашка, завязанная у ворота красной тесемкой.

— Ну, что, Павел Федорович? как? здоров ли? — мягко приветствовал его Седаков.— Знаю, что тебе эти дни немного тесненько приходится, да уж делать-то нечего, так пришлось, надо потерпеть. А у меня, брат, сегодня праздник: вот товарищ старый завернул, сто лет не видались...

— Очень приятно-с.

— И желает с тобой познакомиться.

— Очень, очень приятно-с,— повторил арестант.

Голос у него был замечательный: нежный, бархатный какой-то, идущий прямо в душу.

— Садись-ка, брат, с нами да выпей,— пригласил его Седаков, выдвигая вперед свободный стул.

Но прежде чем новый гость успел сесть, я встал и, горячо пожав ему руку, сказал:

— Ваша работа — кружка — целый вечер не выходит у меня из головы, что за мастерская отделка!

— Пустяки-с... главное — без инструмента сделано-с, а то бы и поизящнее можно-с,— ответил он, потупясь, и лихорадочный румянец яркими пятнами заиграл у него на щеках.

Седаков между тем налил рюмки и пригласил всех нас чокнуться.

— Давай вам бог побольше таких произведений! — пожелал я Павлу Федоровичу, когда наши рюмки обоюдно зазвенели.

— Нет уж... куда же-с... мне к могиле-с,— молвил он тихо.

— Э! что, брат, замогильничал? — ободрительно рассмеялся хозяин.— Погодите, господа, Павел Федорович нам еще и сегодня покажет свое искусство. А теперь повторите-ка.

Мы выпили снова. Вторая рюмка заметно оживила «острожного художника»; он присел как-то боком на стул, подумал немного и вдруг спросил:

— Михаил Кондратьич! Партия долго у нас простоит-с?

— Завтра думаю отправить, если солнечный день будет.

— А они-с... как намерены?.. когда уезжают-с? — указал на меня глазами мой новый знакомый.

— Дня через два,— сказал Седаков, очевидно, схитрив,— а что?

— Да я бы вам-с портрет с них написал-с: голова у них

отличная-с. Дозвольте уж, Михаил Кондратьич! Мне, главное, чтобы загрунтовочка просохла-с, а то я и в два дня поспею-с.

Это было сюрпризом для всех, в особенности для меня.

— Вот, вот... вот выдумка так выдумка! Ай да Павел Федорович! Молодец! Спасибо! — захлопал в ладоши Седаков и даже как-то совсем по-ребячески спрыгнул со стула.— Что, брат, на это скажете? — потрепал он меня рукой по колену.— Ведь уж нельзя отказаться, а?

— Мне бы хоть-с два сеансика-с...— как-то молительно взглянув на меня, выговорил в свою очередь художник.

Я, разумеется, согласился с большим удовольствием.

— А вот за то, Павел Федорович, что ты потом заставишь его сидеть перед тобой,— придрался к случаю хозяин,— поди-ка ты сегодня прежде сам посиди в чуланчике: сделай ему подарок на память.

— Пустяковина-с это.

— Нужды нет, что пустяковина, а ты сделай.

— Да оно-с, конечно... можно-с.

Седаков тотчас же пригласил меня «совершить маленькое путешествие», как он выразился. В сопровождении Окунева мы отправились с хозяином через двор на кухню. При ней оказалось теплое продолговатое помещение, куда и посветил нам казак. В глубине этого чуланчика я увидел только пустую кадку, а посредине на полу, на гладкой дощечке, разложены были следующие предметы: большой лист белой почтовой бумаги, перочинный ножик, коробка дрянных спичек с рыжими головками, осколок оконного стекла, два кусочка охры и ваксы да клочок ваты; рядом с дощечкой стоял на блюдце стакан с чистой водой.

Казак, ухмыляясь, поставил свечу тоже на пол.

— Вот, брат, и все тут наши инструменты,— сказал мне Седаков. Он вынул часы из кармана и объявил: — Как раз половина первого.

Я только смотрел и недоумевал.

— Ну, Павел Федорович, теперь счастливо оставаться! — со смехом заключил Михаил Кондратьич, впуская арестанта в эту каморку и запирая за ним дверь висячим замком.— Да поторопитесь-ка, смотри, а то, брат, там без тебя компания всю водку выпьет.

Мы пошли обратно.

— Смерть любит водку! — пояснил мне хозяин дорогой.— Я даю, много-то и не следовало бы; да ведь жалко человека: не жилец он на свете, впереди еще что будет, так пусть хоть теперь иной раз фантазией поразмечется.

Я промолчал; невесело как-то стало. Когда мы вернулись, Ольга Максимовна, с жаром объяснявшая что-то смотрителю, разом приумолкла; у нее тоже проходило по лицу какое-то темное облачко.

— Ты ему, Миша, не давай потом много вина,— сказала она погодя мужу.— Посмотри, как он осунулся эти дни.

— А уж мне, Ольга Максимовна, разрешите,— наивно проговорился смотритель и выпил рюмку водки.— Я, матушка, долго теперь не заверну к вам, надо отчетность приготовлять в контору.

Пока мы закусывали и разговаривали, я и не заметил, как подошел Антропов.

— Готово-с, ваше благородие,— коротко объявил он.

— Скорехонько! — сказал Седаков, взглянув на часы.— У меня семнадцать минут второго — значит, всего сорок семь минут прошло.

Он достал из кармана ключ и подал казаку:

— Отопри, братец, пожалуйста, да посылай сюда Окупева. Пускай и пельмени несут. Сам можешь лечь спать пока... или постой: выпей-ка, брат, прежде водки. Осилишь стакан? Что тебе дать на закуску? на вот, съешь сардинку.

На лице казака, когда он выпил, изобразилось полнейшее удовольствие; видно было, что он очень дорожит не столько водкой, сколько вниманием и лаской своего командира. Вслед за уходом Антропова явился и наш освобожденный затворник. Он конфузливо подал мне аккуратно сложенный вчетверо пакетик из полулиста почтовой бумаги.

— Уж не взыщите-с: как вышло-с.

Я развернул пакетик и, к величайшему моему удивлению, нашел в нем... рублевую бумажку. Да, это именно была рублевая бумажка прежнего образца, нарочно немного засаленная и смятая так, чтоб не могла казаться слишком новенькой. Не рассматривая пристально, в особенности издали, ее трудно было отличить от настоящей: только левая сторона, искусно выполненная пунктиром взамен мелкого шрифта, легко обнаруживала подделку, но лишь на близком расстоянии. Седаков достал из кармана настоящую рублевую ассигнацию и положил ее на стол рядом с фальшивой: сходство оказалось еще разительнее.

— Память-то у него какая завидная: ведь наизусть, бестия, сработал, без подлинника! — воскликнул начинавший уже хмелеть хозяин. А много ты их, Павел Федорыч, смастерил на своем веку? Сколько пустил в обращение?

Вопрос был резкий и неожиданный, но, насколько я мог

заметить, он не вызвал ни малейшего смущения в Окуневе; последний только шире раскрыл глаза и ответил совершенно спокойно, даже не обидясь:

— Для шутки — много-с; а пакостями я не занимался-с, Михаил Кондратьич.

Хозяйка, с свойственным ей тактом, поспешила замять этот неприятный оборот разговора; Ольга Максимовна заговорила о чем-то совершенно другом, но очень кстати, а я между тем спрятал бумажку к себе в карман: она принадлежала мне по праву как оригинальный подарок «острожного художника», затерянного в глуши сибирского этапа.

Долго еще потом длилась наша беседа, принимавшая все большее и большее оживление под влиянием «конной артиллерии». После пельменей радушная хозяйка выпила с нами стакан шампанского и без церемоний объявила, что она «опьянела совсем» и идет спать. Но мы просидели чуть ли не до утра: по крайней мере, когда ямщик бережно укладывал в повозку своего значительно «раненого» смотрителя, не пожелавшего остаться ночевать, я отчетливо приметил на востоке бледную полоску занимавшегося рассвета.

III

С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ

На другой день, довольно поздно утром, жирный хозяйский кот, вспрыгнувший ко мне на постель, разбудил меня в маленькой комнате, служившей кабинетом Седакову и ярко озаренной теперь целым снопом солнечных лучей. Возле дивана я нашел свой чемоданчик, переменил белье, оделся и вышел в столовую. Меня встретила там Ольга Максимовна, хлопотавшая с чаем.

— Удобно ли вам было? — осведомилась она, улыбаясь.— Впрочем, вы, кажется, крепко спали: Миша вас будил, да не мог добудиться; он ушел отправлять партию. Я сама проспала сегодня. Умывайтесь,— вон в углу рукомойник,— да присаживайтесь к столу.

Когда я подсел к хозяйке, она снова спросила:

— Я не знаю ваших привычек: вы не хотите ли прежде выпить и закусить чего-нибудь? Миша уже успел разговеться, а о Павле Федорыче я тоже похлопотала.

Но мне пришлось отказаться и попросить только чаю.

— У меня отец пил запоем,— как бы поспешила оправдаться Ольга Максимовна,— так я помню, как это было мучительно для него на другой день — не выпить...

Я молча посмотрел ей в кроткие, симпатичные глаза и невольно подумал: «Хорошо было бы и точно Павлу Федорычу умереть на этих глазах!» Она сама заговорила о нем, об его таланте, о неизлечимости его болезни, о тех заботах, какие употребляет она, чтобы облегчить, по возможности, его горькое, бесправное положение,— и в каждом ее слове звучала самая сердечная нота. Отпив чай, мы пошли в залу — взглянуть на портреты. Они были написаны смело, размашисто: ничего прилизанного, ничего рутинного. В особенности характерна была лепка лиц: то ли от грубости материала, то ли от своеобразности письма эта лепка представляла нечто такое оригинальное, сочное, жизненное, что я не мог достаточно надивиться ей.

— Сколько, я думаю, талантов пропадает таким образом на Руси! — проговорила со вздохом хозяйка.

— Да, не мало,— согласился я.

— И ведь знаете: мне кажется, что он совсем не виноват в том, за что сослан.

— А вы не пробовали расспрашивать его?

— Нет, я боюсь... у меня не хватает духу рыться в человеческой душе, как у себя в комоде: там ведь и без того наболело все. Мне кажется, что расспрашивать в таком случае — значит не доверять, значит оскорблять.

— Не всегда; иной раз это облегчает чужое горе, надо только подходить к нему дружески.

— Да, может быть, и так; я понимаю вас. Но не при всяких условиях возможно дружество...— тихо проговорила Ольга Максимовна.

У нее на лице появилось при этом такое сосредоточенно-грустное, даже угрюмое выражение, что мне показалось, как будто бы я и сам неосторожно затронул в ней нечто наболевшее.

— И, по-моему, Миша вчера был очень неправ к нему,— прибавила она еще тише, как бы поясняя свою мысль.

Пока мы говорили, пришел Седаков. Он был, видимо, чем-то озабочен.

— Отправил наконец партию. Черт несет сюда окружного жандармского генерала,— сказал Михаил Кондратьич, даже забыв поздороваться со мной.— Сейчас получил с нарочным записку от исправника. Дней через пять должен быть. Пренеприятная, брат, штука! Главное — не знаешь вперед: может проехать мимо, а может и к нам запустить нос... Павел Федоров у меня совсем голову повесил. Надо будет самому съездить к исправнику, разузнать... Черт их носит, право!

— Когда же ты, Миша, думаешь ехать?

— А вот позавтракаю плотнее, да и махну; я уж и насчет лошадей распорядился.

— А далеко это? — полюбопытствовал я.

— Нет, не очень; верст пятнадцать в сторону от тракта. Завтра к обеду, брат, обратно прикачу. Ольга Максимовна! сдаю вам товарища на ваше наивнимательнейшее попечение. Эх, какая досада, право!

Седакову, видимо, было очень не по себе, в глазах у него назойливо светилась какая-то докучливая, гнетущая мысль, но он ее не высказывал и только от времени до времени как бы про себя повторял: «Черт бы их побрал совсем!» Часа через полтора, позавтракав, Михаил Кондратьич уехал.

День был превосходный, на дворе порядком уже пообсохло, и я, чтоб не мозолить до обеда глаза хозяйке, выразил ей желание пойти пошляться в окрестностях острога.

— Наденьте Мишины охотничьи сапоги,— предложила она,— а Павел Федорыч вас проводит: он любит это; он в лесу как у себя дома; только в село не ходите с ним — могут увидеть.

Я переобулся, и мы вышли на заднее крыльцо.

— Да вот он и сам,— сказала Ольга Максимовна, указав мне рукой на кучу сложенных бревен у частокола, где действительно сидел Окунев, возясь с одноручной пилой около какой-то доски.— Павел Федорыч! — окликнула она его.— Что вы там мастерите?

— Да вот подрамник-с... к ихнему портрету,— неловко раскланялся с нами художник.— Теперь посвободнее стало-с. Только холстик мне, Ольга Максимовна, пошлите-с, так я с вечера натяну и загрунтовочку сделаю-с; на солнышке живо подсохнет-с.

— А я было хотел вас просить, чтобы вы меня в лес проводили,— сказал я, подходя к нему и здороваясь рукой.

— Так это-с ничего... можно-с, поспеется-с; я вот только на кухню за шапкой схожу-с,— засуетился он с видимым удовольствием.

Через минуту мы вышли с ним из ворот направо и повернули за угол острога.

— Вы, должно быть, любите лес? — спросил я, закуривая папироску и предлагая другую моему каторжному спутнику.

— Природа-с... как же ее не любить-с? Нет, уж от папиросы увольте-с; отвык-с, а сызнова привыкать не приходится; я ужо трубочку закурю-с, если позволите. Нельзя не любить-с природу: она, как мать, даже и к сыну-уроду ласкова-с...

— Вы не пробовали писать пейзажей?

— Пробовал-с, да не выходит как надо: лес должно беспрестанно изучать, а я больше четырех лет-с по острогам маялся — все перезабыл-с. Зима мне больше нравится, все бы, кажется, ее писал-с; сердцу-то русскому много уж она говорит-с; только не дерзаю-с: как, телериче, станешь этот самый снег писать-с? И бел-то он, и синеват-с, и всякие на себя оттенки воспринимает-с. А уж знаю, что не утерплю-с: коли доживу, бог даст, до будущей зимы — буду писать-с.

— Скажите: вы где же учились живописи?

— Учился-с?! — с каким-то наивным изумлением переспросил меня Павел Федорович, широко открыв свои выпуклые глаза.— Эх-с! вашими бы устами-с да мед пить: кабы я учился-то... не знать бы мне сюда дороженьки-с!

— Ведь у вас положительно талант.

— Был-с, да добрые люди скушали-с.

— Что так? — спросил я как можно мягче.

В это время мы только что вступили в гигантский лиственничный лес — красу моей родины.

— А вот присядемте-с на эту вон лесинку: у меня сегодня с утра одышка сильная-с,— закашлялся Павел Федорыч, указывая рукой на громадный ствол повалившейся лиственницы.— Да спичечку-с мне, пожалуйста: я трубочку закурю-с... с вашего позволения.

Мы уселись и оба закурили.

— Я ведь крепостной был-с,— начал рассказывать Окунев, затянувшись трубкой и снова закашлявшись.— При барских комнатах состоял на послугах; круглый сирота был-с. С малолетства самого горела эта страсть во мне к рисованию-с, да времени никак нельзя было залучить свободного-с: то трубку подать-с, то туда, то сюда сбегай — весь день на ногах-с; только по ночам и баловался карандашом, как все спать лягут-с. Помещик у нас был-с волк настоящий, да и она не лучше-с; а детей при них не состояло: так и надо-с, перепортили бы только малюток-с. Я стал проситься, чтобы меня к нашему отцу дьякону-с в ученье отдали: он в городе-с, для тамошних купцов, вывески писал-с, так мне у него хотелось, собственно, насчет красочек-с попользоваться, ну и к делу присмотреться,— не пускают-с. Я и так и сяк — не выгорело-с. А карандашом по ночам все балуюсь. После уж я от отца дьякона и красочками раздобылся-с, на дощечках марал-с... от ящиков из-под макарон-с. Пошел-с мне двадцатый год — и меня совсем в лакеи преобразили-с, фрак даже напялили-с, в пеньковых перчатках стал щеголять-с. Четыре года-с в этом подлом звании промаялся...

Павел Федорыч презрительно сплюнул и продолжал:

— Раз, знаете-с, втемяшилось в голову нашей помещице (смешно-с это было: урод была-с) портрет с себя иметь масляными красками: у губернаторши видела-с, так и ей захотелось. Скупые были оба-с до смерти, а художника пригласили: нарочно из города на две недели приезжал-с. Стал писать-с он портрет: просто бы я, кажется, не отходил от него-с, так и тянет-с. И таково это мне было любо-с и уж досадно же другой раз на него, что начнет он, примерно-с, глаз писать, да вдруг и перемахнет-с либо к волосам, а то и к подбородку-с: на одном месте не пишет-с. Подкрадусь я, бывало, воровски-с сзади барыни, чтобы не увидала, смотрю, как это он скорехонько-с кисточкой то ту, то другую краску-с с палитры слизнет — сердце у меня так и замирает-с. Понял я тут-с, что разные краски должно в одну смешивать,— оттого и живо выходит-с. Как уехал от нас потом-с этот самый художник да как привезли из Москвы-с вызолоченную раму-с и портрет в ней на стену повесили — просто хоть в петлю полезай-с: не хочется жить у помещика! Урвешь, бывало-с, какой-нибудь часок свободный — и бежишь к отцу дьякону, чтоб на холсте пописать-с. Частенько это начало повторяться-с, узнал помещик — и порку задал-с. Стало еще того томнее-с. И приди же мне тогда блажь в голову-с: дай, мол, выкину что ни на есть пакостное-с, только бы от господ отделаться. А в то время как раз вышли ассигнации новые-с, на серебро пошел счет-с. Вот-с и думаю: а что, если скопировать рублевую бумажку-с да и всучить ее кому-нибудь так, чтобы меня с ней накрыли-с? Ведь, думаю, судить меня будут, в острог засадят-с и беспременно ушлют-с куда-нибудь, все же не при помещике останусь. Только я о каторге тогда и не помышлял-с: совсем не сообразил, что ведь за такие дела-с строжайше наказывают,— глуп был-с, как в тумане ходил-с. Мне бы первым долгом следовало, как теперь полагаю, с отцом дьяконом-с поговорить, от него-с выведать, а я все про себя мараковал, все своим горячим умом орудовал-с. Вот-с он, горячий-то ум, и довел меня-с... да еще, слава тебе господи, что покуда только вот до этого леса довел-с... Славный лесок-с, горделивый-с!

Павел Федорыч на минуту замолк и весь ушел в сосредоточенную думу.

— И пристально же, окаянный-с, стал изучать в то время эту проклятую ассигнацию-с! — заговорил он снова, вытряхивая потухшую золу из трубки.— Так пристально-с, что она у меня и по сию пору-с живьем стоит в глазах, как вы сами вчера изволили видеть-с. Не похвастаться сказал — такой у меня рубль вышел-с, что я и сам его потом не отличил бы

от настоящего-с. Так ведь мало, видите-с, мне еще показалось этого: дай, думаю, уж и серебряный четвертак смастерю... из олова-с. И смастерил-с. Теперь уж, дурак-с, думаю, беспременно меня упрячут,— и упрятали дурака-с, верно-с! А как перед богом сказал, так и перед вами-с, теперече дело прошлое — только всего эти две штуки-с я и пустил в обращение-с, в том вся моя была и работа-с.

В тоне голоса моего интересного собеседника звучали самые искренние ноты: выразительные глаза его смотрели на меня так прямо, кротко и спокойно, что я ни на минуту не усомнился в правдивости его рассказа.

— А вы где же, Павел Федорыч, грамоте-то выучились? — осведомился я только.

— Да сам же все-с, самоучкой-с. Покойный родитель нашего помещика большую библиотеку имел-с, а после их смерти все книги-с на чердак свалили, так я ими и пользовался-с... воровски-с. Отец дьякон французские буквы-с объяснил, а я лексикончик-с подыскал на чердаке — кое-что маракую-с.

— И много вы книг прочли?

— Да все-с, какие были-с, кроме немецких; французских мало было-с. Я больше про художников читал-с. Ныне вот «Современник-с» почитываю... от щедрот Ольги Максимовны-с.

— Вам который же год, Павел Федорыч?

— Тридцать второй пойдет-с... с двадцать девятого июня-с.

— Вы ведь здесь хорошо устроились, я полагаю?

— Не только что хорошо-с, а мне здесь истинный рай-с. Да вот опять горе-с: Михаил Кондратьич утром сказывали, что жандармского сюда ждут-с; генерал, говорят, крутой-с...

— Ну, бог не без милости,— сказал я задушевно.

— Да оно так-с.

Мы, точно по уговору, разом встали оба и пошли в глубину леса. Нас так и обдало смолистым ароматом лиственницы. Везде уже зеленела свежая травка, и кой-где выглядывали из нее, точно любопытные детские глазки, какие-то синенькие цветочки.

— А знаете-с? — круто повернул ко мне голову Окунев.— Я ведь, пожалуй, не доживу до будущей весны-с.

— Это вы опять «замогильничали», как выражается Михаил Кондратьич,— сказал я нарочно шутливо.

— Не то-с. Жутко мне как-то и от этого воздуха-с, и от всей этой благодати-с...

— У вас просто грудь немного слаба,— заметил я успо-

контельно.— Вы вот лучше расскажите мне, как вы ухитрились без инструментов такую великолепную кружку сработать?

— Нет уж... пусть уж это — извините — во гроб со мной ляжет-с...— точно простонал он.

Так я ничего не добился от него насчет кружки. Мы долго еще бродили с ним по лесу, раза два снова садились отдыхать, курили. Но теперь уже исчезла бесследно его недавняя словоохотливость: мой художник — или молчал совсем, или отвечал односложно, даже как будто с горечью, на все, о чем я ни заговаривал с ним. Он и сам, должно быть, чувствовал неловкость этой, быть может, невольной сдержанности; по крайней мере, когда мы вернулись домой, его хватающий за душу голос как-то особенно кротко произнес на прощание:

— Вы меня извините-с: я к вам большую чувствую-с симпатию, так не поставьте мне в грех моего молчания-с...

Я мог только горячо пожать ему руку.

IV

ПРЕРВАННЫЙ СЕАНС

Седаков вернулся на другой день как раз к обеду и застал меня в зале, за первым сеансом у своего «острожного художника». Последний, придя незадолго перед этим, успел только начертить мелом контур да подмалевать наскоро фон.

— Ну, брат, Павел Федорыч,— обратился к нему Седаков, не особенно весело поздоровавшись с нами,— наше дело с тобой, кажется, плохо: на крутологовском этапе, за какие-то пустяки совсем, начальник жандармского округа пригрозил отдать под суд тамошнего командира,— страх, говорят, как распушил. Это всего верст полтораста отсюда. К счастию, генерал простудился там, слег и отправил в город за лекарем ехавшего с ним унтер-офицера: вот от него-то исправник и разведал все.

В залу вошла Ольга Максимовна.

— Пренеприятная, брат Олюша, история! — заключил Михаил Кондратьич, сообщив и ей эти сведения.

На всех нас нашло какое-то уныние, точно удушливая грозовая туча нависла над мирным кровом моего радушного хозяина. Павел Федорыч как-то совсем съежился, торопливо собрал свои кисти и ушел, скороговоркой проговорив:

— Завтра уж попишу-с.

Обед прошел монотонно, наполовину молчаливо, наполовину в отрывистых фразах. Седаков пил очень много вина, что, видимо, огорчало хозяйку, которая как-то украдкой взглядывала на него и едва приметно качала головой при каждой новой рюмке.

— Что вы не пьете? Экая вы, брат, институтка какая! — раза два придирался он ко мне в конце обеда и, когда мы встали из-за стола, тотчас же молча ушел спать к себе в кабинет.

— Миша, должно быть, очень расстроен,— сказала мне Ольга Максимовна, пристально проводив его глазами.— Я не понимаю, чего ему так тревожиться: он всегда был на самом лучшем счету у своего начальства...

Она хотела еще что-то сказать, но вдруг извинилась, что оставляет меня, и тоже ушла к себе в спальню.

Мне оставалось только пойти погулять. Едва я успел спуститься с заднего крыльца и направиться к воротам, как из дверей кухни вышел Окунев.

— Вы в лес-с? — догнал он меня.

— Да. Пойдемте, если хотите.

— Уж извольте-с.

Я заметил ему, что он без шапки.

— Ничего-с: мать-природа не взыщет-с.

Когда мы прошли уже довольно далеко в глубь леса и нас охватила его торжественная тишина, лишь изредка нарушаемая хрустевшей под ногами сухой веткой, Павел Федорыч отер рукавом выступавший у него на лбу пот и до боли тоскливо проговорил:

— Эх, лес, лес! Прошли мои красные деньки-с!

Я старался всячески развлечь его, заставить разговориться, сам ему рассказывал о Петербурге, об Академии художеств и вообще о многом таком, что должно было крайне интересовать его. Но он почти не слушал, рассеянно вскидывал на меня глаза, как будто я совсем не с ним говорил, все время отмалчивался, вздыхал изредка и только несколько раз упорно повторил одну и ту же фразу:

— Прошли мои красные деньки-с!

Вечером, за чаем, я в коротких словах сообщил историю его ссылки моим опечаленным хозяевам. Они сперва очень удивились, но когда узнали все подробно, весь наш разговор с ним,— это заметно обрадовало их, и они даже развеселились под конец.

— Надо непременно выручить Павла Федорыча, если в случае чего...— проговорила Ольга Максимовна, и сквозь улыбку на глазах у нее навернулись слезы.

— Отстоим, брат Олюша, отстоим! — как-то решительно сказал Седаков.

Он позвонил кухарку, велел позвать Антропова, приказал ему, чтобы вся команда, до одного, собралась в конвойную, а через час отправился туда сам и не возвращался вплоть до ужина.

— Молодцы у меня, брат, солдаты! — многозначительно сказал мне Михаил Кондратьич, когда мы расходились на сон грядущий.

На следующее утро опять стояла солнечная погода. Напившись чаю, Седаков объявил, что пойдет приводить в порядок острог. «Надо, брат, почиститься»,— как он выразился. Мне Михаил Кондратьич заметил, что сейчас же пошлет на сеанс Окунева, так как последний только еще сегодня может оставаться на свободе, а с завтрашнего дня его придется запереть до приезда генерала. Павел Федорыч вскоре явился и смотрел еще больше осунувшимся. Он только молча поздоровался и принялся за работу с какой-то лихорадочной торопливостью. Уже часа три тянулся сеанс, а неутомимая кисть «острожного художника» так и летала по полотну. Ему наконец захотелось покурить, но «чтобы не надымить в комнате махорищей», он вышел на минуту на переднее крыльцо. Я воспользовался этим случаем и встал взглянуть на работу. Портрет начинал принимать разительное сходство со мной, несмотря на всю грубость первоначальной подмалевки. Характерная, уже знакомая мне сочная лепка на этот раз давала себя чувствовать: мазки были до того жирны, что казались настоящим мясом.

— Великолепно! — невольно сорвалось у меня с языка, когда вернулся художник.

— Уж как умею-с,— скромно выговорил он только и принялся писать с прежней лихорадочностью.

Не прошло и полчаса после того, как на улице послышались отдаленные звуки почтовых колокольчиков, ясно донесшиеся до нас через открытую форточку в зале. По этим звукам отчетливо можно было различить, что едет не одна почтовая тройка.

— Почта бежит, должно быть-с,— сказал Павел Федорыч, оставаясь на месте.

Но мне показалось, что он все-таки встревожился. Я встал и подошел к окну. Вдруг мимо окон промелькнула фигура казака Антропова, и почти тотчас же он пробежал обратно. Через минуту послышался из столовой громкий голос Седакова:

— Мундир мне, Олюша, поскорее!

Я оглянулся на Окунева. Он страшно побледнел и выронил кисть из руки. Еще через минуту, уже одетый в парадный мундир, в залу вбежал Михаил Кондратьич, весь красный как рак.

— Уходи, Павел Федорыч!.. Ради бога, в острог живее!.. Брось все! Генерал едет! — отрывисто крикнул он художнику и опрометью выскочил в коридор, ведший на переднее крыльцо.

Окунев мигом исчез через задние комнаты.

Я продолжал смотреть в окно с невольным замиранием сердца. Звуки колокольчиков становились все громче и отчетливее. Наконец показался медленно ехавший массивный дорожный тарантас, запряженный шестеркою взмыленных лошадей. В тарантасе сидела, развалившись, тучная особа в военной форме, с черной шелковой ермолкой на голове и длинным чубуком в руках, методично выпускавшая изо рта легонькие струйки синеватого дыма. На козлах, рядом с ямщиком, помещался, должно быть, камердинер генерала, столь же упитанный на вид, с гладко выбритым немецким лицом и красным околышем на фуражке. Тарантас остановился не у крыльца, а рядом с ним, как раз против открытых настежь острожных ворот; его тотчас же догнала обыкновенная почтовая повозка, по всей вероятности, с походной кухней, так как сидевший в экипаже невзрачный господин очень уж смахивал на повара. Седакова не было на крыльце; он, как оказалось потом, предпочел остаться на время в коридоре, чтоб хоть немного оправиться от волнения. Я только что хотел перейти к ближайшему от угла окну, откуда лучше можно было видеть остановившийся тарантас, как из форточки донесся до меня несколько охрипший повелительный голос:

— Позвать ко мне этапного командира! Чтоб сейчас же явился, если дома!

На крыльце мелькнула фигура Седакова.

— Что Миша? — послышался сзади меня тревожный вопрос Ольги Максимовны, выглянувшей из-за внутренней двери.

Прошло не больше двух минут, пока я успел ответить ей,— и звяканье колокольчиков послышалось снова. Почти тотчас же в комнату не вошел, а буквально влетел Михаил Кондратьич. Лицо его сияло полнейшим удовольствием.

— Ну, слава тебе, господи! Как гора, брат, свалилась с плеч! — объявил он нам впопыхах, весело потирая руки.—

Вот когда именно следует хватить шампанского за обедом... Распорядись-ка, Олюша!

Оказалось, что генерал и не думал ревизовать острог: он только осведомился, хороша ли дальше дорога, и уехал.

V

ПРЕДЕЛ, ЕГО НЕ ПРЕЙДЕШИ

Обед был накрыт в столовой на четыре прибора. Садясь за стол, Седаков предупредил меня, что «по случаю торжества» с нами будет обедать Окунев, и удивился, что он так долго нейдет. Но вместо художника явился Антропов.

— Он лежит, ваше благородие: не может-с,— доложил казак.— Испугался шибко.

— Да Павел Федоров в камере еще?

— Так точно.

— Так ты переведи его, братец, по крайней мере, на кухню скорее. Я приду после обеда.

Опять стало всем невесело. Обед прошел вяло; не помогла даже и бутылка шампанского. Свой стакан Ольга Максимовна отослала с кухаркой Окуневу.

— Это, может быть, немного оживит его, беднягу,— сказала она простодушно.

Но, как видно, вино не оживило на этот раз Павла Федорыча; по крайней мере, часом позже вернувшийся от него Седаков сообщил нам, что «арестантик совсем раскис», и посоветовал жене лично присмотреть за ним.

— Я, брат, сам не мастер возиться с больными,— смущенно взглянул на меня Михаил Кондратьич.— Это больше дело женское; оно у нашего брата как-то грубо выходит.

Немного погодя отправилась туда и Ольга Максимовна. Мы прождали ее почти до самых сумерек. Уж и самовар кипел на столе, а она все еще не возвращалась, так что Седаков принужден был сам заварить и разлить чай, наказав уходившей кухарке «присылать скорее барыню».

— Ну, что, Олюша? как? — быстро осведомился он у жены, когда та наконец вернулась.

— У него страшная слабость, и одышка его сильно мучит: «точно, говорит, что порвалось у меня в груди»,— передавала нам хозяйка, волнуясь и расхаживая по комнате.— На жажду тоже жалуется. Я его успокоила как могла, и он как будто задремал теперь; а какие же больше примешь меры без доктора?

— Черт его принес, этого окружного, не в пору! — от

чистого сердца выругался Седаков.— «А что, говорит, дорога впереди не очень испорчена?» — передразнил он генерала.— Стоило надевать мундир для этого! И как это они могут так, по-собачьи, смотреть на человека? Не понимаю!

Перед ужином, часов в одиннадцать, опять явился Антропов.

— Павел Федорыч, ваше благородие, вот их-с просит к себе,— доложил он, кивнув головой на меня.

Я немедленно отправился. Больной лежал на полу, в том самом теплом чуланчике при кухне, где он смастерил для меня свой оригинальный подарок на память. Под ним был постлан старенький матрац, а рядом помещался еще другой тюфяк, с овчинным тулупом в изголовье, предназначавшийся, должно быть, для Антропова. На стене висел фонарь с нагоревшей сальной свечкой, слабо освещая лицо художника, принявшее теперь какой-то прозрачно-зеленоватый оттенок.

— Вот тут, ваше благородие, на стульчик присядьте,— предложил мне казак, ставя в самых дверях табуретку.

Окунев приподнялся и долго молча смотрел на меня.

— Что с вами, Павел Федорыч? — решился наконец я сам заговорить с ним...

— Предел-с, его же не прейдеши...

— Вот еще что выдумали! А портрет-то мой? Или уж прошла охота писать? — сказал я, нарочно приняв веселый тон.

— Не то-с. Лежу я вот здесь-с, а так мне хочется, знаете, работать-с, работать и работать-с... Целые картины-с стоят у меня перед глазами!

— Ну, вот вы и станете их писать, как поправитесь...

— Из кулька в рогожку-с? — саркастически перебил меня Окунев.— На том свете этого не полагается-с.

Он помолчал и безнадежно махнул рукой.

— Да вы напрасно, Павел Федорыч,— стал я его уговаривать,— придаете такое большое значение вашей теперешней слабости: утром вас взволновал этот приезд — вот вы и расстроились. Завтра я надеюсь молодцом вас видеть.

— Завтра-с? Может быть, все может быть. А у меня к вам сегодня-с просьба... большая-с: поцелуйте вы меня-с!

Я нагнулся к нему, он обнял меня, и, когда наши губы встретились, мне почувствовалось, что я могу потерять в нем брата.

— Вот-с, так мне спокойнее-с...— сказал Павел Федорыч, и лицо его несколько просияло.— Не знаю-с, не умею этого хорошенько выразить, но только вы мне по душе-с... вы,

как Ольга Максимовна,— просты-с... А все-таки «догорела свеча моя-с», как господин Федотов изволил сказать некогда... Пускай меня на опушке леса похоронят-с... если возможно-с...

— Полноте, Павел Федорыч! зачем непременно так думать? — попытался я еще раз оборвать нить его мрачных размышлений.

— Нельзя иначе-с: предел-с, его же не прейдеши...— повторил он снова и как будто ушел в самого себя.

Молчание наше длилось минут пять. Окунев вдруг приподнялся на локте, и в глазах его мгновенно вспыхнули точно две искорки.

— Вот-с когда бы я написал зиму-с! — почти вскрикнул он и сейчас же закашлялся.— Эх, зима, зима! все-то у нее саваном покрыто-с...

Художник закрыл глаза, как будто начинал дремать. Я просидел еще несколько минут в ожидании, что он заговорит снова, но Окунев все продолжал молчать, тяжело дыша. Мне становилось жутко; сердце болезненно ныло за эту забитую силу. Вдруг Павел Федорыч вздрогнул и широко открыл на меня глаза.

— Вы еще здесь-с? — проговорил он слабо и как будто недовольно.— Уходите-с; теперь у меня разговор с совестью пойдет-с... Простите-с меня, грешного!.. Спасибо-с! Прощайте-с!

Я опять нагнулся к нему и запечатлел на его лбу горячий братский поцелуй.

— Прощайте-с! — молвил он только чуть слышно.

Я молча посмотрел на него еще раз и, выйдя из кухни, долго бродил взад и вперед по двору, точно какой-то потерянный. Вскоре присоединился ко мне Седаков, вышедший звать меня к ужину. Я сообщил ему все, чему был свидетелем.

— Жалко, жалко... очень жалко! — повторил он несколько раз, тревожно шагая рядом со мной.— Не дешево, брат, это и мне обойдется: пожалуй что, прощай служба! Ведь больше полугода я его продержал... незаконно. Следствие, брат, могут назначить; тогда все откроется...

Михаил Кондратьич долго еще продолжал говорить на эту тему, посвящая меня подробно в тайны этапных порядков; даже и придя домой, Седаков все еще не мог отделаться от мучивших его сомнений, но он, очевидно, чего-то недоговаривал. Мы так и не ужинали в тот вечер.

Я заснул только перед самым утром: печальный образ «острожного художника» всецело наполнял мою голову, не давая мысли ни на минуту забыться. Но недолго пришлось

мне и спать: часов в восемь меня разбудил крайне взволнованный голос хозяина.

— Вставайте-ка, брат, Павел Федоров приказал долго жить!

— Что вы?!

— Ночью скончался... никто не видал — когда.

Напрасно было бы рассказывать, как провели мы три последующих дня, пока упорно-молчаливая смерть все еще осеняла своим черным крылом гостеприимную квартиру этапного командира. По единодушному желанию хозяев Окунева положили на стол в их зале. Антропов вызвался читать псалтырь по нем, и тут только я заметил, что между ними, должно быть, существовала тесная дружба при жизни художника; у казака нет-нет да и навертывались слезы, которые он как-то смущенно утирал обшлагом своего новенького казакина.

Приезжал уездный лекарь, приглашенный Седаковым через нарочного, чтобы формально удостоверить род болезни и смерть арестанта; врача не задерживали, и он вскоре уехал, успокоив хозяина словами:

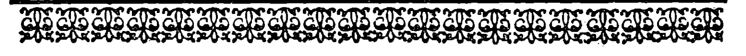
— Сойдет как-нибудь; не всем же быть собаками.

Павел Федорыч лежал как живой; не вполне закрытые глаза его казались прищуренными, на щеках виднелся легкий румянец, и только необыкновенная прозрачность лица выдавала смерть. Странное жизненное выражение имело это лицо: художник как будто дремал и точно собирался ответить спросонок на слова доктора:

«Нельзя иначе-с: предел-с, его же не прейдеши».

Уже на четвертые сутки мы похоронили его, в чудесный солнечный день. Согласно воле покойного, выраженной им в последней беседе со мной, останки Павла Федорыча были зарыты на опушке леса, сейчас же за острожной оградой,— и «горделивые» сибирские лиственницы издали осеняют его могильный холм, украшенный незатейливым крестом работы Антропова. Недавно еще, проездом, я посетил эту уездную могилку: все оставалось здесь по-прежнему, только крест значительно потемнел и покривился. Я завернул и на этап, но ничего не мог разведать о судьбе Седаковых: там уже хозяйничали другие люди...

4 Заказ 1047



БЕЗ КРОВА, ХЛЕБА И КРАСОК

Очерк из мира забитых талантов

I

В ОЖИДАНИИ РОКОВОГО ЧАСА

Это было в конце ноября. Зима в тот год стояла в Петербурге жестокая. Около десяти часов вечера мне пришлось возвращаться с Васильевского острова домой, в 4-ю роту Измайловского полка. Резкий ветер на Неве пронизывал меня насквозь и дул прямо в лицо, заставляя даже моего привычного извозчика поворачиваться, от времени до времени, в сторону. Лошаденка была у него плохая; сперва она кое-как еще бежала, благодаря частому подхлестыванию бича, но потом, где-то на Гороховой, решительно отказалась идти даже и мелкой рысью. Пришлось встать и рассчитаться с извозчиком. Я сильно продрог, несмотря на шубу, и первые освещенные окна попавшегося мне на глаза трактира подействовали на меня отраднее зеленого оазиса в песчаной пустыне. Я вошел в заведение, заказал себе стакан горячего пуншу и поместился за отдельным свободным столиком. Здесь было довольно грязно, нос обдавало чем-то затхлым, но свет и тепло, после морозной улицы, все-таки придавали значительную цену моему временному приюту.

Это был обыкновенный трактир средней руки, куда одинаково заходят и мастеровой, и небогатый чиновник, и мало обращающий внимания на обстановку деловой торговец. Наружная дверь на блоке, то и дело отворявшаяся с каким-то жалобным скрипом, впускала вместе с посетителями целые клубы густого пара, неприятно обдававшего холодом ноги. Вошедшие жадно проглатывали стаканчик водки, аппетитно крякали, топчась на одном месте, и снова уходили вон, а не то поднимались по крутой лестнице в верхнее отделение трактира. Заведение, что называется, торговало бойко. С половины одиннадцатого движение стало заметно утихать, дверь скрипела гораздо реже, и тут только я рассмотрел странную фигуру, помещавшуюся у противоположной стены от меня, тоже за отдельным столиком. Когда вошла эта фигура, я не заметил. Она принадлежала плечистому мужчине высокого роста, с длинными рыжими волосами и несколько рябоватым лицом. Лицо это было очень выразительное; оно все казалось

изрытым крупными морщинами, и в нем будто затаилась какая-то гнетущая скорбь; выпуклые голубые глаза, с явными признаками недюжинного ума, как-то сосредоточенно-грустно смотрели в одну неопределенную точку. Судя по костюму, трудно было определить профессию незнакомца, но жизнь, очевидно, не баловала его. На нем убого драпировалось какое-то подобие ватного капота, едва достигавшего колен, и невозможно было сказать сразу, принадлежала ли первоначально эта одежда лицу мужского пола, или же составляла собственность женщины,— вернее было последнее; из дырявых локтей торчали клочки пожелтевшей ваты. Когда-то клетчатые брюки, грубо заштопанные во многих местах серыми нитками, вплотную обтягивали широко раздвинутые и протянутые под стол длинные ноги незнакомца, а из-под этих брюк, не по росту коротких, выглядывали порыжевшие голенища истрепанных сапогов. Странный посетитель был, по-видимому, обычным гостем здесь: он ничего не требовал, даже не курил, сидел за пустым столиком и только изредка, с тревожным взглядом, поворачивал голову в сторону часов. Меня крайне заинтересовала эта жалкая фигура, вся как будто пригнетенная чем-то; я спросил себе еще пуншу и стал невольно вглядываться в нее. Уловил ли незнакомец мой пристальный взгляд, или же и моя особа произвела на него некоторое впечатление, но только он как-то смущенно съежился вдруг, нервно передернул ногами и встал. Теперь его сутуловатая фигура казалась еще длиннее. Сладко потянувшись, как делают это обыкновенно спросонок дети, когда их будят в школу, владетель клетчатых брюк лениво направился в мою сторону и, смотря на меня в упор своими выпуклыми глазами, медленно проговорил крайне приятным, но слегка охрипшим тенором:

— Извините, батенька... могу я вас просить... об одолжении?

— Сделайте милость, если только это будет возможно для меня,— поспешил я ответить.

— В полной комплекции... Прикажите подать мне стаканчик водки... за ваше здоровье. Не обременительно?

— Нисколько,— успокоил я просителя и, предложив ему стул, тотчас же распорядился насчет желаемого.

— Времена холодные...— с детски-радостной улыбкой сказал незнакомец, садясь против меня, и обратился к буфетчику: — Положи капусточки побольше, Федор Семенович.

— С подходцем отпустим Ивану Петровичу. Погрейся, погрейся! — фамильярно, но вполне сочувственно отозвался буфетчик — лысый толстяк с добродушным лицом.

Лукаво чему-то ухмыляясь, мальчик торопливо подал нам водку и закуску. Иван Петрович не сразу приступил к угощению; он сперва, так сказать, просмаковал стаканчик глазами, медленно выпустил в рот двумя пальцами изрядную дозу кислой капусты и потом уже выпил, скороговоркой промолвив:

— За ваше процветание!

Признаюсь откровенно, мне доставило большую отраду то, почти детское, удовольствие, какое выразилось при этом на открытом лице моего случайного собеседника. Особенная наивность его улыбки, отзывавшаяся какой-то беззаветностью, не только возбуждала к нему невольную симпатию, но даже способна была очаровать свежего человека.

— Уж ублаготворите в полной комплекции... осмелюсь просить об папироске? — снова обратился ко мне незнакомец, искоса взглянув на часы.

Я молча положил перед ним раскрытый портсигар. Точно прикасаясь к чему-то очень хрупкому, странный гость с величайшей осторожностью достал оттуда двумя пальцами папироску, закурил ее с прежним предварительным смакованием глазами, раза два затянулся, сладко жмурясь, как кот на солнце, и проговорил с видом благодарности:

— Вот теперь... форменно! На повтореньице не соизволите?

Я догадался, что вопрос опять шел о водке, и потребовал еще стаканчик. Произошло новое предварительное смакование глазами, но на этот раз более торопливое почему-то.

— Позвольте полюбопытствовать: вы по какой изволите части шествовать жизненной стезею? — осведомился у меня незнакомец, вытирая рукавом мокрые губы.

Я назвал свою профессию.

— Не красна, не красна дорожка, не розами усыпана... вот как и наша же.

— А вы чем занимаетесь? — полюбопытствовал в свою очередь и я.

— Теньер, батенька, в своем роде.

— Художник?

— Во, во, во... vous avais raison[1]. Позвольте уж отрекомендоваться в полной комплекции: Иван Петров Толстопяткин. Можно сказать, ношу аристократическую фамилию — двойную: предполагается, что мои славные предки оз-

[1] разумеется *(фр.)*.

наменовали себя толстыми пятками, то есть, надо полагать, частенько удирали на них от голода и холода...

Сопровождая почти каждое слово своей речи все той же чарующей наивной улыбкой, художник вдруг остановился и опять тревожно взглянул на часы, которые показывали теперь без четверти одиннадцать.

— А знатному потомку все-таки жутко...— проговорил он, словно в раздумье.

— Как это «жутко»? — переспросил я машинально.

— Изволили ехать по улочке? — прохладно?

— Да, сегодня порядочный мороз.

— Так вот роковой час наступает...

— Как это «роковой час»?

— А когда заведение запирается. Федор Семенович на этот счет жесток: и трех минут льготы не даст.

— Уж это верно,— подтвердил тот, смеясь и высовываясь из-за выручки.

Я подумал, что моему собеседнику еще хочется выпить, и распорядился было новым стаканчиком, но оказалось, что речь теперь клонилась совсем не к тому.

— Вы мне лучше ваш пятачок в металлических фондах ассигнуйте,— сказал художник, краснея, как пристыженная институтка:— при сегодняшней температуре любоваться красотами природы не ублаготворительно.

— Разве у вас нет квартиры?

— В прошлом году была, а нынче мы без крова обретаемся...

И опять беззаветная улыбка осветила симпатичное лицо Ивана Петровича.

Я поспешил предложить ему два двугривенных — единственную мелочь, которая была при мне. Толстопяткин, видимо, растерялся и как-то нерешительно перебирал двумя пальцами серебряные монеты, лежавшие теперь на его мозолистой ладони.

— Не обременительно? — спросил он меня наконец, тяжело вздохнув.

— Нисколько,— успокоил я его.— Вероятно, у вас нет работы в последнее время? Это ведь с каждым может случиться.

— Нашлась бы работа, да красок нет, купить не на что,— ответил он как-то меланхолически.

Мне стало ужасно жаль этого бездомного чудака.

— Послушайте, Иван Петрович! — заговорил я, помолчав:— да вы ели ли сегодня что-нибудь?

Толстопяткин нервно встрепенулся, опять посмотрел на

меня в упор своими выпуклыми голубыми глазами и чистосердечно признался:

— Откровенно вам сказать, вчера утром ел: глаз купцу замазал.

— Как «глаз замазали»? — удивился я.

— А так и замазал... как замазывают-то? Встретил я вчера утром одного коммерсанта здесь из мучного лабаза. Разговорились мы с ним, слово за слово, вот как с вами,— он и говорит:— «Как вы теперече будете из художников, то я должон вам признаться, что дети у меня глаз на фотографическом патрете испортили. Не можете ли вы это самое дело оборудовать мне в наилучшем виде?» — Могу,— говорю:— только у меня с собой китайской туши да кисточки нет.— «Это, говорит, у нас и дома найдется: мальчонка мой в гимназию ходит, так еографические карты туда рисует». Глаз мы замазали «в наилучшем виде», чаем меня купец напоил с булкой, двугривенный дал,— вот я на это и вкусил вчера от плодов земных.

— Значит,— сказал я, невольно разделяя симпатичную улыбку художника:— в настоящее время вы остаетесь без крова, хлеба и красок?

— Форменно!

Только что успел он ответить мне это, как трактирные часы пробили одиннадцать.

— На десять минут вперед поставлены,— любезно предупредил меня буфетчик, заметив, что я намерен подняться с места.

Толстопяткин, который тоже было встал при бое часов, теперь вдруг о чем-то задумался, провел рукою по лбу и, скороговоркой промолвив: «Я сию минуточку»,— опрометью выбежал из трактира.

— Беднота их шибко заела, а хороший они человек, только уж очень люто пьют временами,— с сожалением в голосе пояснил мне буфетчик, очевидно, насчет моего внезапно удалившегося собеседника.

— С чего же это он убежал, не простившись? — полюбопытствовал я.

— А кто их знает! Они постоянно так: сидят — разговаривают либо молчат в одиночку, да потом вдруг задумаются — и драла, точно с цепи сорвутся.

Я подошел к буфету, чтоб рассчитаться, и только что успел получить сдачу с пяти рублей, как громко скрипнула входная дверь, впустив вместе с клубами холодного пара и моего нового знакомого.

— Аристократически подмораживает! — проговорил Тол-

стопяткин, весь съежившись и потирая красные от стужи руки. Он, очевидно, что-то придерживал левым локтем под своим ватным капотом.

— Куда это вы исчезали? — спросил я у него, собираясь уходить и протягивая ему руку.

— Дайте минуточку восприять тепла: вместе выйдем.

— А жестокость Федора Семеновича забыли? — улыбнулся я.

— С вами, благороднейший батенька, и не это еще забудешь: уж на что сегодняшний мороз — и тот вылетел у меня из головы в полной комплекции,— по-детски весело засмеялся Иван Петрович.

В его голосе и манере, с какою он произнес этот комплимент мне, было столько чистосердечия, столько наивной простоты и так сильно говорили они в пользу художника, что я невольно почувствовал к нему нечто весьма похожее на начинающуюся дружбу.

II

РЕЗИДЕНЦИЯ БАРЫШНИ АННУШКИ

Когда мы вышли на улицу, мне показалось, что мороз к ночи усилился еще больше. Это не помешало, однако, Толстопяткину остановить меня почти у самых дверей трактира, который заперли вслед за нами.

— Вы знаете, куда я улетучивался? Сбегал в погребок за оной вот жизненной эссенцией,— сказал Иван Петрович, осторожно вынимая из-под капота бутылку водки с ярлычком Шитта.

Я неодобрительно покачал головой.

— Вам бы лучше следовало взять чего-нибудь поесть: ведь водка не насытит вас! — невольно сорвался у меня с языка дружеский упрек.

— Душенька! великодушнейший батенька! Погодите: не судите, да не судимы будете,— с жаром возразил художник и бесцеремонно засунул бутылку в наружный боковой карман моей шубы.— Это ведь только одна стратагема, сиречь военная хитрость: не купи я водки, жажда познания съестного завела бы меня в палестины, отверстые голодному путнику до двух часов ночи; я бы налопался там до отвалу, сохранив лишь пятак на право занятия иноческого ложа в Вяземской лавре. А завтра что? Такой, откровенно сказать, ублаготворитель, как вы, не каждый день попадается на распутии. Видите, у меня тут, по Гороховой, имеет резиден-

цию одна приятельница, некая барышня Аннушка,— держит три комнаты для жильцов; только мы с ней находимся теперь в дипломатическом разрыве. Она меня с пустыми руками к себе не пустит; если же мое посольство прибудет к ней с угощением, тогда, как вам небезызвестно... les petits cadeaux entretiennent l'amitie[1]. Поняли?

— Не совсем: что же за угощение — одна водка? — улыбнулся я недоверчиво.

— Погодите, вы сперва хорошенько обдумайте позицию: за бутылку я предал изгнанию из кармана тридцать шесть злонамеренных копеек, на остальные же благонадежные четыре копейки прихвачу по дороге, с лотка, два яйца вкрутую, а хлеб-то у ней найдется,— вот вам и угощение в полной комплекции! — победоносно отстаивал себя Иван Петрович.

— И все-таки вы завтра останетесь опять без крова,— попробовал я противоречить.

— В том-то и штука, душенька, что нет: мне бы только в ее резиденцию попасть, а там уж я отсижусь, пожалуй, и с недельку, да еще и на готовом продовольствии.

Толстопяткин проговорил это с таким сияющим выражением лица, с таким, можно сказать, очевидным предвкушением теплого угла и сытости в продолжение целой недели, что у меня решительно недоставало духу возражать ему снова.

— Возьмите же, не забудьте, вашу бутылку и делайте, как знаете,— сказал я только, стараясь торопливо отыскать в кармане свою визитную карточку с адресом, чтобы вручить ее художнику.

Выражение его лица при этом быстро изменилось, точно оно осунулось вдруг, даже стало каким-то плаксивым, совершенно как у детей, когда их лишают какой-нибудь излюбленной прихоти.

— Душенька! да разве вы не пойдете со мной? — воскликнул он в непритворной горести.— Ведь вся-то и надежда моя на вас была: меня одного не пустит дворник, а если его нет у ворот, так барышня Аннушка, открывши мне дверь, сейчас же и захлопнет ее у меня под носом.

— Отчего же вас дворник не пустит?

— Да вы видите, какие на мне ризы!

— Мне кажется, что с незнакомым человеком, да еще ночью, приятельница ваша скорее вам откажет в приюте.

— Да нет же! не откажет; уж я ручаюсь, что не откажет. Вы, может, думаете, что произойдет какое-нибудь неприятное для вас возмущение бабьей стихии? Никакого не произойдет.

---

[1] маленькие подарки, свидетельствующие о дружбе *(фр.)*.

Душенька!.. благороднейший батенька! Ну, умоляю вас: проведите вы сию утлую ладью в желанную пристань!

Что мне осталось делать? Редко когда я встречал в одной и той же речи такое оригинальное сочетание страстной мольбы с неподдельным комизмом, и, уж не могу сказать теперь хорошенько, эта ли именно оригинальность, или же все больше возраставшее в моей душе чувство приязни к Толстопяткину заставили меня уступить его настойчивой просьбе.

— Так вот что мы сделаем,— сказал я, окончательно решившись следовать за ним: — прикупим где-нибудь по дороге хорошей закуски. Что больше любит ваша приятельница?

Надо было самому видеть тот детский восторг, в какой пришел от этих слов наивный Иван Петрович, чтобы никогда уже не раскаиваться впоследствии в моем решении.

— Да на каком же морском дне, жемчужина вы этакая, пропадали вы до сей, достопамятной в моей жизни, эпохи? — воскликнул он, порывисто растопырив руки и как-то забавно подпрыгнув, не то от этого восторга, не то от мороза.— Барышня Аннушка-то что любит? Ей, душенька, все в корм; уже одна ветчинка или икорка может привести ее в некое сладостное умопомрачение. Форменно!

Мы наконец двинулись в путь. Но по мере того, как попадавшиеся нам на глаза овощные лавки и колбасные оказывались все уже закрытыми, выразительное лицо Толстопяткина начинало все больше и больше вытягиваться в прежнюю плаксивую гримасу, до того забавную, что в душе я просто помирал со смеху. Кончилось тем, что нам пришлось взять извозчика и ехать в Милютины ряды. Когда я вышел из лавки Вьюшина с корзинкой в руке и объявил поджидавшему меня в санях Ивану Петровичу, что в нашем распоряжении имеются, кроме сюрпризной бутылки портвейну, еще ветчина, колбаса, икра и коробка сардинок,— мой художник едва не выскочил из саней; право, можно было опасаться, что от умиления он примется обнимать тут же и меня, и извозчика.

— Потемкин великолепнейший!.. Да ведь этак нас с вами сами ангелы, на собственных крыльях, внесут в резиденцию барышни Аннушки!.. Великодушнейший! ведь после этого я могу и две недели попирать своими недостойными ногами ее божественные чертоги!..— восклицал, захлебываясь, Толстопяткин чуть не на весь Невский.

Но морозный ветер, дувший теперь нам прямо в лицо, заставил вскоре впечатлительного художника успокоиться

поневоле: он до того прозяб, что у него, как говорится, зуб на зуб не попадал.

— Скажите, Иван Петрович,— спросил я дорогой, больше для его ободрения:— почему это вы зовете вашу приятельницу «барышней Аннушкой»?

— Да у меня уж такой обычай — крестить все и всех на свой лад,— отозвался он с заметной дрожью в голосе.— По происхождению она, видите, дочь чиновника — значит, по-моему, барышня; ну, а по всем прочим статьям сия особа ничем не отличается от любой деревенской бабищи и выходит просто — Аннушка. Так вот мне и подумалось соединить в ее прозвище приятное с полезным. Кроме того...

Толстопяткин, очевидно, хотел еще что-то добавить к этой остроумной характеристике, но в ту минуту мы уже подъехали к воротам указанного им дома. Калитка благополучно впустила нас, оказавшись не запертой и без дворника. Мы стали взбираться по черной лестнице в самый верх. Остановясь здесь и нащупывая рукою дверь и звонок, Иван Петрович таинственно предупредил меня:

— Если я по-сочинительски врать буду, не препятствуйте мне, а только громче поддакивайте, что все, мол, святая истина: для легчайшего проникновения в оную резиденцию, это уж так по церемониалу полагается...

И Толстопяткин сдержанно позвонил.

— Дрыхнет, бестия! — сказал он, принужденно смеясь, когда, по истечении трех-четырех минут, в квартире не последовало никакого движения, и позвонил снова, но уже гораздо сильнее.

— Кто там? — послышался наконец резко визгливый голос за дверью.

Иван Петрович быстро выхватил у меня из рук корзинку, боязливо шепнул: «Да подайте же свою реплику» — я позвонил в третий раз.

— Да кто там? — еще визгливее настаивал все тот же резкий голос.

— Отворите, пожалуйста,— попросил я довольно громко.

В ту же минуту звякнул тяжелый крюк у двери, и она слегка приотворилась. Не теряя ни одного мгновения, художник левой рукой притянул ее к себе, а правой — просунул вперед корзинку, так что отступление неприятелю было совершенно отрезано.

— Матушка, барышня Аннушка! Это я, Иван Толстопяткин,— проговорил он уморительно-вкрадчиво и с лихорадочной торопливостью продолжал:— во-первых, совершенно трезвый; во-вторых, привел с собой давнишнего приятеля,

богача из Сибири, сейчас только прибывшего по Никольской железной дороге, с опоздавшим курьерским поездом: в-третьих, мы явились не с пустыми руками, а с знатнейшим угощением и таковою же вышивкой,— вот тут, в дверях, и корзинка, хоть рукой пощупайте...

«Как это он не задохнется от такого быстрого монолога?» — невольно подумалось мне.

— Врешь, поди, пес? — недоверчиво взвизгнул голос хозяйки: — побожись!

— Совершенно верно, что...— поспешил было вставить я новую «реплику» в защиту товарища.

— А ну-ка-те, псы, побожитесь оба! — круто оборвали меня.

Делать нечего, пришлось побожиться. Наконец, после целого ряда визгливых причитаний относительно «ночной поры» мы были впущены в «резиденцию», а дверь опять поставлена на крюк. Сама «барышня Аннушка» тотчас же куда-то исчезла.

— Пошла туалет созидать,— пояснил мне веселым шепотом Толстопяткин: — сейчас светильник явится.

— Иван Петрович! — послышался из непроницаемого мрака голос хозяйки: — проведи их в зальце, покудова я оболокусь; свечка и спички в печурке.

— В силу, душенька, входите при дворе, в силу! — любовно потрепал меня по плечу художник и суетливо принялся шарить где-то руками.

Через минуту чиркнула спичка, зажглась сальная свеча, и я мог осмотреться. Оказалось, что мы обретаемся в тесной и грязной кухне, закоптелые стены которой изобиловали целыми гнездами рыжих тараканов; кое-где на полках из распиленных, но не выструганных досок, приспособленных, очевидно, на скорую руку, торчали жалкие принадлежности не столько убогого, сколько неряшливого хозяйства; от давно немытого ушата с помоями несло какою-то вонючею гнилью.

— Шествуемте, душенька, во здравие! — пригласил меня Толстопяткин: — церемонимейстера нам не полагается, ибо мы проникли сюда.

Он взял корзинку и свечу, а я захватил из кармана шубы бутылку с водкой, и мы прошли по узкому, отгороженному крашеными деревянными перегородками, коридору в «зальце». Это было, впрочем, слишком роскошное название для той каморки, которая удостоилась носить его. Здесь все представлялось идеально-неряшливым: и забрызганные чем-то обои стен, висевшие в иных местах клочьями, с

явным присутствием клопов под ними, и совершенно выцветший диван, из-под проерзанной материи которого виднелась мочала, проступали железные концы лопнувших пружин, и круглый преддиванный стол, ничем не покрытый, но зато сплошь облепленный приставшими к нему остатками от предыдущих трапез, и весь исцарапанный комод, где из неплотно закрытых ящиков торчали какие-то пестрые тряпки. Если ко всей этой обстановке прибавить еще немытый, по крайней мере, недели три пол, то остальные подробности «зальца» легко уже дорисуются воображением.

Иван Петрович быстро развязал корзинку и с некоторою торжественностью разложил вынутые оттуда припасы на преддиванном столе, с бутылкой портвейна во главе, к чему я присоединил и водку. Каждая закуска отделялась от грязного стола той самой бумагой, в которой была завернута, так что получился довольно опрятный вид. Художник с отеческой любовью присматривался то к той, то к другой снеди. Я только теперь заметил, что на единственной пуговице его капота болтается какой-то объемистый сверток, и спросил:

— Что это такое?

— Великодушнейший! совсем было забыл! — воскликнул он в детском умилении: — сие суть ваши четыре копейки, превращенные мною, в минуту моего одиночества на извозчике, в драгоценный провиант, именуемый в просторечии полфунтом ситника.

— И уж болтушка же ты, Иван Петрович! — оборвала его хозяйка, появившись в эту минуту из соседней каморки. — Здравствуй-ка-те! — поприветствовала она меня подозрительно-благосклонным кивком головы.

— Барышня Аннушка! — трагически произнес Толстопяткин, опускаясь перед ней на одно колено и по-жречески воздев руки в сторону расставленных яств: — дни человеческие сочтены, и да не примешается адская желчь твоя к сим райским сладостям Милютиных рядов!

В ответ на эту забавную тираду хозяйка визгливо захихикала, проговорила: «Ах ты, беспутный ты этакий!» — и фамильярно шлепнула художника по затылку.

Меня крайне заинтересовала ее типичная фигура. По летам «барышню Аннушку» можно было признать стоящей на рубеже, с которого начинается критический переход к положению старой девы. Высокого роста, тощая, как заморенная кляча, она двигалась как-то автоматически, точно кто-нибудь изнутри подергивал все ее члены за ниточки. В продолговатом лице у ней, в особенности сбоку, было действительно что-то лошадинообразное, тем более что ее широкие ноздри

то и дело нервно вздрагивали. Маленькие серые глаза, немного косые и чрезвычайно подвижные, хищнически перебегали с предмета на предмет из-под белобрысых бровей, точно повылезших от какой-то изнурительной болезни; но и в движениях этих бойких глаз замечалась та же автоматичность: они, собственно, не перебегали, а вернее сказать — быстро перестанавливались невидимым механизмом с одной точки на другую. Тонкие губы хозяйки как-то забавно съеживались при этом в трубочку, на манер стягиваемого шнурком кошелька, образуя вокруг рта продольные складки. Общее впечатление наружности «барышни Аннушки», произведенное на меня, по крайней мере, было таково, что не следовало бы класть пальцы в рот этому ехидному созданию. Толстопяткин, по-видимому, думал несколько иначе:

— Что вы так боязливо смотр ей делаете? — обратился он ко мне, расхохотавшись ребяческим смехом.— Всякая с виду фурия будет, батенька, в Магометовом раю — гурия, а барышня Аннушка и подавно, ибо девственность держит исправно... Так-то, великодушнейший!

— Вот, когда они этак дурят, я люблю, ничего,— ласкательно отозвалась хозяйка: — а только во хмелю, значит, Иван Петрович жильцов моих беспокоят, я их потому больше и не пущаю в квартеру.

— Форменно ли так, барышня Аннушка?

— Оченно просто!

После обмена этих речей мы с художником остались на минуту впотьмах, ибо единственную свечу, ради необходимых приспособлений к предстоящему пиршеству, хозяйка унесла с собой на кухню. Ожидаемые приспособления явились на стол в виде двух больших ломтей ржаного хлеба, нечищеного ножа, изломанной вилки о двух концах и рюмки с отбитой ножкой, которую (рюмку, конечно, а не ножку) Толстопяткин сейчас же очень метко и окрестил названием «колпачка». Вино и водка были раскупорены вилкой, или, как выразился Иван Петрович, он просто «вогнал пробку в утробу бутылок». Угощение началось с хозяйки, которая очень было жеманилась сперва, но после третьей рюмки водки и изрядного куска ветчины, сделавшись проще и сообщительнее, вдруг сентиментально сказала:

— Ивану Петровичу жениться бы вот надоть; сразу бы у них вся эта дурь прошла; живут без пристанища, одежонка — решето, тоже когды и есть нечего,— а вот почему? По ихней самой вине. Копейка у них не держится: чуть заведется, все тогды — приятели. В прошлом годе они патрет с купца

за пятьдесят рублев срисовали, так сколько тогды народу этого оборванного ко мне навели — просто страсть! И все косматых, как сами же. Нет, им беспременно жениться надоть! — закончила она убедительно.

— Самому кусать нечего, так еще младенцев плодить? — рассмеялся художник.

— Хорошая жена завсегды мужа в акурате продержит...

— И спасительную влагу вовремя поднесет после кошачьей тоски? — спросил Толстопяткин, залпом осушая две рюмки.

— Очень просто!

Разговор долго еще вертелся все около этого же предмета. Заметно было, что избранная тема очень интересует «барышню Аннушку»; Иван Петрович, напротив, отделывался лишь короткими фразами вроде предыдущих и даже как будто сердился немного, что отнюдь уж не шло к его добродушной физиономии.

— Да ну тебя и с женитьбой совсем! — забавно разозлился он наконец: — ешь лучше икру и памятуй час смертный. Я уж давно повенчан... с кисточкой.

— А они оченно даже хорошо рисуют, — отнеслась ко мне хозяйка: — только у них все больше бесстыжее выходит.

— Как это «бесстыжее»? — удивился я.

— Теньер, душенька, в своем роде, — пояснил Толстопяткин, снова развеселившись. — Барышня Аннушка! соблаговолите пошевелить ваши седалищные части, оставьте нас на мгновение во тьме и предъявите сему великодушнейшему сеньору мою художественную стряпню, висящую, сколько мне помнится, в картинной галерее единого из ваших жильцов.

— Картинку-то, что ли, со старухой? — привстала хозяйка.

— Во, во, во...

Потребованное явилось немедленно. Это был мастерски набросанный масляными красками эскиз на толстой картонной бумаге в величину квадратного аршина. Он изображал часть занесенного снегом забора у дровяного двора, при слабом лунном освещении в морозную ночь. Подле забора, на снегу, лежало какое-то жалкое подобие человеческой фигуры в образе замерзшей старухи, облеченной в такие же жалкие лохмотья; сквозь дыры их просвечивало тощее синеватое тело. На изможденное лицо старухи падал красновато-желтый луч от фонаря, который держал в руке наклонившийся над ней городовой, с поднятым выше ушей воротником формен-

ной шинели. Налево, несколько отвернувшись от трупа, весь закутанный в теплую шубу дворник флегматично отправлял естественную потребность. Жуткое, щемящее душу впечатление производил этот мастерской эскиз; фигуры были написаны типично, холодный тон неба и воздуха передан безукоризненно.

— Да, благороднейший батенька! — заметил художник, почему-то потупясь: — на жизненной стезе попадаются иногда вот этакие «бесстыжие» закорюки...

— Уж истинно, что бесстыжие,— обидчиво вмешалась хозяйка: — а Иван Петрович еще мне ее подарили! Я к жильцу в комнату повесила, так те даже покраснели.

— И с таким талантом вы не можете устроиться?! — попенял я Толстопяткину.

Он быстро поднял голову, посмотрел на меня в упор и промолчал.

— Ведь вон и пальтишко-то у Ивана Петровича из моей же теплой кофты перелажено, а все они об себе очненно много уж думают... и не дает им бог счастья за это,— визгливо тараторила «барышня Аннушка», усердно запихивая в рот ломтики колбасы.

Художник только выпил водки и опять промолчал.

— Где же теперь живешь-то? — допрашивала хозяйка.

— У тебя на носу! — проговорил он наконец с детской досадой и плюнул.

— Они вот завсегды так, коли с ними станешь об чем всурьез разговаривать,— пожаловалась мне раздражительно наша собеседница.

Вместо ответа я спросил, не найдется ли у нее чистого стакана для портвейну.

— Великодушнейший! — с торопливым шепотом обратился ко мне художник, как только она вышла: — накатите вы ее, бестию, вином хорошенько... в полной комплекции: веселее дело пойдет у нас...

Но сказалось, что, несмотря на всяческие с моей стороны употчевания хозяйки, нашему пиру не суждено было пойти веселее. По мере того, как убывал портвейн, ее хищнические серые глаза все быстрее и подозрительнее перестанавливались с меня на художника и наоборот; мое присутствие видимо беспокоило ее. Сам Толстопяткин с каждой новой рюмкой водки утрачивал значительную долю своего добродушия и юмора; та гнетущая скорбь, которую я еще в трактире подметил на его лице, начинала принимать теперь резкий и несимпатичный оттенок не то бессильной ненависти, не то отчаяния. Заметно было, что между этими двумя лицами,

столь непохожими друг на друга, существует какая-то роковая связь, долженствующая рано или поздно разрешиться неизбежной катастрофой.

— Вы, великодушнейший батенька, не обращайте внимания на то, что по мне якобы прыгает в этот момент черная кошка!..— разразился вдруг истерическим рыданием Иван Петрович, подметивший, несмотря на хмель, что я пристально и скорбно слежу за ним: — эту черную кошку можно и раздавить в полной комплекции... Форменно!

И он с такой силой ударил кулаком по столу, что бутылки и закуски так и подпрыгнули на нем.

— Вот они завсегды так: честью им не сидится в путной кватере,— визгливо протестовала хозяйка, обращаясь ко мне, и ехидно прикрикнула на Толстопяткина: — Уходи не то вон сичас, а то я и за полицией пошлю! Тоже в чужой кватере распоряжаться тебе не дадут, а сиди лучше смирно, когды стужи боишься. Оченно просто!

Речь эта подействовала на расстроенные нервы художника вернее доброго приема морфия: он в одну секунду как-то опять съежился весь и точно почувствовал внезапную наклонность ко сну; по крайней мере, веки его замигали, как у человека, который начинает дремать. Я посоветовал ему уснуть и стал прощаться с ним.

— Постойте на минуточку, жемчужина вы моя! — оживился вдруг Иван Петрович, отчаянно тряхнув своими длинными рыжими волосами.— Душенька! вы ведь меня полюбили, так ли? Так примите же от меня, в слабое воздаяние за сей достопамятный в моей жизни день, скудное приношение Ивана Толстопяткина, сиречь плод моих «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»...

Художник снова было зарыдал и вдруг обратился к хозяйке:

— Барышня Аннушка! непрошеная царица души моей! Не серчай ты на меня, злосчастного российского Теньера, и вручи сему добрейшему, милейшему, великодушнейшему батеньке мою записную тетрадку...

— Это зелененькую-то? — перебила она его.

— Во, во, во, vous avez raison...— ответил он сквозь слезы.

Через минуту «скудное приношение» художника было вручено мне. Я сообщил свой адрес Толстопяткину, пригласив его навестить меня поскорее, и уехал с болезненно ноющим, точно прищемленным сердцем...

В МИРОВОЙ КАМЕРЕ

Заметки для будущих жен и матерей

ОЧЕРК ПЕРВЫЙ

В предлагаемых очерках я буду иметь в виду преимущественно вас, моя невзыскательная читательница. Впрочем, назвав вас «невзыскательной», я не хотел сказать вам этим или вообще чего-либо обидного для вас, ибо, скажу вперед, я всегда проникнут был глубоким уважением к вам, хотя и не могу похвалиться особенною мягкостью языка в беседах как с прекрасным, так и непрекрасным полом. Под словом «невзыскательная» я разумел только, что вы не будете так строги к моим очеркам, как читатель, который непременно потребовал бы от меня сухого и до скуки обстоятельного изложения предмета,— к чему я не расположен от самого рождения,— и наверно стал бы придираться на каждом шагу к тем многочисленным уклонениям от сущности дела, какие я вперед предвижу в настоящей статье, ибо чувствую к ним некоторый род страсти. Вы же, читательница, я уверен, потребуете от меня только ясности и полноты рассказа, да серьезного, глубокого сочувствия к близко вас касающемуся предмету, на что, думаю, не найдется во мне недостатка. Вообще, я бы желал, чтоб между нами сразу установились бесцеремонные, дружеские отношения, чуждые всякой напыщенной формалистики, и я буду очень счастлив, если сумею часа на два привлечь ваше внимание к предмету, от которого, если бы обращали на него больше внимания, зависит многое в жизни женщины, начинающей теперь мало-помалу сознавать свои человеческие права и искать, хотя пока еще ощупью и как бы впотьмах, исхода из той незавидной роли разряженной куклы, какую пришлось ей играть в продолжение нескольких столетий, за весьма немногими исключениями. Чтоб раз навсегда покончить с этим необходимым, по-моему, предисловием, скажу вам вкратце, что задачей моей настоящей статьи будет проследить и выяснить, по возможности подробно, те практические стороны женского вопроса, которые до настоящего времени более или менее ускользали от прямого

наблюдения и только теперь, благодаря нашей судебной реформе, выглянули на свет божий в своем натуральном, неприкрашенном виде. Благоприятный случай дал мне возможность в течение более полутора лет, т. е. почти с первых дней введения в действие этой реформы, присутствовать изо дня в день в одной из петербургских мировых камер при всевозможных разбиравшихся в ней процессах, не исключая и тех семейных комедий и драм, при которых двери суда закрывались для публики. С первых же дней мое внимание и наблюдения невольно обратились к тем из этих процессов, в которых проскальзывали, сперва неясно, а потом все более и более осязательно, насущные стороны животрепещущего женского вопроса, и настоящая статья является как посильный вывод из этих чрезвычайно заинтересовавших меня наблюдений. Выяснение таких сторон женского вопроса будет сделано мною, разумеется, по мере того, как они обнаруживались исключительно в нашей камере, не захватывая области явлений, миновавших практику этой камеры. Вполне уверенный в вашей снисходительности, читательница, тем не менее я не без некоторой робости приступаю к ознакомлению вас с интереснейшими из них, зная, что мне придется иногда рассказывать вещи, несколько щекотливые для непривычного женского уха; но... приглашаю вас, читательница, забыть хоть на время ваши невольные предубеждения и помнить, что мы беседуем откровенно, как друзья, и с полным уважением друг к другу, чем, надеюсь, вы меня и почтите...

Особенно ярко припоминается мне одно, по-видимому, совершенно ничтожное дело, которое почему-то оставило, однако ж, в моем уме неизгладимое впечатление и с которого, собственно, и начались мои наблюдения. Однажды явилась в нашу камеру женщина жаловаться судье на то, что ее обругал и прибил в кабаке ее знакомый, портной, когда она зашла туда купить себе на пятачок водки. В жизнь свою я не видел такого печального, такого убогого женского лица. Лицо это, без слез, так вот и плакало каждой своей чертой, каждой морщинкой, выражая в то же время какой-то застывший на нем беспредельный испуг: я не могу, по крайней мере, приискать другого более точного выражения для того, чтоб верно охарактеризовать его. Она была в черном полинявшем платье и в такой же черной шляпке с еще более полинявшими белыми цветами, принявшими от времени грязный коричневый оттенок. Когда я подошел к ней спросить, чего она хочет, бедная женщина затряслась всем телом и так долго, испуганно озиралась прежде, чем ответить мне,

что я сперва принял ее за помешанную. Я старался ее успокоить, как мог, но она и после этого не могла связать двух слов, чтоб сколько-нибудь понятно передать мне свою просьбу. С тем же испугом подошла она позже и к судейскому столу и так же бессвязно пыталась заявить ему свою жалобу. Простая, но до некоторой степени торжественная обстановка нового суда, видимо, в значительной степени усиливала странную робость и растерянность этого забитого существа. Мировой судья, приняв ее за больную, приказал подать ей стул и вежливо попросил ее сесть, успокоиться и рассказать, в чем дело, — она поблагодарила и вдруг заплакала навзрыд, и долго плакала, как может плакать только обиженный ребенок, которого нечаянно для него обласкал посторонний человек. По ее лицу заметно было, что она плакала именно оттого, что до глубины души была тронута этим вежливым вниманием к ее слабости, какого она, может быть, никогда не встречала от людей во все продолжение своей горемычной жизни. После этого она мало-помалу оправилась и, сквозь слезы, передала в немногих грустных словах содержание своей нехитрой жалобы. Меня особенно поразило в этой жалкой просительнице то обстоятельство, что, несмотря на очевидную молодость, она казалась сморщенной старухой, и ее, в полном смысле слова миниатюрная, почти детская фигурка поражала глаз неприятным контрастом с той глубокой скорбью, которая так резко обозначилась на ее полудетском, полустарушечьем лице.

Чтоб уяснить смысл настоящего процесса, содержание которого будет передано мною ниже, я прошу позволения рассказать прежде в немногих словах грустную повесть этой бедной женщины, так как повесть ее представляет собою повесть очень многих, подобных этой бедняге, существ. Мне удалось узнать ее историю случайно от лиц, близко ее знавших и заслуживающих полного вероятия. Несколько лет тому назад женщина эта слыла в Петербурге, в известном кружке, под именем «сторублевой». Она была дочь какого-то бедного чиновника и на 16-м году осталась круглой сиротой, приютясь у какой-то доброй женщины, взявшей ее из милости до приискания места; но и эта благодетельница вскоре умерла, не успев пристроить сироту, так что бедной девушке приходилось или умереть с голоду, или пойти по известной дороге, приведшей в результате сотни таких несчастных девушек к Калинкинской больнице. Чтоб пристроиться на этой дороге, сделать по ней первый, самый трудный шаг, редко можно обойтись без особого рода «благодетельниц», которыми

кишит Петербург. Нашлась такая благодетельница и для нашей сироты. Какая-то старуха уговорила ее в минуту самой ужасной крайности поступить на содержание к богатому молодому барину, который уверил неопытную девушку, что она так ему полюбилась сразу, что он жить без нее не может. Девушка поверила и согласилась, уступая, впрочем, больше голосу пустого желудка, чем собственному влечению. На самом деле здесь, конечно, не могло быть и речи о каком бы то ни было нравственном сближении; прихотливому барину просто показалось оригинальным переменить свою прежнюю любовницу высокого роста на оригинальную и хорошенькую собой миниатюрную фигурку, которую он показывал с восторгом своим знакомым, как редкостную кабинетную вещицу, в продолжение первых месяцев обзаведения ею. Он был богат и не жалел денег на разные дорогие тряпки, удвоивавшие в его глазах прелесть и ценность новой покупки: она получала сто рублей в месяц, как говорится, на булавки, не считая изящной квартиры и готового содержания, и с этих-то пор и прослыла под именем «сторублевой». Так провела она два года в полном довольстве. Но в эти два года много утекло воды, а главное — в голове богатой содержанки созрело, бог весть какими-то путями, хотя и не совсем ясное, но тем не менее тяжелое сознание своего позора; мало того, ее маленькое сердце, не удовлетворенное наружными ласками, запросило любви настоящей, горячей, беззаветной. На третий год летом, когда ее покровитель рыскал один с утра до вечера по загородным гуляньям,— она из своего уставленного цветами окна, оставленная на произвол своих мечтаний, засматривалась часто и подолгу на противоположное окно в самом верхнем этаже, где какой-то бедный труженик-портной до поздней ночи, а иногда и до белого света, выводил, не разгибая спины, нескончаемые размахи то иглой, то утюгом над своей, очевидно, неблагодарной работой, и, глядя на бледное, истомленное, но молодое и привлекательное лицо этого неутомимого работника, жутко припоминались ей и минувшее время ее собственной безысходной нищеты, и та горячая жажда честной работы, какой не раз томилась она в это ужасное время, проводя целые ночи без сна за мысленным изысканием этой работы. Невыносимо стыдно становилось ей, когда она наблюдала, как ее горемычный vis-à-vis завершал свой жалкий день и труд черствой коркой хлеба с водой. «Его так вот никто не возьмет на содержание,— думала она: — а я-то с утра до вечера ничего не делаю, а как вкусно ем; вот и сейчас пойду ужинать, как только он погасит свою тоненькую сальную свечку». И неред-

ко бывали у этой женщины гордые минуты, когда она отказывалась от своего дарового вкусного ужина и засыпала у открытого окна на холодном подоконнике, забывая о ночной сырости. Чувство этого стыда развивалось в ней с каждым днем все больше, и однажды вечером, не выдержав нравственной пытки, она отослала, точно по вдохновению, свой ужин с жившей у нее старухой-кухаркой бедняку-портному, строго наказав ей не сказывать ему, от кого это послано. С сердцем, буквально замирающим от любопытства, прильнула она из своего окна глазами к противоположному окну, думая увидеть радостное изумление на лице бедняка, может быть, даже никогда и не мечтавшего закусывать жареной курицей. Но она ошиблась, она ничего не увидела, кроме того, что сальная свечка ее передвинулась на время из одного угла в другой. И что же должна была она почувствовать, когда возвратившаяся кухарка коротко и угрюмо объявила ей: «Не берет, барыня; говорит: я не нищий». Экзальтация ее дошла при этом до последней степени. Она решилась сама пойти к нему с этим ужином и во что бы то ни стало заставить его там, у него на чердаке, разделить с ней вдвоем этот ужин. «Я сама не помнила себя тогда,— рассказывала она впоследствии об этом вечере одной из своих подруг:— не помню, как мы ели с ним, знаю только, что мне и ему было очень горько и очень хорошо». Этот вечер, как и следовало ожидать от такой женщины, был роковым вечером в ее жизни. Подобные ужины вдвоем стали повторяться каждый день, и с каждым из них ее все сильнее и сильнее обхватывало новое, хорошее, еще незнакомое ей чувство. Эти бедняки по рождению, горемыки по жизни, невольно, но крепко сроднились и слюбились друг с другом, и честная женщина воскресла. Да, моя дорогая читательница, эта богатая содержанка, «сторублевая» по циничному прозванию толпы, как ни странно вам это покажется,— была по натуре честная, неиспорченная женщина, и у ней достало силы променять свою изящную обстановку на грязный угол бедняка-портного. Однажды утром, выбрав удобное время, она ушла навсегда из своей нарядной квартиры, оставив в ней все подаренные ей дорогие безделки, в том самом черном платье и в той самой черной шляпке с белыми цветами, в которых я увидел ее в первый раз, в мировой камере, и я глубоко уверен, что она, вероятно, и их не взяла бы с собой, если б имела возможность в ту минуту одеться во что-либо другое... Это было все, что осталось ей на память от прежней позорной жизни в довольстве, и, идя в суд, она, вероятно, не нашла в своем гардеробе ничего изящнее этого полинявшего, полуизъеденного молью наряда.

Молодому купцу удалось, однако ж, вскоре после внезапной пропажи его дорогой игрушки отыскать ее у нового очага, и, конечно, если он и не почувствовал к ней и в эти минуты в роде искреннего расположения, то во всяком случае все же ему не легко было расстаться с тем, что так неожиданно ускользнуло от него и к чему он все же успел привыкнуть в два года. Но никакие угрозы, никакие просьбы не могли вернуть к нему его «сторублевки». Тем не менее он поступил с ней, как человек порядочный, отослал ей весь ее гардероб и ту небольшую сумму, которую она успела скопить за время жизни с ним и которую он нашел, разбираясь в ее комоде. Молодая женщина распорядилась и этим по-своему. Она прежде всего продала все возвращенные ей вещи, за исключением известного черного наряда, и на вырученную сумму выкупила из крепостной зависимости своего нового друга, а на остальные деньги обзавелась швейной машиной. И вот закипел на убогом чердаке, хотя, как и прежде, не прибыльный, но зато свободный и, стало быть, отрадный труд, заедаемый подчас тем же черствым куском хлеба, но свобода и любовь даже и его делали как-то мягче. И эти дни она могла, по справедливости, считать лучшими днями своей горемычной жизни. Но не долго тянулись такие дни. Самая горячая любовь если иногда и не разбивается о крайность, то все же эта крайность со своими ежедневными вопиющими лишениями способна подкопаться под чувство даже людей высокоразвитых. Им ли, темным горемыкам, было устоять против нее? И они, точно, не устояли. Портной стал пить и, конечно, как всякий пьющий русский человек, вымещал порой свое горе, особенно под хмельную руку, на безгранично отдавшейся ему подруге. Она молча перенесла все, и никто из соседей не мог сказать, чтоб он когда-нибудь слышал от нее хоть одну жалобу на дурной выбор сожителя. Но даже и такое счастье, вперемешку с руганью да побоями, не дается в прочное владение бедняку: портной через пять лет умер от чахотки... Бесполезно было бы рассказывать, какое это ужасное было горе для нее, и если оно не свело ее в могилу, то разве только потому, что нет на свете терпеливее и выносливее русского человека, в особенности русской женщины. Но и за этим внезапным горем следовало еще новое. Так как чердак нанимался от имени портного, то все их вещи были описаны полицией как его собственность; даже и заветной швейной машины не пощадила эта неумолимая полиция. Сироте-горемыке официально ничего не принадлежало здесь, ибо любовь дает права только на душу любимого человека, а не на его крохи, хотя бы эти крохи и зарабатывались общим

тяжелым трудом. Надо было доказать, что швейная машина куплена на ее деньги; а чем было доказать это? Доверчив простой русский человек, и не в его широком характере обеспечивать себя документами на всякий непредвиденный случай. Только утюг да ножницы, гостившие где-то у соседа во время описи, не вошли в нее и остались таким образом в наследство от покойника его незаконной вдове. Тут-то и пришла к ней настоящая крайность, та неумолимая крайность, для которой даже черствая корка составляет праздничное лакомство. Спасибо еще, что нашелся добрый человек: подмастерье покойного портного, живший с ним вместе, не оставил убогой подруги своего бывшего хозяина и долго помогал ей, как мог, перебиваясь кое-как и сам изо дня в день на том злополучном чердаке. Горькая была эта жизнь, такая горькая, что лучше бы, чтобы ее и вовсе не было. И запили они оба с горя, хоть и не мертвую чашу, а все же запили... Мизерные интересы их стали чаще и чаще сталкиваться враждебно, да и не мудрено: оба они грызли, так сказать, одну и ту же голую кость, а голой кости мало даже и для собаки, не только для одного человека. И вот однажды у них вспыхнула вражда из-за несчастных ножниц, о которых речь была выше; подмастерье доказывал, что ножницы покойный хозяин еще при жизни подарил ему, а она отстаивала их, как свою собственность, и тем ревнивее, что все же на них можно было напиться лишние два раза и, стало быть, два раза забыться от горя. Они серьезно поссорились из-за этих ножниц, и, когда в тот же день вечером пьяный подмастерье встретил в кабаке свою товарку по квартире, он обругал ее и прибил. И вот отсюда и вытек тот процесс, с которого я начал свои очерки. Процесс этот по наружности был столько же мизерен и убог, сколько мизерна и убога была темная, чердачная жизнь обвиняемой и обвинителя. Здесь, перед лицом суда, многое припомнили они друг другу, много насчитано было ими пятачков, которыми они в разное время ссужали друг друга на покупку водки. Но невольно чувствовалась за этим мизерным процессом та глубокая, полная жизненности драма, с которой я только что вас познакомил, как умел. Самый скептический ум, прислушиваясь к этому горячему спору из-за пятачков, пришел бы к глубокому убеждению, что купленная на один из таких пятачков водка действительно должна была казаться порою этим обиженным жизнью людям чем-то вроде росы небесной. Живо припоминается мне теперь, как смешили эти пятачки одну нарядную даму, присутствовавшую в то время в камере, и как сейчас

вижу я то великолепное «fi donc[1]», какое силилась изобразить она на своем безукоризненно светском лице, забывая, что, может быть, косвенным образом и она имела долю участия в горе, обрисовавшемся так ярко перед ее глазами. Да, сударыня! может быть, эти забитые люди были бы счастливее, если б вся ваша родня по восходящей женской линии не наполняла всю свою пустую жизнь только опытами над тем, как бы великолепнее изображать на своем лице это подавляющее своей чудовищной холодностью «fi donc»! Счастливица! Неужели вы так глубоко прозрели вашу собственную будущность, что ни на минуту не трепещете за нее? Но нет, вы далеко не счастливица: вы несчастнее даже этой несчастной женщины, сохранившей по крайней мере чувство, которое не дано вам, да, по всей вероятности, и не дастся никогда...

А это горемычное существо действительно даже и в суде оказалось женщиной с чувством, и даже с большим чувством. Когда мировой судья, видимо тронутый ее положением и стараясь примирить их, дал ей почувствовать, что она оскорблена не потому, чтобы ее желали оскорбить, но потому, что их обоих заело безысходное общее горе,— она со слезами, ни минуты не колеблясь, простила своему горькому обидчику. «Нас, точно, заело одно горе,— говорила она, судорожно рыдая: — он не дрался бы, если б жизнь наша была покраснее...» Не чувствуется ли вам, моя дорогая читательница, глубокий жизненный смысл в этих простых словах? Не трогают ли они вас глубже, чем тронули бы сотни сухих трактатов по женскому и иному жизненному вопросу? Замечательнее всего в судьбе этой женщины то, что хотя когда-то и был же сделан ею шаг по пути разврата и хотя, казалось бы, тем легче было для нее вступить вновь на этот путь, но она не пошла по нему. Позднейшая слабость ее характера выразилась только тем, что она не смогла перенести страшного своего положения без всякой внешней поддержки; она стала пить и пьет теперь сильно, но никогда уже, вероятно, не продаст себя, даже и из-за куска хлеба.

Я нарочно остановил подольше ваше внимание на этом процессе, рискуя, может быть, наскучить подробностями; но этот процесс, по-моему, служит разгадкой весьма многих подобных социальных явлений. В нем мы стоим лицом к лицу с часто повторяющимся бесполезным вопросом: может ли действительно женщина, раз павшая до разврата, сохранить в своей душе неприкосновенною всю глубину инстинктов

---

[1] фи, фу, тьфу (идиоматическое выражение, обозначающее презрение — *фр.*).

честной женщины? И он же, этот процесс, как нельзя более утвердительнее отвечает на подобный вопрос. Мало того, выясняет нам отчасти, что не крайняя испорченность удерживает всех этих погибших существ от поворота на честную дорогу, не заглушение в них навсегда, хочу я сказать, женских инстинктов, но чаще всего и даже, вернее сказать, постоянно удерживает их от того несчастное отсутствие такого толчка, который пошевелил бы в них вновь эти, по-видимому, заглохшие инстинкты.

И так как, кстати, мы уж затронули этот вопрос женского падения, то я намерен им же и заключить этот первый очерк.

Чтоб вы, читательница, не могли заподозрить меня в особенном, даже, пожалуй, неумеренном пристрастии ко всем подобным погибшим существам, я приведу сейчас другой процесс, от которого хотя и не повеет на вас даже и малейшей тенью поэзии, но который тем не менее заслуживает полного вашего внимания и столько же жизнен, как и первый. Правда, представляя совершенный контраст ему, процесс этот весьма щекотлив для изложения его печатно, но, уверенный, что дружеские наши отношения хотя несколько установились, я позволяю себе, и только на этом основании, коснуться и его, вперед прося извинения за некоторую нескромность...

Является раз в нашу камеру молодая девушка, недурная собой, и заявляет иск в двадцать рублей на какого-то господина, за проведение с нею нескольких ночей. Суд не отказал ей в просьбе, как ни была она безнравственна.

Должника вызвали, но он отказался наотрез и от своего долга, и от временной связи с просительницей. Это был очень молодой еще человек, с большими претензиями на щеголеватость и хорошие манеры.

В качестве управляющего домом, его отнюдь нельзя было считать человеком без средств. За несознанием этого франта, державшего себя в камере с необыкновенным цинизмом, суду пришлось обратиться к свидетелям.

Они были вызваны, допрошены, и смысл их показаний был до того прям и ясен, что ни на минуту нельзя было усомниться в справедливости требований просительницы.

У уличного донжуана достало, однако ж, стыда потребовать, чтоб свидетелей привели к присяге. Было сделано и это, и так как они и после присяги не изменили ни на йоту своих первых показаний, то мировой судья, руководствуясь тем, что иск был доказан, и постановил решение в пользу просительницы.

Но донжуан не остановился и на этом: он подал кассационную жалобу.

Долго убеждал его судья окончить дело примирением, с жаром объясняя ему, что не заплатить публичной женщине за ее позорный труд — все равно, что грабить на пожаре. Но ничем нельзя было прошибить ту скорлупу цинизма, которая лежала на этом барине от головы до пяток.

Съезд отменил решение мирового судьи в кассационном порядке, признав требование просительницы безнравственным.

Мы не будем разбирать здесь ни того, насколько высоконравственно такое постановление съезда, ни того, насколько безнравственен подобный иск. Но я хочу указать вам, моя дорогая читательница, на нечто другое в этом голом факте.

Посмотрим, не стоит ли и за ним если не драма, то по крайней мере намек на нее. С первого же взгляда казалось странным, что в манерах этой девушки, заявившей такую бесстыдную просьбу, незаметно было ни тени цинизма, ни чего-либо похожего на бесстыдное нахальство. Напротив, это была скромная, даже застенчивая девушка. Ее молодое, свежее личико, отличавшееся чрезвычайно изящным профилем, не носило еще на себе очевидных следов разврата, а в ее словах было столько мягкости и приличия, что ими не оскорбилось бы и самое чуткое, нравственное ухо. Во все время процесса она была в каком-то неестественном, взволнованном состоянии, попеременно бледнея и краснея, голос ее часто дрожал, а на глазах то и дело навертывались слезы. Особенно в последнее заседание она была очень взволнована.

Его приостановили на несколько минут за ожиданием священника.

Взволновавшись этим промежутком, она вышла в другую комнату, и, когда вернулась, я заметил, что черные и без того беспокойные глаза ее блестят на этот раз не совсем обыкновенно; в них засветилось даже что-то злобное, холодное, стальное...

Я полюбопытствовал тотчас же справиться у сторожей, куда она исчезала на это время; оказалось, что она посылала одну из пришедших с ней подруг за водкой, с гримасою выпила ее залпом и заметила: «Теперь маленько полегче будет...» Не спрашиваете ли вы себя мысленно, читательница, для чего она сделала это, каков был смысл только что сказанных ею слов? Мотивировалось ли в ней это движение той же испорченностью, какой можно было приписать и самую ее просьбу, или оно, напротив, вызвано было глубоким сознанием того убийственного позора, до которого она пала, прибегнув к защите суда? Я не берусь отвечать вам прямо

на эти вопросы, ибо женская натура столь глубока, что не поддается иногда самому упорному анализу, но я думаю, что вы поступили бы непогрешительнее, если б пришли к последнему из этих двух предположений... Страшно сконфуженный и в то же время бесстыдно нахальный вид ее противника вместе с его циническими ответами, в которых звучала какая-то непонятная, но возмутительная для стороннего уха насмешка и злоба, еще рельефнее выдвигали на свет те немногие черты этого процесса, которые невольно давали предчувствовать стоящую за ним драму. Я помню, каким невыразимо-глубоким презрением вспыхнуло судорожно подергивавшееся лицо несчастной женщины, когда ее противник, этот рисовавшийся герой заедания позорного женского труда, с отвратительной улыбкой заметил, в виде последнего своего возражения: «Можно ли, г. судья, верить такой женщине, когда уж она до всего дошла?» — «А что же такое вы?» — холодно спросила она его в ответ и больше не проронила ни слова. Но я желал бы лучше умереть, нежели дождаться услышать когда-нибудь из уст женщины подобный обращенный ко мне вопрос в том тоне, каким он был произнесен ею. Он, впрочем, покоробил заметно даже и этого заскорузлого молодца.

ПОПЫТКА-НЕ ШУТКА

Роман

Посвящается русской женщине

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

«A PROPOS, О СУМАСШЕДШИХ»

Вы совершенно правы, любезный доктор, или, лучше сказать, я, как профан в этом деле, не имею права с вами не согласиться; но меня удивляет, что вы такого нелестного мнения о вашей профессии: подобный отзыв редко услышишь от специалиста...

— По крайней мере, я, князь, не дерзаю относиться к явлениям этой области иначе, как с величайшей осторожностью.

— Да, да, само собою разумеется... Повторяю: я готов с вами согласиться, что «эксцентрики только до известной степени подлежат вашему исследованию; но... мне кажется, в некоторых... конечно, исключительных случаях... Однако виноват! — прежде всего, чего же мы выпьем с вами?

— Полагаю, чего-нибудь легонького; впрочем, для меня это совершенно безразлично.

— Я предложил бы, со своей стороны, распить бутылку кло-де-вужо. Вы ничего не имеете против этого?

— Да все равно, хоть кло-де-вужо.

Разговор этот происходил в Петербурге, в начале июля, часов около семи вечера, в отдельном кабинете ресторана Вольфа на Невском. Тот, которого один из собеседников называл князем, был молодой, изящный гвардеец, с белокурыми, несколько вьющимися волосами, с тонкими усиками, кокетливо завитыми кверху, почти в колечко. Он мог бы, по всей справедливости, считать себя безукоризненно-красивым мужчиной, если бы его лица не портили слишком крупные голубые глаза, с каким-то ребяческим и, отчасти, злым упрямством смотревшие исподлобья. Звали этого гвардейца князем Петром Михайловичем Львовым-Островским.

Как бы в нарочный контраст ему, другой из собеседников, называвшийся доктором, был совершенный брюнет, лет двадцати восьми, с такими строгими черными глазами, что на них трудно было смотреть долго в упор; они, казалось, сразу проникали сквозь золотые очки в самые сокровен-

ные мысли того, к кому обращались. Лицо доктора вообще не могло похвастаться особенной красивостью — оно было и неправильно, и даже несколько грубовато; но именно глаза придавали ему столько оригинальной выразительности, столько ума, что лицо надолго запоминалось, невольно тянуло к себе, невольно интересовало. Не менее своеобразной прелести придавала ему и улыбка: чрезвычайно тонкая и почти насмешливая, она начиналась где-то у глаз, чуть-чуть касалась губ и тотчас же опять пропадала, как бы теряясь в густой окладистой бороде. Впрочем, строго говоря, даже и невозможно было подметить начала или конца этой странной улыбки: она до того быстро сверкала в выразительных чертах доктора, что была почти неуловима. Однако ж рядом с нею и несмотря на молодость, в его манерах и движениях резко проглядывала не то медленность и как бы усталость, не то сановитость. Одет он был весь в черное, просто и, пожалуй, даже скромно, только на груди рубашки, отличавшейся безукоризненной белизной, ярко играли у него разноцветными лучами три брильянтовые запонки. Звали этого господина Львом Николаевичем Матовым.

Оба собеседника сидели молча, рассеянно поглядывая в окно, пока слуга ресторана не поставил перед ними бутылку красного вина и большой кусок честеру.

— A propos, о сумасшедших, любезный доктор,— весело заговорил князь, разливая в стаканы вино и как бы случайно вспомнив о чем-то,— в нашем семействе водится очень интересный субъект подобного рода...

— Да?

— Очень, очень занимательный субъект, доктор, и, главное, представьте, пользующийся до сих пор совершенной свободой...

— Каким образом? — сухо спросил Матов, лениво отрезывая себе тонкий ломтик сыру.

— Мало того,— пояснил князь, как бы уклоняясь от прямого ответа,— наш больной субъект даже распоряжается порядочной массой людей. Дело идет, любезный доктор, ни больше ни меньше, как о моей родной тетке. Тетушка эта действительно преинтересная личность. Не думайте, впрочем, что я хочу познакомить вас с какой-нибудь почтенной, дряхлой старушкой, беззубо дотягивающей свой грешный век; напротив, доктор, вы будете иметь дело с цветущей молодостью, с историей, так сказать, романтической...

— Вот как! — заметил Матов, поправляя очки.— Это начинает меня интересовать.

— И заинтересуетесь непременно. Позвольте... я вам

сейчас сочту лета моей тетушки. Она моложе меня четырьмя годами; мне теперь двадцать семь лет,— стало быть, ей... двадцать три года. Совсем, как видите, романтический возраст... А вино это, право, недурно, не правда ли?

И князь, с видом знатока, небрежно поднял свой стакан и, прищурившись, посмотрел сквозь него на свет.

— Вы уж позвольте мне начать мою историю о тетушке, так сказать, с самого начала,— продолжал он, прихлебнув несколько раз из стакана.— Надо вам заметить, что у деда моего по матери, Александра Николаевича Белозерова, все семейство состояло из жены и двух дочерей; наследников мужского пола не было. Старшая дочь Белозеровых, Наталья Александровна, вышла впоследствии замуж за моего отца, князя Михаила Львовича Львова-Островского, а младшая, Евгения... она-то и есть, так сказать, субъект, подлежащий нашему исследованию, любезный доктор. Старики Белозеровы (то есть собственно он сам, а она-то была простая сибирячка, чуть ли даже не из мещанского звания) унаследовали очень большое родовое состояние. Жили они безвыездно в своем имении, вели себя отъявленными домоседами, но принимали у себя на барскую ногу множество гостей всевозможного калибра, начиная с губернатора и не брезгуя даже каким-нибудь волостным писарем. Вообще у них в доме лежала на всем какая-то своеобразная печать мещанства или, еще вернее, нравственного неряшества, распущенности. С того времени, как я стал помнить себя, они не очень-то жаловали нашу фамилию; мне даже и теперь еще непонятно, каким образом мог состояться брак между моим отцом и матерью при таких, по-видимому, неблагоприятных условиях. Особенно не благоволила к нам Евгения Александровна — моя героиня. Надо вам сказать, доктор, что это была в высшей степени капризная, взбалмошная девочка, избалованная до последней крайности. Будучи еще семилетним ребенком, она уже питала какую-то глупую вражду к нашему, соглашаюсь вперед, далеко не прекрасному полу: выйдет, бывало, в гостиную и, как только увидит мужчину,— сейчас же топнет ножонкой и убежит. В двенадцать лет Евгения Александровна откалывала, батюшка, с нами такие штуки, что за них приходилось краснеть иногда даже и нестыдливому человеку. Для примера расскажу вам один случай, бывший со мной. Раз как-то, именно в этот период ее возраста, Белозеровы давали у себя большой обед на открытом воздухе в саду. Мне только что исполнилось тогда шестнадцать лет, я был еще воспитанником пажеского корпуса и приехал погостить к ним в де-

ревню на вакационное время. Женя (так обыкновенно звали в ту пору мы, домашние, младшую Белозерову) сидела за столом vis-à-vis со мной и все время обеда вела себя, против обыкновения, как-то уж чересчур смирно и прилично. Шутя, я раза три приставал к ней с вопросом: отчего она так притихла сегодня? Женя, однако ж, молчала и только выразительно сверкала на меня своим злым взглядом, который я как сейчас помню. Но во время десерта, когда я обратился к ней с тем же вопросом уже в четвертый раз, она, вся покраснев, проговорила сквозь зубы: «Ведь я же вас не спрашиваю, Пьер, отчего вы всегда бываете таким дураком!» Меня, как мальчугана, разумеется, это сконфузило, да и взбесило порядком; но, желая разыграть из себя роль вполне взрослого человека, я постарался подавить в себе досаду и сказал спокойно, как только мог: «Хорошо, Женя, докажи же мне, что ты действительно умница; помиримся!» — «Доказывают свой ум только такие, как вы!» — заносчиво возразила она. В эту минуту обед кончился, гости стали шумно вставать из-за стола, и Женя убежала вместе с дамами, которые отправились на балкон пить кофе. Немного погодя пошел туда и я. Как вы думаете, доктор, за каким оригинальным занятием застал я там моего маленького врага? Вот уж ни за что не угадать-то вам! Я нашел этого дикого зверька притаившимся за каким-то густым растением, в уголку балкона. Женя держала в одной руке мою щегольскую новенькую фуражку, а в другой — ножницы и преспокойно разрезывала ее на мелкие кусочки. Я чуть не задрожал от злости, зная, что в деревне неоткуда достать другую такую фуражку, но опять сдержал себя и только спросил: «Что ты это делаешь, Женя?» — «Доказываю свою глупость»,— сказала она, не поднимая на меня глаз и невозмутимо продолжая свое занятие. Тут нам немного помешали. Женя небрежно швырнула фуражку и ножницы за ближайшую вазу, неторопливо вышла из угла и чинно уселась между дамами как ни в чем не бывало. Такое хладнокровие вывело меня наконец из терпения. Я поднял мою несчастную фуражку и тотчас же надел ее на голову растерявшейся девочки. Мне удалось сделать это так ловко, что движение мое сразу было замечено всеми, и я нарочно громко сказал: «Ты, вероятно, желала иметь, Женя, на память обо мне лоскуток сукну от моей фуражки? Возьми же: я дарю тебе ее целиком. Полно, помиримся!» — прибавил я ласково, видя, что у нее на ресницах дрожат слезы. При этом я хотел было взять ее за руку. Она быстро отдернула свою руку и вдруг ни с того ни с сего ударила меня по щеке,

да так больно, что я едва мог опомниться... Но, право, доктор, вы очень лениво пьете ваше вино, а мне, как нарочно, припала охота распить еще бутылку...

Серьезное лицо Матова сверкнуло его обычной, неуловимой улыбкой.

— Пожалуйста, продолжайте, князь,— попросил он вместо ответа.— Ваша необыкновенная тетушка решительно заинтриговала меня уже теперь. Дальше, вероятно, будет еще интереснее.

Князь Львов-Островский молча позвонил.

— Подай еще сюда бутылку такого же вина,— обратился он к вошедшему слуге.

— Так вот-с, каков был этот субъект в двенадцать лет,— продолжал князь, залпом допив свой стакан и повертывая его между пальцами.— И ведь представьте, взбалмошную девочку даже не наказали за подобную выходку; мне же еще и выговор сделали, зачем я к ней приставал...

В голосе рассказчика послышалось легкое раздражение.

— Вы действительно были отчасти и сами не правы,— заметил Матов.

— Да, да, разумеется, я был не совсем прав,— поспешил согласиться князь.— Можешь идти,— обернулся он к слуге, поставившему в эту минуту на стол новую бутылку вина и ожидавшему, по-видимому, дальнейших приказаний,— я позвоню, если нужно.

Слуга торопливо вышел.

— Дело в том, любезный доктор, что, сделай она то же самое кому-нибудь другому, а не мне, ее непременно, по крайней мере, удалили бы за такую штуку с балкона в детскую,— снова заговорил князь Львов-Островский, подливая вина Матову.— Вот до чего простиралось враждебное отношение Белозеровых к нашему семейству; я только потому и упомянул о безнаказанности. С того времени или, лучше сказать, с того до сих пор памятного мне лета я никогда больше не посещал уже их дома, точно так же, как и мой отец; матушка только ездила к ним раз в имение, и то по своим делам. От нее мы узнали, что прекрасные качества Жени, несмотря на пошедший ей тогда пятнадцатый год, принимают все более резкий и далеко уже не столь безопасный характер; над ним стали призадумываться теперь даже ее снисходительные родители. Так, например, она пропадала иногда бог весть куда на целый день из дому, водила какие-то странные отношения с заводскими рабочими и даже, говорят, раза два ночевала на покосе вместе с бабами и мужиками, откуда уже в третий раз при-

нуждены были, наконец, увести ее насильственно домой. Мало того...

— Извините, я перебью вас на минутку,— сказал Матов.— Вы сейчас упомянули о заводских рабочих, стало быть, у Белозеровых тут же в имении был и завод?

— Да, да, большой железный завод.

— В какой же это местности? — полюбопытствовал доктор.

— Вот и видно сейчас, что мне никогда не суждено быть сколько-нибудь сносным беллетристом, хотя с детства я питал сильную наклонность к этому искусству,— весело засмеялся князь,— совсем позабыл описать вам место действия моего рассказа, а ведь это, кажется, требуется прежде всего. Видите ли, любезный доктор, Белозеровы жили в имении, селе Завидове или Завидовке, как попросту его называют там, а собственно завод их находится в полуверсте от него. Разве вы никогда не слыхали о Завидовском железном заводе?

— Не помню что-то; может быть, и слыхал.

— Он, впрочем, только с недавнего времени получил известность, благодаря тому образцовому устройству, в какое привел его пред смертью мой покойный дед.

— Однако, князь, вы все-таки не пояснили мне, где же, наконец, находится этот завод? По крайней мере, в какой губернии? — сказал, улыбаясь, Матов.

— Положительно я выпил сегодня лишнее за обедом,— расхохотался князь еще веселее,— иначе это вино не могло бы подействовать так сильно на мою память и логику. Обстоятельство непростительное, но мы сейчас поправимся. Знайте же, доктор, что наше родовое гнездо свито за Уралом, там, где, так сказать, кончается Европа и начинается Азия, а говоря проще — в Медведевском уезде Каменогородской губернии!

Львов-Островский проговорил всю эту тираду с какой-то неестественной, шутливой торжественностью.

— Так вот где, за Уралом! — протяжно повторил доктор, как бы размышляя о чем-то.— Теперь я совершенно удовлетворен и попрошу вас продолжать,— поспешил он прибавить, выходя из раздумья.— Что вы давеча сказали: «мало того»?

— Да! — вспомнил князь.— Насчет тетушки-то я хотел сказать, что за ней водились в то время еще и не такие проказы, как ночевание с бабами на покосе. Матушка моя уверяла, со слов самого Белозерова, что его прислуга не раз была свидетельницей, как из окна спальни Жени улепеты-

вал на рассвете какой-то молодой парень, которого, к сожалению, никак не могли изловить...

— Но согласитесь, князь, все это не имеет пока ничего общего с умопомешательством,— живо перебил Матов.

— Вам, как специалисту, гораздо лучше моего известно, доктор, что болезни подобного рода обнаруживаются во всей своей силе не вдруг и что психиатру необходимо знать все, что им предшествовало и так или иначе намекало на них,— еще живее и даже с некоторой обидчивостью возразил князь, как будто замечание Льва Николаевича укололо его.

— Совершенно справедливо,— спокойно согласился с ним Матов.— Прошу вас продолжать и извинить меня, что я несколько поторопился заключением.

— Именно поторопились, любезный доктор,— по-прежнему весело подхватил Львов-Островский, прихлебывая из стакана.— Не буду передавать вам многих других подробностей странного поведения моей тетушки, свидетельствующих, может быть, только об ее эксцентричности, а прямо перейду уже к таким серьезным фактам, которые, мне кажется, должны будут вывести вас из сомнения насчет умственного расстройства этой особы. В одно прекрасное зимнее утро, как выражались прежние романисты, Евгения Александровна нежданно-негаданно пожаловала лично сюда, в Петербург, прямо в квартиру моего отца. Я никогда не забуду ни ее больше чем небрежного костюма, ни того безумного выражения ее больших темно-карих глаз, с каким она лихорадочно передавала матушке, как и зачем приехала в столицу. Рассказ тетушки был до такой степени темен и сбивчив, что сразу никто не мог понять, чего, собственно, она от нас хочет. Наконец кое-как выяснилось, что Евгения Александровна отпущена родными для лечения за границу с одним почтенным семейством, которое хорошо знали и мы; что дорогой тетушка случайно потеряла свой вид, по которому ей следовало получить здесь заграничный паспорт, и что теперь она решительно не знает, как выпутаться из такой беды. Надо вам заметить, доктор, что Женя была в то время уже шестнадцатилетней девицей и что она явилась к нам в дом не одна, а в сопровождении будто бы господского лакея того семейства, с которым ей предстояло ехать. При подробных расспросах моего отца, в особой тайной аудиенции, лакей этот, в свою очередь, очень обстоятельно объяснил, что господа его вместе с барышней (то есть с Женей) приехали из Москвы вчера вечером, а сегодня с первым утренним поездом выехали

по Варшавской железной дороге в Ковно, куда им нужно было зачем-то поспеть к сроку, и что там именно они и будут ожидать барышню. «Оне, должно полагать, страдают немножко головой,— выразил он, между прочим, свое мнение о тетушке,— в Москве сколько докторов у нас перебывало, все их осматривали да расспрашивали». На вопрос отца: «Есть с Евгенией Александровной деньги?» — спутник ее так же обстоятельно отвечал, что «настоящие-то деньги, собственно, хранятся у господ», а ему «отпущено на всякий случай триста рублей; только этих денег выдавать на руки барышне не велено ни под каким видом», и он тут же показал их покойному князю. Кроме того, лакей этот предъявил ему и свой заграничный паспорт, выданный за неделю перед тем на имя крестьянина Петра Лаврентьевича Терентьева. «А кто же хлопотал здесь о твоем виде?» — спросил отец. «Да барин сами приезжали сюда на сутки за этим делом; а барышниного паспорта спохватились у нас, почитай, накануне самого отъезда из Москвы: нигде не могли отыскать. У них и расписочка есть от полиции». Таков именно, помню, был ответ бойкого лакея. Вообще не знаю почему, но у меня запечатлелось тогда в памяти каждое его слово, и я сейчас бы узнал это молодое умное лицо, если бы мне только показали его. Относительно «расписочки» обратились за справкой к самой тетушке. У нее действительно оказалось формальное удостоверение московской полиции в том, что дочь потомственного дворянина Евгения Александровна Белозерова лично предъявила туда письменное заявление о потере ею бессрочного паспорта, выданного ей отцом на свободное проживание по всей Российской империи и за границей. Покойный князь, отец мой, был человек необыкновенно самолюбивый, гордый и до крайности щекотливо относившийся ко всему, что касалось его родни, хотя бы даже и дальней. И в настоящем обстоятельстве, по его мнению, дело шло ни больше ни меньше, как о нашей семейной чести. Несмотря ни на какие просьбы матушки, он упрямо и наотрез отказался прибегнуть к дальнейшим справкам. Благодаря своим крупным связям в Петербурге, ему удалось дня через два, через три выхлопотать тетушке заграничный паспорт; только необходимо было при этом поручиться письменно за старика Белозерова, что он действительно отпускает дочь...

Князь приостановился на минуту рассказом, долил свой неполный стакан и сразу отпил из него половину.

— Теперь, любезный доктор,— начал он снова, тяжело переводя дух,— мы, так сказать, приблизились к развязке.

Можете вы себе вообразить, какой переполох поднялся у нас в семье, когда месяца через два после этого матушка получила страховое письмо из Завидова, извещавшее ее в самых горестных выражениях, что Женя убежала из дому и пропала без вести! Да, доктор, все оказалось бредом помешанной: и потеря паспорта, и почтенное семейство, уезжавшее за границу, и... одним словом, все; только и уцелел, как не призрак, ливрейный лакей. Это был, вероятно, какой-нибудь негодяй, обольстивший тетушку и подбивший ее на всю эту чепуху, чтобы ловчее выманить у нее деньги. Я подозреваю даже, уж не он ли и путешествовал к ней по ночам в спальню через окно. Как бы то ни было, история эта наделала в свое время больших хлопот моему отцу. Он и матушка, я помню, едва уломали Белозеровых, приехавших вскоре сюда, чтоб они предали все это дело, как говорится, воле божьей. Старики, впрочем, недолго и жили после того, всего каких-нибудь года три: семейное горе разом доконало их обоих. В том же году (это был вообще какой-то фатальный год для нас) я лишился сперва отца, а через несколько дней похоронил и матушку: тогда свирепствовала сильная холера здесь. Для меня в то время как-то опротивело все. Чтоб хоть немного рассеяться, я уехал служить на Кавказ. Между тем имение Белозеровых, до истечения законных сроков вызова наследников, поступило в опеку. В вихре удалой кавказской жизни мне, разумеется, было не до того, чтоб справляться об этих сроках; вдобавок к тому же (кто этим не грешил, доктор!) я безнадежно влюбился там, так что тетушка и Завидово совсем вышли у меня из головы. Наконец в январе месяце нынешнего года, перейдя на службу сюда, я узнаю вдруг, что моя почтенная родственница чуть ли не полтора года уже как преспокойно хозяйничает в родовом отцовском имении! После четырехлетнего отсутствия, в которое о ней, как говорится, не было ни слуху ни духу, она, однако же, бог весть как и откуда явилась к сроку и в качестве прямой законной наследницы вступила во владение имуществом моего покойного деда. Конечно, будь я в то время здесь, я непременно расстроил бы это дело! — с энергией заключил рассказчик, слегка стукнув кулаком по столу.

— Как «расстроили бы», князь? — спросил Матов и посмотрел на собеседника в упор.

Львов-Островский как будто смешался немного.

— Помилуйте, доктор! — заговорил он с горячностью, какой прежде не замечалось в нем.— Да разве по нашим законам сумасшедшие владеют имуществом? Наследуют?..

Вы, кажется, намерены возразить мне? Я знаю, что вы хотите сказать... Позвольте... Теперь у меня нет уже ни малейшего сомнения, что тетушка моя помешана: очень недавно еще один приезжий из Урала рассказывал про нее такие вещи, какие может проделывать только особа в подобном состоянии. Она, например, сорит на баб деньги, как щепки, не принимает у себя никого из мужчин, кроме управляющего заводом, затевает, все для баб же, какие-то безумные постройки в селе, а на деле между тем боится истратить лишнюю копейку; даже отказала местному священнику в просьбе ремонтировать на свой счет крайне ветхую сельскую церковь. «Это уж, говорит, дело совести крестьян: как они знают, так пусть и делают». Кроме того, Евгения Александровна вот еще чем занимается: стрельбой в цель и охотой. То и дело, говорят, в комнатах моей тетушки раздаются выстрелы револьвера... Ну, скажите, доктор, разве это не помешательство?

— В таких случаях весьма трудно судить заглазно,— скромно выразил свое мнение Матов.

— Соглашаюсь, любезный доктор, что трудно; но если вам скажут, что такой-то человек берет пищу ногами, а ходит на руках, то что вы о нем думаете?

— Что же? Ему, может быть, так удобнее.

— Но после этого, доктор, где же вы прикажете искать настоящее умопомешательство? — горячился князь.

— Там, полагаю, где совершенно утрачена логика мыслей и действий. Ведь вы не назовете же оригинала или фанатика прямо сумасшедшим,— спокойно ответил Матов.

— Это что-то уж чересчур снисходительная теория...— иронически рассмеялся Львов-Островский.

— Да, но в противном случае пришлось бы запереть в сумасшедший дом каждого, кто хоть сколько-нибудь выдается вон из ряда; лучшие люди оказались бы там же. Наконец, придерживаясь вашей точки зрения, я мог бы подумать в настоящую минуту, что вы и сами, князь, помешаны в том, что ваша тетушка — сумасшедшая...— холодно возразил доктор.

Князь принужденно засмеялся.

— В вашем присутствии и при вашей снисходительности, доктор, меня не пугает это открытие,— сострил он не то любезно, не то с легкой насмешкой.

— Шутки в сторону,— сказал серьезно Матов.— Могу ли я откровенно предложить вам, князь, один из тех вопросов, которые обыкновенно принято в обществе называть нескромными?

— О, сделайте ваше одолжение!

— Не заинтересованы ли вы лично юридически в положении вашей тетки? Или вы просто исходите из общих соображений, относитесь к этому делу как посторонний человек? — спросил доктор, опять смотря на собеседника в упор.

Князь немного замялся.

— Да как вам сказать? — проговорил он, облокотясь на кресло и закрывая правой ладонью лоб.— Да, пожалуй, я заинтересован здесь лично. Покойная княгиня, мать моя, не была выделена при выходе замуж; она получила в приданое сравнительно только небольшую сумму наличных денег. У Белозерова, как я и пояснил вам, было родовое состояние, прямых наследников мужского пола не оказывалось, и потому оно должно было перейти в руки Евгении Александровны, а в случае ее смерти или гражданской неправоспособности — в наш род, единственным представителем которого считаюсь теперь я. Таким образом, если тетушка моя действительно помешана, то, помимо уже всяких других соображений, на мне, так сказать, лежит нравственная обязанность позаботиться о том, чтоб родовое достояние моего деда не было разбросано на ветер безумными руками.

Матов с напряженным вниманием слушал князя, не спуская с него ни на минуту своих выразительных глаз.

— Конечно,— сказал он, немного подумав,— вы тут непосредственно сами заинтересованы. Но разве административное признание правоспособности за вашей тетушкой, выразившееся во вводе ее во владение, не вполне достаточная гарантия для вас?

— Ах, боже мой, доктор! — нервически улыбнулся князь, пожав плечами.— Разве вы не знаете, как у нас совершаются обыкновенно все эти так называемые вводы во владение... Впрочем, я нисколько не намерен надоедать вам такими сухими вещами,— поспешил он прибавить любезно.— Это даже совсем и не относится к тому, чем я хотел поделиться с вами как с психиатром... Перемените, пожалуйста, разговор: одно и то же наскучит. Вы, кажется, говорили давеча за обедом, что предполагаете скоро уехать отсюда,— далеко, доктор?

Лев Николаевич медленно поправил очки.

— Вообразите, князь! — пояснил он с неуловимой иронией.— Мне, быть может, предстоит личное знакомство с вашей тетушкой...

Изумление, смешанное с какой-то досадой, отчетливо выразилось на лице князя, и глаза его невольно отвернулись от пристального взгляда Матова.

— В таком случае поздравляю вас, любезный доктор,—

принудил он себя рассмеяться, будто бы добродушно.— Вы будете иметь редкий экземпляр для вашей практики. В самом деле, вы едете в ту сторону?

— Да, еду. Мне хотелось бы немного прокатиться по России, прежде чем я получу какую-нибудь оседлость: в четыре года заграничной жизни я несколько отвык от родины. Теперь представляется хороший случай сделать это без особенных затрат: у меня есть разом два поручения туда — от географического общества и медицинского департамента.

— Я сам думаю съездить нынешней зимой за Урал,— сказал Львов-Островский, теперь вполне овладев собою.— Вышло бы очень мило, если бы мы оказались спутниками; я, по крайней мере, не желаю иметь лучшего товарища в такой дальней дороге, чем вы, любезный доктор, и если только...

— К сожалению,— вежливо перебил его Матов,— спутничество наше, кажется, не может состояться: я должен выехать на днях же.

— Да, это жалко,— повторил князь, допивая последний глоток вина.

Они немного помолчали, как бы затрудняясь продолжать разговор.

— Завтра я переезжаю, доктор, на дачу в Павловск,— заговорил снова Львов-Островский, очевидно, только для того, чтобы сказать хоть что-нибудь.— Вы поступили бы совсем обязательно, если б до отъезда собрались ко мне на денек подышать чистым воздухом.

— Благодарствуйте, князь. Не обещаю: у меня предвидится столько хлопот впереди, что я вряд ли успею справиться даже с ними,— деликатно пояснил доктор, вставая с места.

Львов-Островский тоже встал и нетерпеливо позвонил. Лев Николаевич хотел было сам расплатиться с вошедшим слугой, но князь с утонченной любезностью устранил от этого своего собеседника.

— Разве вы не хотите, доктор, чтоб я был вашим бесцеремонным гостем за Уралом? — спросил он, вынимая бумажник и расплачиваясь.— Вероятно, увидимся там с вами?

— Очень может быть,— холодно согласился Матов.

Молодые люди молча вышли из комнаты и так же молча спустились с лестницы на Невский.

— Не по пути ли нам? — осведомился Львов-Островский, останавливаясь посреди панели и надевая перчатки.— Мне налево.

— *А мне* — направо. Прощайте, князь! — сказал Матов, не совсем охотно протянув ему руку.

Львов-Островский обязательно пожал ее обеими руками.

— Может быть, встретимся еще и здесь,— заметил он на прощанье.— На всякий случай, желаю вам полнейшего успеха у моей тетушки. До свиданья, доктор!

И они разошлись в разные стороны.

Глава II

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ МАТОВ

Почти месяц спустя после этого разговора, а именно в первых числах августа, по большому Московскому тракту в Сибирь переваливал уже через Урал и, вступая в пределы Медведевского уезда, ехал обыкновенный, казанской работы, тарантас, запряженный почтовой тройкой. В тарантасе дремотно полулежал, то покуривая папироску, то насвистывая от скуки мотивы из любимых опер, уже известный читателю Матов.

— А что, приятель! — обратился он вдруг к ямщику, потревоженный каким-то неожиданным толчком.— Далеко еще до Завидова?

— Да верст двенадцать, надо быть, все будет,— пояснил тот.

— Ты, я думаю, часто там бываешь, хорошее это село? — полюбопытствовал доктор.

— Как нам не бывать! Известно, село богатое.

— Не знаешь ли, где бы мне там остановиться? — спросил Лев Николаевич, предложив ямщику закуренную папироску, а сам зажигая от нее сигару.

— Вам квартеру, что ли, надо? А то можно и на станции постоять, коли тебе не надолго, суток трое-четверо можно. Он тут же, в самой Завидовке, и будет, значит, станок-то.

— Нет, мне бы на квартире хотелось остановиться.

— Тогда тебе, видно, к Миките Петровичу доведется встать; я, пожалуй, свезу,— можно.

— А кто такой Никита Петрович? — осведомился доктор.

— Балашев, мещанин тамошний, постоялый двор держит; а только у него и чистые покои есть. Тебе у него ладно будет: старик он теперече как есть на все село известен, потому — умнющая голова.

— Так вот ты меня к нему и свези.

— А вам по каким делам туды? По казенным али по

частным? — несколько подозрительно спросил, в свою очередь, ямщик.

— По собственным делам,— коротко и успокоительно пояснил Матов.

— Све-езем, ничего, можно; он же мне сродни доводится.

Ямщик бойко прикрикнул на лошадей, и тройка дружно помчалась во всю рысь, звонко заливаясь своими валдайскими колокольчиками. Прислушиваясь к этим монотонным, то убаюкивающим, то как-то надоедливо тревожащим ухо звукам, Лев Николаевич никак не мог сосредоточиться на одной какой-нибудь определенной идее; мысли его совершенно беспорядочно перескакивали с предмета на предмет без всякой связующей последовательности. Вот забежали они в далекое прошлое. Доктору живо рисуется обширная комната, все уставленная массивною мебелью со множеством старинных книг, разбросанных на полу и где только можно. В углу, у закрытого ставнем окна, на потертом вольтеровском кресле угрюмо сидит, медленно покачиваясь взад и вперед, помешанный старик высокого роста, с всклокочёнными седыми волосами. У другого окна, напротив, с латинской книгой в руках, озабоченно приютился задумчивый мальчик с выразительным, подвижным лицом; от времени до времени он украдкой отдергивает соломенную гардину и жадно всматривается в глубину обширного сада, ярко освещенного полуденными лучами. Глаза сумасшедшего неподвижно уставились на мальчика. «Лева!.. Лев! не смотри на солнце: это строжайше запрещено законами!» — явственно звучит в ушах Матова знакомый суровый голос. Лев Николаевич широко раскрывает дремлющие глаза и удивленно осматривается по сторонам пыльной дороги. «Я, кажется, делаю величайшую глупость, что еду в то Завидово, точно школьник на елку, рассчитывая получить какой-то необыкновенный сюрприз вместо обычной, ярко раскрашенной конфеты... Что за чепуха такая!» — думается ему между тем, и он машинально прислушивается к неумолкаемому звяканью колокольчика. И вот уже новый призрак тревожит воображение Матова, с неудержимой силой воплощаясь перед его закрытыми глазами: рисуется ему дорогой образ страдалицы матери, так недавно еще зарытой чужими руками в преждевременную могилу. Бледная и исхудалая, как бы подкошенная каким-то зловещим недугом, но все еще прелестная, все еще гордая и пылкая, эта женщина воочию стоит теперь перед сыном и смотрит на него своими большими грустными глазами.

«Ты всегда будешь стоять за наши права... за человеческие права твоей матери, не правда ли, Лев?» — говорит она мягко и симпатично, и ее кроткий, но твердый голос как-то неотразимо проникает в душу. «С какой стати мог я позволить себе такую сумасбродную мысль? Желать непременно познакомиться с женщиной, которой ни разу не видывал в глаза, думать, что встретишь в ней какую-то исключительную, натуру... да ведь это даже на школьника не похоже! Это просто болезненный бред расстроенного воображения! Зачем же я еду, спрашивается?» — совершенно неожиданно обратился к себе с вопросом Матов, но не нашел в голове никакого подходящего ответа. Впрочем, не прошло и минуты, как эти представления уступили место другим: словно в волшебной панораме, стали проходить теперь перед доктором знакомые заграничные города, знакомые улицы; мелькнуло чье-то задумчивое женское личико с темно-карими глазами, как из земли вырос молодой, стройный, с жаром излагающий свою науку профессор с целой аудиторией прикованных к нему глазами восторженных слушателей, и все это как-то беспорядочно слилось, как-то узловато перепуталось и с звуками валдайских колокольчиков, и с бойкими покрикиваниями ямщика, и со стуком колес... словом, с окружающей действительной обстановкой. «Нет!.. дорога решительно расстроила мои нервы»,— неприятно думает Лев Николаевич, стараясь приободриться и нарочно для этого закуривая сигару. Но она очень скоро потухла у него в зубах; беспорядочные грезы снова овладели им и томили доктора до тех пор, пока окончательно не усыпили его.

Так как Матову предстоит одна из самых видных ролей в предлагаемом рассказе, то мы и воспользуемся настоящей минутой, чтоб несколько ближе ознакомиться с этой личностью в ее прошедшем до того момента, когда она в первый раз выступает действующим лицом в нашей сцене. Отец Льва Николаевича, женатый в ранней молодости на польке, сперва несколько лет сряду читал в качестве профессора патологическую анатомию в одном из русских провинциальных университетов; потом переехал на постоянное жительство в другую губернию, где и дотянул кое-как печальный остаток своей разбитой жизни. Это был немножко чудак, но честнейший человек и добросовестный ученый, оставивший по себе самое теплое воспоминание в своих многочисленных слушателях. Переселение губительно подействовало на организм почтенного профессора; он стал чрезвычайно угрюм, начал сильно пить и наконец почти помешался на

той мысли, что «смотреть на солнце — строжайше запрещено законами». Во всем остальном бывший руководитель молодежи почти ничем не обнаруживал своей ужасной болезни и даже продолжал по-прежнему весьма усердно помогать учиться единственному сыну; только в некоторые минуты находили на профессора какие-то своеобразные припадки желчи и раздражения.

Ванда Станиславовна Матова, красавица по наружности, была истая полька по духу. Она, например, никогда не могла простить себе, что вышла замуж за человека не своей национальности, хотя до последних дней питала к профессору глубокое чувство. Гордая и пылкая по натуре, к тому же в высшей степени впечатлительная, Ванда Станиславовна выше всего на свете ставила свою личную независимость, если только это не противоречило тем заветным интересам, для которых Матова охотно готова была жертвовать всем. Немного, правда, было у нее таких интересов, но она умела стоять за них грудью. По собственному признанию Ванды Станиславовны, она бывала «весьма опасным снарядом для себя и для других», когда в ней, как она выражалась, «сидел польский бесик». Но блестящий, начитанный ум и необыкновенный светский такт выручали ее нередко даже и в таких случаях, когда другому на ее месте пришлось бы очень плохо. Жалкое, необеспеченное положение женщины было для Матовой роковым вопросом, стоившим ей жизни. Эта самоотверженная личность положила на него всю свою душу, потратила всю свою энергию, но, конечно, если и успела сделать кое-что, то все-таки не достигла и сотой доли желаемого. Отказавшись мало-помалу от своих лучших надежд дома, не находя даже и за границей крупного брожения женской мысли, Ванда Станиславовна, глубоко уязвленная в самое больное место души таким безотрадным положением вещей, перенесла теперь всю роскошь своей пылкой, превосходной натуры на любимого сына. Но это не могло уже восстановить надломленных сил Матовой, не могло вернуть ей грубо разогнанных грез; она заметно таяла как воск, «сама себя жгла», как выражались о ней близко знавшие ее люди.

Таким образом, Лев Николаевич рос и воспитывался под двойным влиянием — отца и матери. Первое из них было особенно сильно в то время, когда профессор находился еще во всей силе своих умственных способностей, а Ванда Станиславовна, вся поглощенная лихорадочной борьбой на пользу женского дела, обращала слишком мало внимания на сына или, лучше сказать, не находила достаточно свободного вре-

мени на это. Зато с тех пор, как выяснилось ненормальное состояние ее мужа, Матова почти исключительно занялась мальчиком, и ее влияние на него уже значительно пересилило отцовское. Но и то и другое едва ли не в одинаковой мере полезно действовало на живой, восприимчивый ум Левы. Если, с одной стороны, отец внушал ему спокойное, отрезвленное наукой отношение к явлениям действительной жизни, то с другой — пылкая натура матери на каждом шагу давала чувствовать себя сыну, развивая в нем горячее стремление помочь этой жизни. Все это, конечно, передавалось мальчику постепенно и в более доступных формах, но смысл сказанного всегда выходил один и тот же. В том-то именно и заключалось главное воспитательное достоинство этих двух светлых личностей, что они не навязывали ребенку своих убеждений и предоставляли ему совершенно свободный выбор между ними. Таким образом у Левы прежде всего вырабатывалось полнейшее беспристрастие в мире мысли: он мог, подобно пчеле, с любого цветка собирать мед. Прямым последствием такой системы воспитания явилась сперва стойкость собственных убеждений Льва Николаевича, а отсюда уже непосредственно вытекла его нелицеприятная терпимость относительно чужих мнений.

В детстве, лет до десяти, до одиннадцати, Лева был очень бойкий мальчик. Отцу приходилось следить за ним тогда, как говорится, во все глаза. Энергия и настойчивость являлись в этот период возраста преобладающими чертами в характере ребенка; когда он задумывал что-нибудь, то уж исполнял непременно, если только не представлялось к тому каких-либо неодолимых препятствий. Так, однажды Лев захотел узнать, что происходит во внутренности живой курицы. Сперва он пристал с расспросами к отцу; не очень ясное, по-видимому, объяснение профессора не удовлетворило мальчика; ему нужно было не на словах только, а наглядно удовлетвориться в том, что он не знал. Больших нравственных усилий стоил Леве этот кровавый, отталкивающий подвиг, но ребенок все-таки совершил его без посторонней помощи. «Хороший анатом будет»,— весело рассмеялся профессор, узнав от встревоженной и отчасти негодующей жены, каким жестоким истязаниям подверглась ее любимая желтая курочка. Ванда Станиславовна узнала, впрочем, эти подробности не от прислуги, а от самого сына, наивно и с детским восторгом передавшего ей свои наблюдения после ужасной операции. Тем не менее рассказанный случай очень сильно подействовал на живое воображение мальчика: он, уже долгое время спустя, все еще не мог равнодушно видеть

жареной птицы и, хотя это было его любимое блюдо, постоянно отказывался от него.

Начиная с двенадцати лет обычная бойкость Левы стала постепенно пропадать, уступая место какой-то неопределенной задумчивости. С помешательством профессора перемена эта приняла в мальчике довольно серьезные размеры и не на шутку встревожила Ванду Станиславовну. В то время ее особенно поражало иногда удивительное сходство сына с ее мужем. Действительно, Лева и прежде казался вылитым отцом в миниатюре, но теперь это сходство как будто еще усилилось одной выдающейся чертой: со времени болезни профессора его ни разу не видали улыбающимся, и в редких случаях он только нервически кривил губами; Лева тоже почти перестал улыбаться настоящей улыбкой, и такое же нервное подергивание губ замечалось у него довольно часто. «В нем только и есть моего — глаза!» — с резкой болью в сердце думала подчас Матова, украдкой наблюдая за сыном. Хотя и с большим трудом, ей удалось, однако ж, при помощи школьных товарищей Левы достичь понемногу того, что мальчик стал смотреть наконец гораздо веселее: его то и дело незаметно развлекали, стараясь не давать ему слишком сильно зарываться в книги, до которых он был страстный охотник. Благодаря всем этим усилиям, а главное — личному, горячему и разумному участию матери, Лева к концу гимназического курса развернулся хотя и в серьезного, но очень милого юношу с самыми богатыми задатками для дальнейшего развития на любом поприще.

Теперь-то именно и выпал на долю Ванды Станиславовны самый трудный вопрос: каково же должно быть это поприще? В частых задушевных беседах с сыном ей, правда, выяснилось, что он желает идти по отцовской дороге. Но у самой Матовой вовсе не лежало сердце к подобной профессии. Однако ж, как женщина развитая, она в то же время очень хорошо понимала, что задерживать такое естественное влечение было бы неразумно, да, пожалуй, и опасно. Ей, значит, оставалось только указать добросовестно сыну, какие еще могут предстоять ему другие обязанности в жизни, взвесить, сообща с ним, их нравственные выгоды и невыгоды для него, а во всем остальном положиться уже исключительно на молодые силы формирующегося человека. Ванда Станиславовна так именно и поступила. Месяца через два после кончины мужа, которая как раз совпала с окончанием Левою гимназического курса, Матова уехала в Петербург и там, на свой счет, определила сына в медицинскую академию. Пять лет, проведенные им в этом заведении, были

до сих пор лучшими годами в жизни Льва Николаевича. С каким наслаждением возвращался он, бывало, с лекции домой, в скромную, уютную квартирку на Выборгской стороне, где его всегда ожидала теплая умная беседа с другом матерью либо волновал горячий спор за стаканом чаю с избранным товарищем! Да! Никогда не забудет Матов этих светлых, мирных лет: ведь они выпадают на долю только немногих счастливцев... Все это время пылкая, непосредственно воспринятая от матери юная натура Льва Николаевича находилась как бы в какой-то девственной дремоте: он не волновался, как волнуется обыкновенно молодежь при виде всякого, мало-мальски хорошенького женского личика; для Матова даже как будто и не существовало других женщин, кроме Ванды Станиславовны. Между нею и сыном установились теперь самые дружеские, самые откровенные отношения.

— Не нравится ли тебе кто-нибудь, дружок? — спрашивала она иногда, лаская его.

— Нет, милая мама, никто пока не нравится,— был обычный ответ Матова.— Вот если б я мог встретить такую женщину, как ты, я непременно полюбил бы ее от всего сердца.

И Лев Николаевич задумчиво прислонялся, бывало, головой к плечу матери, а та проводила рукой по его мягким волосам и, смеясь, говорила:

— Какой ты у меня оригинальный мальчик, Лев!

Быстро протекли для Матова эти незабвенные годы. Окончив курс в академии со степенью лекаря, он с полгода с успехом занимался независимой практикой, посвящая ее больше беднякам и в особенности студентам. Лев Николаевич не имел печальной необходимости стеснять себя в выборе пациентов: у Ванды Станиславовны было свое хотя и небольшое, но все же независимое состояние, которое она никогда не отделяла от средств сына, да и покойный профессор, при своей чрезвычайно скромной жизни, успел коечто скопить ему на черный день; кроме того, сама Матова постоянно и очень энергично внушала юному врачу, чтоб он отнюдь не измерял количеством приобретаемых денег той пользы, какую ему придется оказывать обществу.

Как бы то ни было, но эта самостоятельная практика не удовлетворила Матова. На первых же порах он живо почувствовал, что ему словно недостает чего-то, что специальность как будто убивает в нем человека — того полного человека, какой постоянно рисовался в грандиозных образах, созданных пылким, благородным воображением его матери. Посоветовавшись с ней откровенно на этот счет,

Лев Николаевич решил, что им надо уехать за границу, где бы он мог вполне закончить свое медицинское образование; Ванда Станиславовна была того же мнения — и они с открытием навигации пустились в путь. Сперва, в течение нескольких месяцев, Матовы странствовали как бы без определенной цели, объезжая столичные города Европы и присматриваясь к тамошним порядкам. Наконец путешественники завернули в Вену. Здесь, случайно прослушав одну лекцию какого-то профессора-психиатра, имя которого гремело тогда на весь ученый мир, Лев Николаевич с жаром, свойственным его молодой натуре, весь отдался изучению этой, так мало разработанной еще науки. Со времени болезни отца внутренний мир человека, с его темными и светлыми сторонами, всегда казался Матову самой интересной, самой благородной задачей, но до сих пор он как будто обходил ее, сознавая, быть может, с одной стороны, свое бессилие, а с другой — всю ее важность. Венский профессор сумел, по-видимому, дать определенный толчок неясным порываниям формирующейся мысли Льва Николаевича. «Наконец-то я выбрался на настоящую дорогу!» — весело думал он теперь и по уши зарывался в сложные трактаты своей новой специальности. Но — увы! — прослушав добросовестно полный курс психиатрии, Матов, против ожидания, не ощутил в себе особенного довольства; напротив, он даже как будто затосковал еще сильнее, как будто еще очевиднее убедился, что ему действительно недостает чего-то. Тогда, желая хоть чем-нибудь пополнить эту, так резко ощущаемую им пустоту, Лев Николаевич горячо принялся за изучение европейской литературы; общественные вопросы сразу поглотили все его внимание. Чем дальше шел он по этому пути, чем глубже вникал он в раскрывшийся перед ним новый мир мысли, тем понятнее, осязательнее становилось для него неясное брожение современного общества — и жажда широкой, ничем не стесняемой общественной деятельности охватила Матова, как могучий поток, готовый снести его, через все препятствия, к далеко намеченной цели. «Точка опоры найдена для меня; мое недовольство собой прошло, и отныне я вполне чувствую себя гражданином мира»,— писал между прочим Лев Николаевич матери, уехавшей перед тем на несколько недель в Петербург. Ванда Станиславовна, по обыкновению, отвечала сыну восторженно, горячо, но письмо ее на этот раз было все, от строки до строки, проникнуто какой-то щемящей грустью, точно любящая мать предчувствовала, что оно будет ее последней, загробной беседой с дорогим сыном.

«Ты всегда будешь стоять за наши права... за человеческие права твоей матери, не правда ли, Лев?» — так заключала она свое скорбное послание. И действительно, в тот же самый день, как Матов с тяжелой думой пробегал эти жуткие строки, телеграф неожиданно принес ему краткое известие о внезапной кончине Ванды Станиславовны от скоротечной чахотки. Известие это было настоящим ударом для молодого ученого; он просто обезумел от горя. Несколько дней Лев Николаевич чувствовал себя как-то оторванным от жизни, как бы заброшенным в какую-то неизмеримую пустыню. В самом деле, ведь мать была для него всем; в ней одной сосредоточивались все его привязанности, только с ней мог отводить он совершенно по-человечески душу. В четыре года лихорадочной заграничной жизни сердечное влечение к посторонней женщине ни разу не потревожило сосредоточенной натуры доктора; в этом отношении он был пока все тем же нетронутым юношей, каким его знали еще в академии. Правда, однажды, в первые месяцы путешествия, проездом через Цюрих Льва Николаевича неотразимо приковали к себе на минуту темно-карие глаза какой-то скромно одетой девушки, переходившей через улицу от здания университета; но это было просто какое-то мимолетное, почти бессознательное впечатление. Припомнив его почему-то именно теперь, в дни горя, Матов как будто почувствовал себя еще вдвое несчастнее, еще сиротливее. В эти безрассветные дни улыбка понемногу опять исчезла у него с лица или, вернее, приняла ту неуловимую форму, о которой мы заявили в самом начале нашего рассказа.

С тех пор дальнейшее пребывание в Вене стало невыносимым для молодого ученого. Здесь все так живо напоминало ему мать; даже от стен квартиры как будто веяло еще не остывшим дыханием Ванды Станиславовны. Лев Николаевич поспешил в Петербург. Немедленно по приезде туда молодой человек, чтобы скорее забыться, лихорадочно принялся за диссертацию для получения степени доктора медицины, выдержал в академии установленный экзамен и с честью был удостоен докторского диплома. Матову даже предложили остаться в качестве адъюнкта при тамошнем профессоре душевных болезней, но, не отказываясь прямо от этого предложения, Лев Николаевич с благодарностью отклонил его на неопределенный срок под предлогом необходимого отдыха. В сущности же, доктору просто хотелось уехать на время куда-нибудь в глушь, где его не могли так сильно осаждать гнетущие воспоминания о дорогой покойнице; да наконец Матов и сам еще не мог пока

определить хорошенько, за что он примется, когда утихнет его душевная боль. Мы уже знаем, какую сторону избрал Лев Николаевич для своей поездки.

С князем Львовым-Островским доктор познакомился случайно, на обеде в одном семейном доме; как людей, встречающихся в первый раз, хозяева, разумеется, поспешили отрекомендовать их друг другу. Молодой гвардеец, узнав, что его новый знакомый психиатр, стал относиться к Матову с какой-то особенно предупредительной, даже заискивающей внимательностью. Им пришлось уходить с обеда в одно время. Дорогой, заговорив с светской находчивостью о специальности своего спутника, Львов-Островский предложил ему зайти в ресторан Вольфа — распить вместе бутылку вина. Лев Николаевич сперва было отказался, но, уступая требованиям вежливости, принужден был согласиться наконец на усиленную просьбу князя. Известный рассказ последнего о тетушке произвел почему-то на доктора не совсем обыкновенное впечатление; по крайней мере, этот рассказ заинтересовал его гораздо сильнее, чем мог предполагать сам Львов-Островский. Очень может быть, что подобному впечатлению значительно способствовали та фальшь и натянутость, какие пробивались почти в каждом слове князя, а может быть, и что-нибудь другое. Во всяком случае, хотя личность Белозеровой и была выведена в рассказе гвардейца в каком-то беспорядочном виде, она тем не менее пробудила в Матове какое-то неопределенно упрямое желание исследовать ее поближе — благо, сам собой представлялся, таким образом, случай развлечься дорогой.

Убаюканный монотонным позвякиванием колокольчиков, Лев Николаевич проспал довольно долго. Когда он очнулся, пурпуровые лучи заходящего солнца так и ударили ему прямо в глаза.

— А что, далеко еще до станции? — спросил он у ямщика, устало потягиваясь в тарантасе и не замечая, что впереди дороги, на небольшом возвышении, показались какие-то чистенькие избы.

— Да вон уже видать ее, Завидовку-то,— головой указал на них ямщик,— и с полверсты теперя не будет.

— Поезжай, приятель, поскорее: ужасно наскучило сидеть,— попросил Матов.

Ямщик молодцевато прибрал вожжи, и тройка, быстро миновав небольшое расстояние, отделявшее ее от соседнего пригорка, осторожно переехала какой-то узенький мостик и понеслась во весь дух по отлогому подъему села, встреченная дружным лаем косматых деревенских собак, так и кидавшихся под ноги лошадям.

Лев Николаевич сел прямее и зорко оглядывался по сторонам, испытывая на этот раз какое-то странное, почти ребяческое любопытство...

Глава III

СЕЛО ЗАВИДОВО

По мере того как тарантас подвигался вперед, искусно изворачиваясь в узеньких переулках, между плетеными заборчиками дворов и огородов, Матову все сильнее и сильнее бросалась в глаза проявлявшаяся здесь во всем какая-то необыкновенная опрятность или, пожалуй, зажиточность. По ту сторону Урала доктор не встречал ничего подобного, по крайней мере в таком дружном скоплении на одном месте. Жилье было раскинуто по пригорку довольно широко и живописно, окаймляясь в конце деревни темно-зеленой опушкой хвойного леса. Навстречу тройке то и дело попадались молодцеватого вида крестьяне, прилично одетые. Поравнявшись с нею, они слегка, но радушно приподнимали шапки, очевидно, лишь из побуждения простой патриархальной вежливости, а не ради того, что заподозревали в проезжем чиновное лицо, тем более, что на клеенчатой фуражке доктора не было кокарды. Еще больше попадалось женщин. Часто весьма красивые, почти все одетые, несмотря на будни, с деревенским щегольством, они тоже приветливо кивали головой Матову. Некоторые из них, помоложе, кокетливо приостановившись на минуту, с любопытством провожали глазами тройку. Здоровый, несколько смуглый цвет женских лиц ярко изобличал в них преобладание сибирского типа. Чем дальше следовал тарантас, тем чаще плетеные заборчики стали уступать место настоящим тесовым заборам; начали появляться уже дома городской постройки, в два этажа, непременно с балкончиком наверху, а внизу изредка встречались скромные приюты сельской торговли; промелькнул наконец и веселенький деревенский трактир с какой-то замысловатой аллегорией, неумело намалеванной на покосившейся вывеске.

— Здесь, в селе, должен быть помещичий дом, где же? Его не видно...— обратился Лев Николаевич к ямщику, отрываясь наконец от созерцания этих незатейливых предметов.

— Есть; он вон там, правее будет, у самой речки: вишь, вон где роща-то? Это господский сад, значит, пойдет, а за ним и дом стоит, из-за саду-то его теперече не видать,—

обстоятельно пояснил ямщик.— Так как же тебя везти-то? У Балашева, что ли, пристанете? — спросил он через минуту.

— У него, у него,— поспешил сказать Матов.

Тройка круто повернула налево, в какой-то сравнительно очень широкий проулок, и подъехала к длинному двухэтажному деревянному дому без всякой вывески. На верхней ступеньке довольно крутого крыльца, которое вело прямо с улицы во второй этаж этого строения, стоял в розовой ситцевой рубахе атлетически сложенный, высокого роста старик с гладко расчесанной седой бородой, достигавшей у него почти до пояса. Заслонясь левой ладонью от косвенных лучей заходящего солнца, незнакомец с удивлением смотрел на подъехавшую тройку, пока ее возница проворно слезал с козел.

— Вот гостя тебе привез — постояльца, Микита Петрович,— с поклоном обратился к нему ямщик, очевидно, как к хозяину дома.— Примать?

— Мы гостям завсегда рады, на том, значит, стоим; только вы, к примеру, из каких будете? — степенно осведомился старик у Матова, спускаясь к нему с крыльца и медленно разглаживая правой рукой бороду.

— Здравствуйте, хозяин! Я доктор,— пояснил Лев Николаевич, вылезая из тарантаса.— Мне хотелось бы остановиться здесь на несколько дней, отдохнуть с дороги, так нельзя ли у вас?

Никита Петрович минуту затруднительно помолчал.

— Можно-то оно, пошто не можно, да только мы незнакомых не больно-то любим примать: всякого ведь тут народу довольно ездит... тоже и чиновники, теперече...— сказал он, несколько замявшись и проницательно оглядывая с ног до головы скромную и вместе изящную фигуру приезжего.— Нам главное, по каким вы таким делам сюда пожаловали?

— Да я просто частный доктор и еду по собственной надобности,— объяснил Матов.

— Так-с...— проговорил Балашев, очевидно, все еще затрудняясь.— А долгонько у нас простоять-то думаете? — спросил он, опять помолчав немного.

— Да несколько дней, не больше,— конфузясь, сказал Лев Николаевич, как видно, не приготовленный к такому подробному допросу.

— Так-с, так-с...— снова протянул Никита Петрович, не зная, по-видимому, и теперь, как ему поступить.— Да делать-то уж, видно, нечего, надо будет принять, коли сюда

завез; а только мы, признаться сказать, не больно охочи до всяких-то приезжающих... Ну, кум! Вываливай, что ли, поклажу-то...— решительно обратился он вдруг к ямщику, хотя в голосе его и слышалось явное нерасположение.

Матов тоже стоял в нерешительности, остаться ли ему здесь или поехать искать пристанища в другом месте.

— Да, вот что, хозяин,— надумался он сказать наконец,— по русской пословице, насильно ведь милым не будешь, так уж я лучше проеду куда-нибудь дальше.

Спокойный тон Льва Николаевича заметно сконфузил, в свою очередь, старика.

— Ничего, ничего... пошто и у нас не погостить! Может, ты и хороший человек, кто тебя знает; может, ужо и слюбимся как-нибудь,— поспешил он заключить еще решительнее, но на этот раз уже в самом примирительном тоне.— Пожалуйте-ка в горницу!

Матов охотно последовал за ним на крыльцо, сказав, между прочим, ямщику, чтоб тот вносил вещи.

— Опять теперича и то надо по правде сказать: господа — народ, не приобвыкший к нашим мужицким порядкам: другой раз и хошь угодить на него, да не потрафишь. Купцы, дак те теперича не в примере обиходнее...— лукаво заметил хозяин, как бы в свое оправдание.

— Не беспокойтесь, я не взыскателен,— сказал доктор.

— Известно, и у нас хорошие люди стаивали на фатере, да все оно как будто опаску имеешь; тоже и насчет кушанья, теперичe, хлопотно с господами...— продолжал Никита Петрович, видимо стараясь уже вперед выгородить себя на всякий случай.

— И в этом будьте совершенно спокойны, что дадите, то я и буду есть,— окончательно задобрил его Лев Николаевич.

Они вошли между тем в просторные сени, разделявшие весь дом на две отдельные половины.

— Тут вот я сам живу, а тебя вот здеся помещу,— объяснял Балашев, указывая одной рукой налево, а другой направо.— Черный народ когда бывает, так тот у меня больше внизу стоит, беспокойства, значит, вам большого не будет. Семейка моя тоже не больно-то велика: одна дочь теперичe да работник с работницей — и все тут.

Хозяин отворил дверь в правую половину и ввел туда приезжего. Здесь, кроме маленькой передней с полатями, оказались еще две довольно просторные, светлые комнатки, убранные, согласно деревенским обычаям, весьма недурно.

— Вот уж так все эвти три горенки вы и займите,—

предложил Балашев, остановившись посредине второй комнаты и заложив за спину руки.

— А что вы с меня возьмете за это, хозяин? — спросил Матов.

— Да што с тебя взять-то?.. Шесть гривен в сутки с едой положишь? Известно — не травой станем питаться,— любезно сострил Никита Петрович.

Лев Николаевич остался совершенно доволен таким условием; он только выговорил при этом, чтоб ему подавали два раза в день, утром и вечером, самовар, если последний имеется в доме, как неосторожно выразился доктор.

— Господи, твоя милость! — воскликнул хозяин, обидчиво всплеснув руками.— Чтобы этого добра да в доме не было: не токмо что один, а и все три найдутся; хошь шесть раз в день, дак и то можно поставить — не отнимутся руки-то.

Рассчитавшись с ямщиком, который тем временем успел уже внести в комнаты пожитки приезжего, Матов наскоро разобрал их, переменил дорожное белье и, вообще приодевшись по-столичному, отправился на хозяйскую половину, чтоб спросить себе умыться и сказать, что он уходит из дому. Лев Николаевич встретил Балашева в сенях.

— Вон как скорехонько собрался! А я хотел тебя уже чайком угостить. Мои-то севодне все разбрелись: с утра самого по черемуху ушли да, вишь, и по сю пору нет,— объявил Никита Петрович, возясь около самовара.

— Нет, хозяин, не беспокойтесь теперь напрасно, а я лучше вечерком напьюсь чаю. Мне хочется пока, засветло, погулять немного, кости размять: устал целый день в экипаже сидеть,— пояснил Лев Николаевич.— Вот умыться я попрошу.

Балашев увел доктора на свою половину.

— Вот тут помойтесь,— указал он ему на рукомойник.— Да тебе и мыться-то не к чему: ты и так беленький. Эки эвти девки подолошлепы, право! Только пусти их с глаз, до ночи рады прошляться...— ворчал между тем Никита Петрович, отыскивая в сундуке чистое полотенце.

Матов наконец умылся и собирался уйти.

— Погуляйте, погуляйте, поглядите на наше село: тоже супротив него теперече другое такое еще поискать да и поискать,— с некоторой гордостью напутствовал его хозяин.

— Мне бы хотелось также и на барский дом взглянуть, да не знаю, как к нему ближе пройти? — сказал вопросительно доктор, уже взявший было за скобку двери.

Балашев подробно растолковал ему кратчайший путь в ту сторону и потом прибавил:

— Недалече будет. Там у нее сад преотменный; только тебя туды, уж извини, не пустят: окромя здешних баб да заводских ребятишек, посторонних туды никого не пущают — то есть наши мужики не ходят.

— Отчего?

— Помещицей, сказывают, не велено.

У Матова при этом коротком ответе так и завертелся в голове какой-то интересный вопрос, но доктор терпеливо отложил его до более удобного времени.

— Так до свидания, хозяин! — молвил он только, отворя выходную дверь.— Да! Вот еще что,— спохватился Лев Николаевич,— вам не нужен ли мой вид?

— Пачпорт-то, што ли? На-а что мне его! Тебе ведь не подати здеся платить; а коли потребуется, дак тогды и спросим у вашей милости. Счастливо погулять! — добродушно отозвался Никита Петрович и пошел проводить своего постояльца до крыльца.

Матов молча спустился с него и вышел на улицу. Солнце уже закатилось, но вдали, на небосклоне, все еще лежала широкая розовая полоса, предвещавшая на другой день ясную погоду. Сперва, торопливо пробираясь по людным улицам села, Лев Николаевич чувствовал себя не совсем-то ловко: его то и дело смущали пристальные и, в свою очередь, несколько встревоженные взгляды встречных крестьян и крестьянок, с удивлением осматривавших с ног до головы не знакомого им нарядного барина. Но, миновав ветхую, почти полуразрушенную, деревянную церковь и взяв от нее немного влево, где начиналась ограда сельского кладбища, доктор мог гораздо спокойнее продолжать свою прогулку: здесь прохожие попадались ему только изредка, и то в одиночку; пройдя же еще с четверть версты, Матов почувствовал себя уже на полной свободе. Теперь он вышел прямо к небольшой речке, густо заросшей по берегам всевозможным кустарником и огибавшей в этом месте правильным полукругом село. Налево уже некуда было идти дальше: кладбищенская ограда доходила до самого берега, теряясь в гуще молодой зелени; направо же, между кустов малины и шиповника, прихотливо вилась узенькая тропинка, которая, по словам Балашева, и вела «прямехонько к господскому дому». По ту сторону речки, сейчас же за опушкой прибрежного кустарника, тянулся, возвышаясь неровными холмами, густо разросшийся хвойный лес. От него так и повеяло на доктора смолистым запахом ели и листвен-

ницы. «Здесь, вероятно, будет любимое место моих прогулок»,— подумал Лев Николаевич и остановился, чтоб полюбоваться несколько минут скромным, но прелестным видом этого мирного уголка. Странное, однако, чувство необъяснимой тревоги овладело Матовым, когда, пробираясь вперед вдоль указанной тропинки, он услыхал внезапно глухой, далекий выстрел. «Даже робость напала, точно к немирным черкесам приближаюсь»,— мысленно сострил над самим собою доктор. Но от этой забавной остроты отнюдь не прошла его тревога; напротив, она еще усилилась, когда минуты через три выстрел повторился, хотя и слабее прежнего. «Пожалуй, что князь и прав»,— снова подумал Лев Николаевич на этот раз вслух и пошел почему-то тише.

Между тем обширная группа деревьев, названная Матову ямщиком при въезде в Завидово «рощей», постепенно утрачивала неопределенный характер сплошной зелени, резко обозначая теперь отдельные породы леса. Береговой кустарник тоже редел все больше и больше, и наконец доктор незаметно поравнялся с массивным, заостренным кверху частоколом, живо напоминавшим ограду старинного острога. Впрочем, на этот раз она просто служила охраной «господского дома». «Однако здесь укрепились не на шутку»,— улыбнулся Лев Николаевич и не торопясь пошел дальше. Частокол тянулся довольно долго, пока не закончился столь же массивными, наглухо затворенными воротами, за которыми, впрочем, он снова продолжался, по всей вероятности, на такое же расстояние, как и до них. По ту сторону ворот на пороге небольшой, настежь открытой калитки, прислонясь к ней локтем, стояла молоденькая девушка вроде провинциальной горничной, щегольски одетая в малиновый сарафан. Она пристально смотрела куда-то вдаль, не замечая доктора.

— Дома Евгения Александровна? — заставил ее вздрогнуть неожиданный вопрос Матова.

Девушка взглянула на него так, как смотрят обыкновенно только на сумасшедших.

— Я спрашиваю: дома ли ваша барыня? — твердо повторил ей Лев Николаевич.

— Какая барыня? С ума вы, что ли, спятили? — переспросила она наконец, сильно нахмурясь.— Никакой такой здесь нету.

— Ну, барышня,— поправился доктор.

— Сказано вам: «нет»,— так и проваливайте с богом! И девушка, сердито захлопнув калитку, скрылась за ней безвозвратно.

Лев Николаевич остался в полнейшем недоумении. «Да полно, не ошибся ли я? Здесь ли это?.. Если здесь, то где же в таком случае самая крепость-то?» — подумал он, растерянно осматриваясь по сторонам, и вдруг нечаянно взглянул на заостренные макушки частокола. Только теперь, подняв кверху глаза, Матов заметил за этим частоколом в порядочном отдалении от него верхний этаж большого каменного дома оригинальной постройки, с широким балконом, который, как показалось доктору, весь был уставлен тропическими растениями. Большие готические окна, раскрытые в сад, но непроницаемо закрытые изнутри зелеными решетчатыми жалюзи, только на минуту приковали к себе внимание Матова. Он тотчас же перенес его на две исполинские фигуры, поддерживавшие снизу тяжелый балкон: как-то таинственно смотрели эти великаны своими тусклыми глазами на незнакомого пришельца, раздражая еще больше его и без того уже до крайности возбужденное любопытство. Совершенно горизонтальная крыша дома ограждена была по бокам деревянными перилами, на манер террасы, посреди которой возвышалась круглая высокая мачта для флага, который теперь, очевидно, был уже спущен. Ничего больше не мог усмотреть пока Лев Николаевич: густые деревья, тянувшиеся вплоть до самого частокола и открывавшие только главный фасад дома, непроглядно закрывали собой все остальное. Матов все-таки упрямо пошел дальше. Здесь уже не было прежней тропинки; она вела только до ворот, а начиная отсюда шла широкая дорога, сплошь окаймленная густо заросшим кустарником. С одной стороны дорога эта продолжала собой прежнюю тропинку, идя вдоль частокола к селу, с другой — она крутым спуском повернула вдруг к самой речке, через которую в этом месте перекинут был широкий деревянный мост. Вода почти отвесной стеной падала из-под него налево, оглушительно шумя, пенясь и далеко разбрасывая брызги; а справа к нему прилегала обширная плотина соседней мельницы. Вид с моста был очень живописен, и Лев Николаевич, залюбовавшись им, совершенно не заметил, как очутился на том берегу. Холмистая местность хотя и продолжала тянуться и здесь, но леса постепенно редели и наконец незаметно перешли в широко раскинутые по отлогостям пашни, с торчавшими на них повсюду золотистыми снопами только что сжатого хлеба; в двух-трех местах запоздалые группы крестьянок и теперь еще действовали серпом.

Одна из этих групп особенно бросилась в глаза Матову,

и они, точно прикованные, остановились на высокой, стройной фигуре, стоявшей несколько поодаль от других и своим черным костюмом резко выделявшейся из небольшой кучки пестро одетых крестьянок. Фигура эта, очевидно, принадлежала особе женского пола. Длинное платье, вроде амазонки, только без шлейфа, красиво обрисовывало ее молодые, безукоризненно правильно очерченные формы. Незнакомка стояла к Льву Николаевичу боком, опираясь ладонями обеих рук на дуло щегольского карабина и повернув голову совершенно в противоположную от доктора сторону, так что он никак не мог рассмотреть лица этой особы; нетрудно было, впрочем, угадать в ней таинственную хозяйку Завидова. Матов с минуту колебался в нерешительности, следует ли ему идти дальше, как вдруг он увидел бежавшую к нему прыжками огромную черную ньюфаундлендскую собаку, которая, стремительно наскочив на доктора передними лапами, едва было не сшибла его с ног; она, однако же, тотчас же пустилась обратно с густым, внушительным лаем. Лев Николаевич, в свою очередь, благоразумно поспешил отступить, растерявшись не на шутку, особливо в первую минуту. Он пошел назад прежней дорогой и только теперь заметил, что так называемый сад, окружающий «господский дом», представляет собою по величине едва ли не целый обширный парк; уже значительно стемнело, когда доктор успел обогнуть его и дойти до постоялого двора.

— Ладно ли погуляли? — с приветливой улыбкой встретил Матова на крыльце хозяин.

— Чудесно; только меня на мосту какая-то собака напугала: так и бросилась ко мне с лапами на плечи,— сказал Лев Николаевич, переступая порог сеней.

— А эвто, должно быть, Евгеньи Александровны, помещицы здешней. Черная?

— Да, черная.

— Ну, ее, значит. Сичас тебе и самоварчик будет готов,— заметил Никита Петрович, отворяя доктору дверь в отведенную его половину,— уже вот я только наперед свечу подам.

Старик торопливо ушел к себе и тотчас же вернулся с зажженной сальной свечкой, вставленной в отлично вычищенный медный подсвечник. При ее свете Матову прежде всего бросилось в глаза, что теперь его комнаты были прибраны еще лучше, а в углу последней из них он увидел опрятно постланную большую кровать, с периной и подушками, едва не достигавшими до самого потолка. Лев Ни-

колаевич посмотрел на них с каким-то комическим ужасом.

— Это вы меня здесь хотите положить, хозяин? — спросил он у Балашева, указывая ему глазами на кровать.

— А што́ думаете? Не бойся: мягко тебе тут будет,— успокоил Никита Петрович Матова, не поняв его забавного испуга.

— Знаю, что мягко, хозяин, да только я не люблю так спать; вот если бы вы свежей соломы принесли, чудесно бы вышло,— пояснил доктор.

— Што ж! Можно теперичe и эдак сделать; да ты лучше не брезгуй нашей постелью-то: на ней, к примеру, и не валялся еще никто, дочке в приданое излажена.

Балашев как будто обиделся.

— Я и не брезгую, но жарко так спать будет,— возразил доктор.

— Говорится: пар костей не ломит. Ну да ладно; ужо вот дочка перестелет вам как надо, только с самоваром да с чашками управится. Де она у меня там, востроглазая, застряла? — проговорил Никита Петрович и поспешил выйти.

Минут через пять к Матову вошла с чайным прибором на подносе молоденькая девушка лет двадцати, одетая в розовый ситцевый сарафан. Она была такой поразительной красоты, какую можно встретить между простонародьем разве только как весьма редкое исключение. Шелковистые светло-русые волосы, с густой, гораздо ниже пояса, распущенной косой, совершенно бирюзового цвета глаза, немного смуглые румяные щеки и пышные пунцовые губы — все как-то удивительно гармонировало между собой в этой красивой девушке; даже некоторая деревенская угловатость манер нисколько не отнимала прелести у ее роскошно развившихся форм, придавая, напротив, всем их движениям какую-то своеобразную, чарующую грацию. На лице красавицы то и дело мелькала заразительно-лукавая усмешка.

— Здравствуй-ко! — поздоровалась она с доктором, оригинально кивнув ему головой вместо поклона и ставя на стол поднос.

— Здравствуйте! — не вдруг сказал Матов, очевидно, залюбовавшийся ее пленительным взглядом.— Вы не дочь ли здешнего хозяина?

— Дочка.

Она зарумянилась вся как маков цвет.

— А зовут вас? — полюбопытствовал Лев Николаевич.

— По имени-то как зовут?

— Да.

— Авдотьей.

— Ну, так вот познакомимтесь же, Авдотья Никитьевна,— радушно молвил доктор, подавая ей руку,— нам ведь теперь частенько придется встречаться. Прошу любить и жаловать.

Девушка покраснела еще больше, но глаза ее смотрели бойко и без смущения, когда она, не взяв протянутой ей руки и торопливо уходя, насмешливо проговорила:

— Ужо вот дай управиться...

Матов проводил ее глазами до двери. «Какая королева мне прислуживает!» — невольно подумал он, когда через минуту она вернулась с тяжелым самоваром в руках, вся раскрасневшаяся от напряжения.

— Вы, кажется, за ягодами ходили сегодня, Авдотья Никитьевна? — обратился к ней Лев Николаевич.

— Ходила, да мало набрали: Евгенья Александровна помешала.

— Как же так она вам помешала?

Доктор совсем было насторожил уши.

— Да ну тя с разговорами-то!— круто обрезала она его вдруг.— Тятенька вон соломы велел еще сюды принести. Тут-то чего не спишь?

Девушка указала на постель.

— Жарко будет,— отозвался Матов.

— Вишь ты какой прохладный! — улыбнулась она не без насмешки и опять торопливо вышла.

Лев Николаевич принялся хозяйничать около стола, нетерпеливо поджидая ее возвращения; но ожидания доктора не оправдались: перестилать постель явилась толстая, неуклюжая работница, представлявшая совершенный контраст с хозяйской дочерью, которая почему-то не соблаговолила больше показаться в этот вечер приезжему. Дождавшись окончательно переустройства своего ложа, Матов раскупорил привезенную с собой бутылку рома и через работницу пригласил к себе хозяина на чашку чаю.

— Признаться, мы уже спать хотели укладываться,— сказал Никита Петрович, помещаясь за самоваром, напротив доктора.— А знатный у тебя ромец! — похвалил он через минуту, с видимым удовольствием отведывая горячий пунш из предложенного ему стакана.— Видать, што с собой привез.

— Да здесь, я думаю, и совсем не достанешь,— заметил Лев Николаевич.

— Достать-то оно пошто не достать, достать можно; да только здешний-то супротив твоего не выгорит. А што, еже-

ли я, к примеру, вашу милость спрошу: он тепериче, надо быть, от простуды пользителен, эвтот самый ром?

— Да, согревает хорошо.

— Зимой эвто прошедшей я в наледь попал, а Петр Лаврентьевич, дай ему бог здоровья, мне и присоветовал: рому, говорит, напейся горячего, дак как рукой сняло!

— Кто же это Петр Лаврентьевич?

— Да управляющий здешнего заводу, Терентьев по фамилии-то он показывается; уж такой до нашего брата душа-человек, што не знаю, как тебе и сказать.

«А ведь я где-то уже слышал это имя... только когда же, в самом деле?» — подумал Матов, усиленно напрягая память, и ему вдруг пришло в голову то место рассказа князя, где последний упоминал между прочим о сомнительном ливрейном лакее, сопровождавшем за границу его загадочную тетушку. «Да, без сомнения, это должно быть одно и то же лицо, и мне, как теперь оказывается, пожалуй, действительно придется распутывать здесь некий романтический узел»,— опять подумал Лев Николаевич, чрезвычайно заинтересованный настоящим открытием.

— Хороший, вы говорите, человек этот Терентьев? — громко переспросил он хозяина.— И давно управляет заводом?

— Да как вам сказать, не соврать? Надо быть, больше году: с год-то уже тепериче прошло, как я здеся, а он до меня еще был.

— Вы сами-то разве не здешний, хозяин?

— Нет; мы издалече — сибирские.

Несмотря на пунш, разговор, однако же, как-то не клеился между ними, и Никита Петрович, видимо, поддерживал его из одной учтивости, осторожно и сосредоточенно глотая ароматный напиток. Всматриваясь в энергическое лицо своего собеседника, доктор заметил теперь, что оно в некоторых подробностях поразительно напоминало хозяйскую дочь: те же бирюзового цвета глаза, только немного потускневшие, та же лукавая улыбка, только значительно смягченная добродушным выражением губ; в очертаниях выпуклого лба и красивого носа, с небольшой горбинкой посредине, сходство это было еще разительнее. Матову ужасно хотелось развязать язык старику; он усердно подливал ему ром и наконец, после четвертого стакана, прямо спросил:

— А здешняя помещица, должно быть, большая нелюдимка?

— Как тебе сказать? Насчет мужского пола она, точно,

что горда маленечко... ну, а насчет баб тепериче — ничего, обходительна.

Ответ был, заметно, крайне сдержанный.

— Вот и ваша дочь мне рассказывала, что Евгения Александровна помешала им сегодня ягоды собирать...— вкрадчиво заметил доктор.

— Да балует она: не любит, коли девки ягоды берут, рассыпает у них.

— Что же ей, жаль ягод, что ли?

— Пустое эвто дело, говорит: труда с ним много, а толку от него мало,— уклончиво пояснил хозяин.— А только ее девушки любят,— прибавил он, помолчав.

— Стало быть, заслуживает того, если любят...— сказал как-то неопределенно Матов.

— Должно быть, што так,— еще неопределеннее подтвердил Балашев.

Очевидно было, что ром не особенно действовал на его скрытную, чисто сибирскую натуру; напротив, с новым стаканом старик становился как будто сдержаннее. Это еще больше подстрекало любопытство Льва Николаевича.

— Давно она здесь живет? — снова спросил он, немного помолчав.

— Вы эвто про кого же спрашиваете? — видимо, схитрил хозяин.

— Да вот все вашей помещицей интересуюсь.

— Сказывали как-то про нее тутошние-то, што, мол, одновременно с Петром Лаврентьевичем прибыла сюды, да я, признаться, хорошенько-то и не полюбопытствовал; все года с полтора, надо быть, есть. Да оне не знакомы ли тебе, Евгения-то Лександровна?

Предлагая последний вопрос, Никита Петрович как-то уж очень подозрительно посмотрел на Матова.

— Нет, я совсем ее не знаю, так спросил: вот разве, может быть, здесь придется познакомиться; не всю же неделю сидеть дома да гулять, захочется и в обществе развлечься...— пояснил доктор.

— Вестимо, што так: только ты как же думаешь тепериче попасть-то к ней? — несколько насмешливо осведомился у него Балашев.

— Пойду просто и познакомлюсь: доктора везде примут, он всегда пригодится,— с неуловимой улыбкой ответил Лев Николаевич и хотел было подбавить рому в стакан собеседнику.

Никита Петрович нахмурился и накрыл стакан ладонью.

— Будет, побаловался... Што же такое, што дохтур?! —

порывисто заговорил он, все больше и больше горячась теперь.— И дохтур здесь ни при чем. Уж истинно я вам скажу: и не думайте вы лучше об эвтом: на порог она тебя к себе не пустит, вот што! Тут у ней свой дохтур есть — из немцев, дак и тот глаз к ней без просу показать не смет, а не токмо што проезжающий какой... Штоб на свой стыд идти... да сохрани тебя господи! Эдак вы и меня на всю деревню осрамите под старость-то: вот, скажут, какого человека Балашев у себя примат, что насильно в чужой дом лезет...

— С чего же вы взяли, хозяин, что я...— стал было оправдываться Матов, заметно обрадовавшийся сперва неожиданной горячности собеседника, но теперь ясно уразумевший, что, на первый раз, зашел слишком далеко в своей откровенности.

— С того...— не дал ему договорить Балашев,— вон уж от нее следом за тобой и то прибегали узнавать: какой, мол, такой проезжающий у меня остановился и Евгенью Лександровну у ихних ворот спрашивал? Нет, уж ты, милый человек, коли хошь у нас жить, так живи смирно, а не то лучше поезжай с богом дальше! — заключил Никита Петрович, тревожно поднявшись с места и направляясь к выходной двери.

— Постойте, хозяин, вы, по крайней мере, скажите мне, почему...— еще раз попытался заговорить доктор.

— Што тут много сказывать-то! — снова перебил его Балашев.— Потому: тебе с дороги спать надо, а мне тоже завтра чем свет вставать — вот вам и сказ весь! Затем спокойно опочивать! Прощения просим!

И Никита Петрович, даже не оглянувшись ни разу на порядком озадаченного этой выходкой жильца, медленно удалился на свою половину...

Глава IV

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

То ли от непривычки к новому месту, то ли от впечатления, навеянного последней сценой, Матов очень дурно провел свою первую ночь в Завидове. Несмотря на сильное утомление сперва с дороги, а потом от продолжительной вечерней прогулки, он долго проворочался с боку на бок и заснул перед самым рассветом. Тем не менее яркие лучи солнечного утра, приветливо заглядывавшие во все наружные окна постоялого двора Балашева, застали доктора уже с открытыми глазами. «Ужасную, однако, глупость забрал

я себе в голову!» — было первой его мыслью, как только он проснулся. Но привольно разливавший вокруг него свет тотчас же значительно смягчил ее. «Да почему бы, впрочем, и не подурачиться лишний раз на своем веку?» — подумал теперь Лев Николаевич, бодро соскакивая со своей соломенной постели и наскоро принимаясь одеваться. «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало,— сообразил он между тем, подтрунив над самим собой: — Я именно в таком безобидном положении и нахожусь, ну, и тем лучше, значит, как только отдохнешь да попрыгаешь немного молодым козленком, так и за дело потом гораздо веселее примешься.

Вот бы, воображаю, уморительную-то мину скорчили мои добродушные товарищи (не разб.), если б проведали, какими научными исследованиями займется здесь их ученый собрат, будущий профессор психиатрии! Но они, впрочем, и (не разб.), чтобы ставить всякое лыко в строку и не видать ничего дальше собственного носа...» Матов чуть ли не в первый раз после смерти матери весело рассмеялся при этой мысли и пошел на другую половину спросить себе умыться. Там он застал только хозяйскую дочь. Она стояла у окна, вся на солнце, и теперь, при этом ярком освещении, казалась еще свежее и красивее; роскошная, как и вчера, распущенная ниже пояса коса ее так и отливала золотистым блеском.

— Выспался? — лукаво смеясь, спросила красавица у доктора, как-то небрежно подавая ему умываться.

— Выспался, да не очень.

— Что же так? Нешто прозяб на соломе-то?

— Все вы мне грезились...— пошутил Матов.

Девушка окинула его с ног до головы лукавым взглядом.

— А мне черт снился,— рассмеялась она.

— Что же, страшный он? — полюбопытствовал Лев Николаевич.

— На тебя маленечко смахивает.

Авдотья Никитична неудержимо расхохоталась.

— Вы, я вижу, охотница посмеяться,— несколько смущенно заметил доктор.

— Нешто мне плакать, что ли? Тятенька, слава богу, жив, да и муж не помер.

— Разве вы замужем? — удивился он.

— Посылай сватов, дак и выйду замуж.

Она подбоченилась левой рукой и насмешливо в упор смотрела на жильца своими бирюзовыми глазами. Льву Николаевичу стало как-то неловко от этого пристального взгля-

да, он поспешил умыться и молча удалился к себе, позабыв даже заказать самовар. Последний, однако, вскоре был подан ему той же самой Авдотьей Никитичной. Прибрав кое-как постель, девушка искоса заглянула в нахмуренное лицо доктора:

— Ужо-ко ты на меня не серчай...— проговорила она, как виноватая, и слегка дотронулась рукой до его плеча.

Он вновь обернулся к ней и хотел что-то ответить, но увидел только край ее розового сарафана, торопливо мелькнувшего в дверях.

— Оригинальная, право! — вслух подумал Матов, поспешно принимаясь хозяйничать около самовара.

Напившись чаю, доктор переоделся и отправился гулять, захватив с собой на этот раз двуствольное ружье и некоторые необходимые принадлежности научной экскурсии. Вовсе не расположен заняться сегодня чем-нибудь серьезно, он запасся ими больше для очистки совести, «чтобы немцев заочно потешить», как мелькнуло у него в голове при выходе на улицу. Льва Николаевича, разумеется, сразу потянуло в знакомую сторону; он пошел опять по той же тропинке, как и вчера, полной грудью вдыхая в себя утреннюю свежесть.

«Нынче можно идти уже похрабрее, так как я вооружен и сам»,— подумал доктор, приближаясь к господскому дому. Массивные ворота последнего оказались и на этот раз наглухо запертыми, калитка тоже была притворена, и разметчатые гардины так же непроницаемо завешивали наружные окна верхнего этажа; только на верхушке мачты слегка развевался теперь белый флаг, окаймленный с четырех сторон узенькой черной полоской. Минут пять, по крайней мере, рассматривал Матов этот флаг, как какую-нибудь диковинку; разнообразные мысли волновали его между тем, как из таинственного дома к нему не доносилось ни единого живого звука, кроме веселого чириканья птиц в саду.

Лев Николаевич задумчиво спустился к речке. Здесь он постоял сперва несколько минут на мосту, любуясь прихотливой игрой солнечных лучей в пенистых брызгах воды, чаровавшей ухо своим однообразным шумом; потом не торопясь перешел на тот берег. На раскинутых вокруг камнях торчали, как и вчера, золотистые снопы ржи, но не видно было, чтобы на них где-нибудь производилась теперь работа. Матов вспомнил, что сегодня, кажется, воскресенье, и это тотчас же подтвердилось ясно донесшимся до него переливчатым звоном завидовской церкви. Между тем солнце

начинало уже порядочно припекать. Узенькая тропинка, извивавшаяся направо по берегу речки в тени березового перелеска, невольно манила к себе своим прохладным приютом. Доктор свернул на эту тропинку и безостановочно шел по ней до того места, где она незаметно поднялась на крутой береговой выступ, с которого открывался превосходный вид на все Завидово и особенно на противоположную мельницу. Притиснутая здесь уже густым березовым лесом к самой окраине отвесного берега тропинка начинала отсюда понемногу спускаться, но вскоре, описав правильную вогнутую линию, взбегала на новую кручу и окончательно исчезала из глаз, повернув вместе с речкой почти под прямым углом налево. Лев Николаевич расположился под тенью березы на мшистом камне первой кручи, который как будто нарочно был перенесен сюда для более удобного созерцания прелестной панорамы. Матов зарядил ружье и, желая испытать свою меткость, сидя выстрелил в пролетавшую мимо ворону. Он, однако ж, дал промах и с некоторой досадой следил теперь, как дым от его выстрела синеватым облачком сползал к речке. Но не прошло и минуты, как раздавшийся издали внушительный лай, весьма знакомый, похожий на вчерашний, заставил Льва Николаевича быстро вскочить с места, и почти в тот же момент он увидел несшегося на него со всех ног уже знакомого ему черного ньюфаундленда. Доктор инстинктивно бросился к краю обрыва и едва не упал вниз, судорожно ухватившись рукой за какой-то колючий куст.

— Норма! Назад,— послышался в то же время из-за крутого поворота тропинки звонкий как серебро женский голос, и следом за ним на возвышении второй кручи обрисовалась стройная фигура в черном платье.

Собака как вкопанная остановилась перед Матовым, но не спускала с него своих выразительных глаз и все еще недружелюбно ворчала.

— Пожалуйста, не бойтесь: она не кусается, а только так, пугает,— крикнула издалека незнакомка оторопевшему доктору.— Не ушиблись ли вы? — мягко спросила она, подходя к нему через минуту.

Но он до того растерялся от этой неожиданной встречи, что решительно не нашелся привычным ответом. Да и было в самом деле от чего растеряться: Матов воочию стоял теперь лицом к лицу перед загадочной хозяйкой Завидова; мало того, по этим большим темно-карим глазам он сразу узнал в ней ту самую девушку, которую мельком встретил однажды в Цюрихе и образ которой долго еще после того, чуть ли

даже не до сегодня, тревожил доктора в его дорожных грезах. У нее действительно было одно из тех выразительных лиц, какие обыкновенно, встретившись хоть раз, не забываются потом всю жизнь. Бледное и замечательно страдальческое, резко выделявшееся от низко и гладко причесанных на уши черных как смоль волос, оно все дышало каким-то внутренним воодушевлением. Смотря на это лицо, невольно приходило в голову, что не скоро сломить ту энергию, какая запечатлелась на нем. Все-таки самым лучшим украшением его были, бесспорно, глаза: они либо отливали бархатом и смотрели на вас не то с глубокой грустью, не то с мучительной укоризной, либо сверкали холодной сталью, впиваясь как нож в лицо собеседника; иногда — только изредка, впрочем,— в них действительно появлялось как будто безумное выражение, но и оно влекло к себе неотразимо. Лев Николаевич не вдруг мог оторваться от пары этих чудных чарующих глаз и только тогда опустил ресницы, когда девушка словно обожгла его своим мученическим взглядом.

— Не ушиблись ли вы? — повторила она, и голос ее прозвучал на этот раз далеко уже не так мягко, как прежде.

Матов опомнился, наконец.

— Не беспокойтесь, пожалуйста, я отделался испугом,— сказал он, неловко освобождая свою исцарапанную правую руку от колючего куста, за который она до сих пор все еще машинально держалась. Доктор только теперь догадался снять фуражку и раскланяться с хозяйкой Завидова.

— У вас, кажется, царапина на руке... кровь,— заметила она, отходя немного в сторону, чтобы дать ему возможность выбраться на тропинку.

— Да, но это такие пустяки, о которых не стоит и говорить, впрочем... они чрезвычайно приятны для меня, так как доставляют мне случай...

— Извините меня и мою собаку,— холодно прервала девушка доктора и, отдав ему легкий поклон, стала торопливо сходить вниз по тропинке.

Лев Николаевич как будто замер на месте. С минуту он смущенно смотрел на ее черную лакированную шляпу с игриво развевавшейся позади лентой, на изящный карабин, висевший у нее за спиной на такой же лакированной перевязке, и вдруг вспомнил, что где-то оставил перед этим в испуге свое ружье. Матов тотчас же отыскал его и бессознательно кинулся в погоню за быстро удалявшейся между тем владелицей Завидова.

— Позвольте, сударыня, побеспокоить вас на минуту,—

тревожно сказал он, догнав ее и вежливо приподнимая фуражку,— я имею удовольствие встретиться с Евгенией Александровной Белозеровой... если не ошибаюсь?

Девушка удивленно обернулась.

— Не знаю, может ли это доставить кому-нибудь удовольствие, но я действительно Белозерова,— спокойно проговорила она.— Что вам угодно?

— Доктор Матов,— почтительно поклонился Лев Николаевич, рекомендуясь.

Он сделал при этом легкое движение правой рукой, но Белозерова, по-видимому, и не думала протягивать ему своей.

— Что же вам угодно, Матов? — холодно повторила она только.

Доктор не сразу ответил ей, на минуту сконфузился, отчасти потерялся.

— Я проездом в Завидове, остановился здесь отдохнуть на неделю и желал бы ознакомиться с гигиеническим положением рабочих на вашем железном заводе...— понемногу оправился наконец Лев Николаевич.— Именно с этой целью я ходил вчера же, как только приехал, сделать вам визит... но...

— Обратитесь за этим к моему управляющему,— невозмутимо ответила Евгения Александровна.— Я не вмешиваюсь сама в дела завода.

— В таком случае,— сказал Матов,— позвольте мне, по крайней мере, лично засвидетельствовать вам мою благодарность, когда я осмотрю его.

— Ее так же легко может передать мне и мой управляющий, чтоб вам не трудиться самим,— заметила она не без иронии.

— Значит, вы отказываете мне в чести вашего знакомства... если только я так вас понял? — несколько настойчиво спросил доктор.

— Да, я отказываю себе в чести знакомства с вами,— проговорила она отрывисто и нетерпеливо.

— Но... скажите, почему же именно? — еще настойчивее осведомился Лев Николаевич.

— Нет никаких уважительных причин к нему,— сухо ответила Белозерова.

— Мне кажется,— возразил доктор,— нет также с вашей стороны и достаточной причины отказывать в этом невинном удовольствии дорожному человеку, который, как я в данное время, желал бы отдохнуть несколько минут в обществе другого, равного себе по образованию, по...

— Не знаю, насколько вы образованны, г. Матов,— живо перебила она его — но не сомневаюсь в вашей порядочности и потому попрошу вас или идти вперед, или дать мне дорогу: я не желаю продолжать ни к чему не ведущего разговора.

Нетерпение Евгении Александровны заметно возрастало с каждым ее словом.

— Сию минуту...— учтиво поклонился доктор.— Но прежде, чем мы расстанемся, мне хотелось бы напомнить вам об одном из ваших родственников, с которым я познакомился месяц тому назад в Петербурге. Может быть, мои сведения о нем будут небезынтересны для вас...

— У меня нет там родственников,— сказала Белозерова по-прежнему сухо.

— Я говорю о князе Петре Михайловиче Львове-Островском...

При этом имени легкое судорожное движение чуть-чуть искривило тонко очерченные губы девушки. На одно мгновение она как будто смутилась, но глаза у нее тотчас же сверкнули холодным огнем, и как-то особенно резко отозвался в ушах Матова ее решительный бесстрастный ответ:

— Подобное знакомство не делает вам чести; скажу даже больше — оно прямо указывает мне, что я хорошо поступила, не приняв бесчестия видеть вас у себя в доме.

Лев Николаевич вспыхнул как порох.

— Мне остается только пожалеть, сударыня,— сказал он, едва сдерживая овладевшее им негодование,— что на вашем месте не стоит в эту минуту мужчина...

Белозерова гордо выпрямилась, выслушав этот слишком прозрачно замаскированный вызов.

— И, однако ж, даже глупость настоящей фразы не заставит меня изменить ни моего намерения, ни моего взгляда на вашу особу! — проговорила она с затаенной горечью и медленно, почти величаво пошла вперед.

— Вы перемените его... вы должны будете переменить его! — запальчиво крикнул ей вслед Матов.

Но хозяйка Завидова даже не оглянулась на доктора.

Лев Николаевич не скоро после этого пришел в себя; он решительно не мог определить теперь, что с ним делается: его попеременно бросало то в жар, то в холод. Это было какое-то невыразимо странное состояние, в котором хаотически перемешалось несколько самых разнородных чувств, заглушая одно другое; то брало верх негодование, то вдруг оно уступило место какому-то обаятельному ощущению неяс-

но-сладкой тревоги, а это последнее переходило, в свою очередь, либо в жгучее любопытство, либо в порыв безнадежной и беспредметной тоски.

«Так вот она какова, эта сумасшедшая-то тетушка князя!» — отчетливо промелькнуло наконец в голове доктора. Он очнулся теперь от своего мучительного забытья и медленно, будто нехотя, побрел домой, не разбирая дороги...

Глава V

«ЧЕСТНЫЙ ОТВЕТ — НА ЧЕСТНЫЙ ВОПРОС»

Балашев в новенькой рубахе из светлого ситца, запустив за пояс большие пальцы обеих рук, толковал у своего крыльца с возчиками какой-то клади, лежавшей тут же на выпряженных возах, когда Матов рассеянно подошел к постоялому двору.

— Раненько же ты сегодня поднялся! Доброго здоровья! — приветливо сказал ему хозяин.— Авдотья поросенка тебе к обеду сжарила. Едите поросят-то? Самый ососочек.

— Ем,— безучастно ответил доктор.

— Что же ты без меня на охоту-то пошел? Поди-ка, ничего не убил? А знатная, надо быть, у тебя двустволка-то; дай хоть поглядеть на нее.

Выражение лица и тон голоса, с каким произнесены были эти слова, сразу обличили в Никите Петровиче бывалого страстного охотника. Он бережно принял поданное ему Матовым ружье и тщательно, с любовью осмотрел его со всех сторон, не позабыв даже заглянуть поочередно в дула обоих стволов.

— Эх, ружьецо-то, ружьецо... важное! — со вздохом проговорил наконец Балашев, неохотно возвращая доктору его собственность.

«Разве подарить старику ружье? К чему оно мне? Да и какой я охотник! Вот даже по вороне промахнулся сегодня... Будет с меня на дорогу и одного револьвера»,— как-то машинально подумал в эту минуту Лев Николаевич.

— Хотите, хозяин, я уступлю вам мое ружье? — громко обратился он к Балашеву, голубые глаза которого так и заискрились при этом почти ребяческой радостью.

— Да ведь оно, поди, каких денег-то стоит? Уж энто выходит не по нашему, мужичьему, карману...— замялся Никита Петрович и с некоторой тоскливостью посмотрел, почесываясь, на соблазнительную двустволку.

— Я вам дарю ее на память,— ласково пояснил Матов. Он снял с себя ружье и подал его хозяину, совершенно по-детски растерявшемуся теперь от неожиданности такого щедрого подарка.

— Только позвольте мне иногда пользоваться им у вас, пока я живу здесь,— прибавил доктор.

— Ну?.. и взаболь?! — радостно вскрикнул старик, как бы не вполне доверяя еще словам жильца.

Он, однако ж, уже любовно взвешивал тем временем ружье на ладонях своих растопыренных рук и с минуту молча, с нескрываемым восторгом посматривал то на возчиков, то на доктора.

— Ну-у!.. удружи-и-ил! Вот так уж удружи-и-ил! Не знаю, как звать-то тя по имени-отчеству? — проговорил наконец Балашев, отвешивая постояльцу низкий поклон.

Матов назвал себя.

— Вот так удружи-и-ил, Лев Миколаич! — повторил хозяин, снова кланяясь.— Ну, благодарим покорно! Никогда я вам эвтого не забуду... заслужу! Уж так заслужу тебе, што... и-и! мое почтение.

Старик осторожно переложил ружье в левую руку, а правую как-то размашисто протянул доктору.

— Вечерком зайдите ко мне, так я вам и все принадлежности к нему вручу,— равнодушно сказал Матов, очевидно, не придававший никакого значения своему нечаянному поступку.

Он, впрочем, очень охотно пожал здоровенную, мозолистую руку хозяина и молча пошел к крыльцу.

— С Микиты Петровича теперь, по-настоящему-то, надоть бы лычки,— лукаво заметил один из возчиков.

— Эвто значит: навостри в кабак копытки! Так, что ли? — добродушно рассмеялся Балашев.— Можно. Ужо вот работница управится, дак сбегает. Можно, можно,— любезно подтвердил он еще раз и чуть не с благоговением понес ружье вслед за поднимавшимся па крыльцо Матовым.

Быть может, в другое время Лев Николаевич и сам от души порадовался бы тому удовольствию, какое доставил он старику своим подарком, но теперь совсем не то занимало разгоряченную голову доктора. «Хорошо поступила, не приняв бесчестия видеть меня у себя в доме!..» — сотню раз настойчиво повторял он в уме, меряя большими шагами свою квартиру. Эта назойливая мысль не давала ему покоя; она раздражала еще больше его и без того сильно возбужденные нервы. Лев Николаевич был слишком самолюбив для того, чтоб, сославшись на (не разб.), обойти ее одним вы-

сокомерным равнодушием, слишком честен, чтоб не признать за ней известной, хотя, быть может, и самой крошечной доли справедливости. Матов почти не прикоснулся к вкусному домашнему обеду, который мог бы сделать честь такой неопытной поварихе, как Авдотья Никитична. Сколько ни упрашивала она доктора: «Побалуйся ты хоть ососочком-то»,— на все ее просьбы несговорчивый жилец угрюмо твердил одно: «Право, я сыт, совсем сыт».

Заглянул было к нему и Балашев, но после двух-трех отрывистых фраз постояльца деликатно поспешил стушеваться. Солнце начинало уже играть красноватыми лучами на окнах, а Лев Николаевич все еще продолжал шагать из угла в угол, упорно обдумывая что-то. Наконец, медленно поправляя очки, он остановился перед кучкой сложенных у стены чемоданов, нетерпеливо порылся в верхнем из них, потом досадливо сбросил его на пол и порывисто достал из второго маленькую дорожную шкатулку с письменными принадлежностями. Матов до того был занят поглотившей его теперь мыслью, что, садясь писать к столу, он машинально, сам не зная зачем, зажег свечу, как будто не подозревал, что в комнате совсем светло еще. Листик почтовой бумаги заметно дрожал под всегда самоуверенной рукой доктора, пока она лихорадочно набрасывала следующие строки:

«Милостивая государыня, Евгения Александровна, при нашей неприятной встрече сегодня утром вы изволили заявить мне, что сочли бы за бесчестие видеть меня у себя в доме. Позвольте мне надеяться, по крайней мере, что вы не сочтете новым позором для себя, если я в качестве человека, не имеющего никаких причин не уважать вас, решаюсь немедленно потребовать от вас отчета в вашей дерзкой фразе, которую, в силу указанного сейчас мотива, ни в каком случае не могу оставить без разъяснения. Может быть, мне суждено получить отказ и в этом, совершенно справедливом требовании. Тогда я вынужден буду обратиться к вам уже с прямым вопросом: соответствует ли ваша смелость на словах храбрости на деле? Вы назвали глупостью мои слова, когда я выразил сожаление, что на вашем месте не было в ту минуту мужчины. Позволяю себе спросить теперь: какого же удовлетворения могу я получить от женщины за незаслуженно наложенное ею пятно на мою честь? Потрудитесь принять в соображение при этом, что я всегда считал ваш пол равноправным с моим и привык видеть в каждой женской личности тот высокий образ, какой носила и моя покойная мать. Честный ответ на честный вопрос

обязателен, по-моему, для всякого сколько-нибудь уважающего себя человека, и если вам угодно будет обойти молчанием настоящее письмо, то я не поставлю в особенную честь себе, что потрудился написать его.

А пока примите, милостивая государыня, искреннее уверение в моем совершенном почтении.

Лев Матов».

Кончив писать, доктор впал в минутное забытие и, даже ни разу не пробежав вновь глазами своего оригинального наброска, стал торопливо заклеивать его в конверт петербургской работы с изящно вытиснутыми буквами на месте печати. «Кажется, уж я и сам начинаю сходить с ума на здешней заразительной почве»,— подумал он только, быстро подписывая адрес.

— Любезный хозяин! — позвал наконец Лев Николаевич Балашева, слегка приотворив дверь в его половину.— На одну минутку.

Никита Петрович не замедлил явиться.

— У меня будет к вам большая просьба, хозяин,— обратился к нему Матов, смущенно повертывая в руках только что изготовленное письмо.— Не возьметесь ли вы передать вот эту записку сегодня же г-же Белозеровой?

На лице старика, в свою очередь, выразилось крайнее смущение.

— То есть эвто помещице нашей, што ли? — медленно переспросил он, почесав кончик правого уха.

— Да.

— Не могу никак я тепериче эвтого самого, не могу, хоть бы и рад угодить тебе всем сердцем,— проговорил Балашев, выступая на полшага вперед.— Эку ты мне задачу мудрену задал! — вздохнул он после минутного молчания.— Как ни верти ее — все, значит, дело дрянь выходит: перво-наперво, меня туды дальше двора и не пустят; второ, коли и проберусь как-нибудь на кухню, дак опять же в горницу не допустят, а записочку вашу никто не посмеет к ней понести, эвто уж как пить дай. Неладное вы дело задумали... Да тебе что от нее надо-то, ты мне скажи?

— Просто пишу ей, что хочу познакомиться,— солгал Матов.

— Эка ты задача, право! — повторил Балашев, опять почесав кончик уха.

— Уж как-нибудь сослужите вы мне эту службу, хозяин,— вкрадчиво попросил доктор.— Вот мы и поквитаемся за ружье.

— Так, так...— задумался Никита Петрович.

— Так что же, хозяин? Решайтесь! — уговаривал его Лев Николаевич.

— На эдаки дела тоже решиться, дак надо сперва с подушкой ночь потолковать... Ну! Да уж нечего делать, человек-то ты будто душевный, надо как-нибудь оборудовать дело; для другого кого не достичь бы того и за тысячу рублев, а для тебя завсегда удружу. Мы вот ужо как эвто справим: Авдотью я туда пошлю — верное так дело-то у нас будет: Евгения Александровна ее любит. Э-эх! — с чувством заключил Балашев.— За что ружье... да я не знаю... да я бы, кажется, девки тебе моей не пожалел, не токмо што... Вот што!

— Постараюсь пригодиться и я вам в другой раз,— ласково заметил Матов, вставая и трепля старика по плечу.— Спасибо, хозяин!

После непродолжительных совещаний Авдотья Никитична накрылась красным платком и отправилась в путь. Доктор торжествовал теперь, уверенный, что его письмо дойдет, по крайней мере, по назначению. Тем не менее он сидел как на иголках, дожидаясь возвращения хозяйской дочери. Прошел, однако, час, а ее все не было; убежало еще полчаса — все нет. Наконец, когда на двор залегла уже темная ночь, Лев Николаевич невольно вздрогнул, услышав скрип отворяемой наружной двери и шорох торопливых шагов в сенях. Это действительно возвратилась Авдотья Никитична.

— Ну что?.. Благополучно ли сходили? — не дал ей Матов даже переступить порога.

— Кабы знала я, так ни за что бы не пошла; лучше и не посылай в другой раз,— сердито ответила девушка, запыхавшись от скорой ходьбы.— Евгения Александровна таку мне гонку за тебя дала, што я просто со стыда у ней сгорела... На вот, читай... писулька тебе,— прибавила она, неловко доставая из-за ворота рубашки запечатанную черным сургучом записку.— Все тут тебе прописано.

И Авдотья Никитична, наскоро передав доктору принесенный ею ответ, тотчас же ушла, с явным неудовольствием хлопнув за собой дверью.

Лев Николаевич мельком взглянул на адрес записки, кратко гласивший: «Г. Матову»,— и с лихорадочным нетерпением распечатал ее, как будто дело шло о его жизни. Действительно, содержание этой «писульки» было не совсем обыкновенно. Хотя доктор и мог ожидать от ее автора какой-нибудь новой эксцентричной выходки, но то, что прочел

теперь Лев Николаевич, поразило его самым неожиданным образом. Вот что ему писали:

«Милостивый государь, честный ответ на честный вопрос обязателен и по-моему. В силу только этого я отвечаю вам. Впрочем, ответ мой будет немногословен. Вот он: попросите вашего уполномоченного обратиться завтра за необходимыми условиями к лекарю здешней женской больницы Августу Карловичу Зауэру, которого я, со своей стороны, избираю свидетелем. Он занят все утро до четырех часов, а с этого времени будет ожидать до позднего вечера помянутого визита.

Готовая к услугам вашим Е. Белозерова.

Примите, милостивый государь, к сведению, что я стреляю мастерски».

Матов решительно не хотел верить своим глазам, пробегая этот категорический ответ, так смело набросанный мелким, но твердым, почти мужским почерком.

— И подобный ответ пишет мне женщина? Да ведь это наконец настоящее безумие!

Доктор порывисто вскочил со стула и опять зашагал по всем комнатам.

— А между тем из уважения к ней я не вправе уже отступить теперь, тем более, что сам первый затеял всю эту нелепость... Но разве я желал этого именно? Я хотел только, чтобы она заочно извинилась передо мной за свое неуместное выражение или, по крайней мере, разъяснила мне мотив его... Нет! Во всяком случае, это чушь... во всяком случае, нужно употребить все силы, чтоб предупредить несчастие... Впрочем, какое же несчастие? Разве поднимется когда-нибудь моя рука стрелять в женщину, хотя бы ее пуля и пронизала меня насквозь?.. Что за чепуха такая! Просто нужно ехать, ехать и ехать отсюда, и чем скорее, тем лучше. Наконец, у меня даже нет секунданта: где я найду его здесь? Ни души знакомой... Ну, это-то, положим, Лев Николаевич, еще недостаточная причина для отказа! — раздражительно накинулся на себя доктор, продолжая рассуждать вслух и еще порывистее шагая от угла в угол.

«Пусть же будет все так, как она хочет, но ни единой кровинки не прольется... За это я ручаюсь!» — мысленно решил, наконец, Матов, подходя к постели.

Он бросился в нее нераздетый и почти тотчас же заснул каким-то гнетущим, далеко не освежающим сном...

Глава VI

ПЕТР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ТЕРЕНТЬЕВ

Пасмурное утро стояло над Завидовом, когда проснулся доктор. Солнце уже не посылало ему сегодня в окна приветливых лучей; оно как будто хотело подделаться под настроение его души, на дне которой тоже затаилось теперь какое-то непреодолимое уныние. Облокотясь левой рукой на изголовье постели, Лев Николаевич долго просидел на ней в таком положении, весь погруженный в глубокую, невеселую думу. Он не заметил, как Авдотья Никитична раза два осторожно заглянула к нему в дверь, желая, вероятно, удостовериться, проснулся ли жилец; даже звяканье чайного прибора и шипенье поставленного на стол самовара не могли сразу вывести его из этого раздумья. Матов только тогда очнулся, когда хозяйская дочь окликнула его с ласковой насмешкой:

— Пей-ка ужо чай-то. Чего нос повесил?

— Пожалуйста, попросите ко мне вашего отца,— отрывисто выразил ей свое желание доктор.

— Тятеньку позвать? — бойко переспросила она и вышла, не дожидаясь ответа.

— На что я тебе опять понадобился? Доброго утра! — сказал Балашев, входя минут через десять в комнату жильца и как-то подозрительно оглядывая его нахмуренную фигуру.

— Есть у вас своя лошадка, хозяин?

— Найдется и парочка, а што?

— Не дадите ли вы мне работника или, еще лучше, не съездите ли сами со мной на завод? Это ведь недалеко, кажется,— спросил Матов.

— Близехонько. Эвто можно. А вам на што туды понадобилось?

— Да так, от скуки хочу осмотреть завод,— сдержанно схитрил Лев Николаевич.

— Можно, можно,— подтвердил Никита Петрович.— Работник-то у меня, признаться сказать, за дровами уехал, а я тебя сам ужо свожу; да мне-то там и познакомее будет. Вот напейся чайку-то, дак и махнем, а то еще, пожалуй, бог дождичка даст: шибко заморочало чего-то.

— Будьте покойны, хозяин, за это я расплачусь особо,— пообещал Матов.

— Ла-адно. Што об этом толковать! Не семь верст киселя есть. Сичас вот запрягать пойду. До повидания ужо! — откланялся Балашев.

Спустя час времени Лев Николаевич подъезжал уже к Завидовскому железному заводу, восседая рядом с хозяином на доске, привязанной поперек обыкновенной деревенской телеги, и испытывая не совсем приятную тряску. Завод был не особенно велик, но что бросалось там в глаза, явно подтверждало, что он содержится в образцовом порядке: жилые заводские строения были расположены по берегу той же самой речки, что протекала и в Завидове, только здесь она уже принимала гораздо более широкие размеры, так как завод находился версты на полторы ниже села, а не в полуверсте от него, как ошибочно сообщил доктору князь. По левую руку от этих строений толклись различные мастерские, замыкаясь в конце поперечным рядом кирпичных построек, предназначенных для склада всевозможных материалов. Таким образом, завод представлял из себя правильный четырехугольник, образуя изнутри как бы площадь, посреди на которой возвышалось продолговатое массивное здание, вместившее главное производство. Матова удивило множество ребятишек, сновавших здесь и там, на что Балашев пояснил доктору, что все почти рабочие, в особенности женатые, живут при заводе и что только немногие из них приходят сюда на работу из села.

— Отчего же так мало видно женщин? — полюбопытствовал Лев Николаевич.

— А робять, известно: кто в поле, кто по домашнему обиходу. Ребятишек теперича до пятнадцатого году Петр Лаврентьевич к работе не допущают, штоб, значит, не надсадились; только в школу ходят, да, вишь, учитель-то у них вот уж вторую неделю как хворает, дак оне и балуют,— растолковал Никита Петрович.

В это время телега медленно проезжала мимо длинного деревянного здания новейшей постройки, обратившего на себя внимание доктора устроенными почти в каждом окне вентиляторами.

— Эвто уж как есть по твоей части: больница, значит,— снова пояснил на его вопрос хозяин.— А вон там, подальше-то, вишь, где дом-то в пять окон с зелеными ставешками? — там, стало быть, сам управляющий живет.

— Вот вы у этого дома и остановитесь,— попросил Матов.

— А вам на што?

— К управляющему хочу зайти.

— Да ты его теперече тут не захватишь: он на заводе; туды сходи. А я ужо кума повидаю. Вон ты меня где ищи, видите? — сказал Балашев, останавливая телегу, чтоб дать

слезть доктору, и указывая ему рукой на какую-то приземистую кузницу.

Лев Николаевич только что отошел несколько шагов по направлению к главному зданию завода, как вдруг его остановил раздавшийся сзади громкий голос хозяина:

— Вон он домой, Петр-то Лаврентьевич, пошел; догоняй его скорее! — кричал доктору Балашев, кивая головой на кучку рабочих, следовавших за молодым человеком в сереньком пальто и соломенной шляпе с широкими полями.

Матов поспешил в ту сторону.

— Не меня ли вам угодно? — уже с крыльца обернулся к нему молодой человек, когда один из рабочих что-то шепнул на ухо последнему.

— Я имею удовольствие говорить с г. управляющим здешнего завода?

— Именно.

— Петр Лаврентьевич Терентьев?

— Так точно.

— Доктор Матов, — с вежливым поклоном отрекомендовался Лев Николаевич.

— Очень приятно... — протянул ему руку Терентьев; потом, слегка наклонив голову, он прибавил: — К вашим услугам.

— У меня имеется покорнейшая просьба к вам... Одна из них неважна и не к спеху, а другая... я бы желал переговорить о ней с вами с глазу на глаз, — заявил доктор.

— Пожалуйте за мной, только не можете ли вы обождать хоть минут десять, пока я сочту рабочих? — спросил управляющий, вынимая из бокового кармана пальто записную книжку и следуя внутрь дома.

— Даже полчаса и больше, настолько я не спешу, — сказал, идя за ним, Матов.

— Сделайте одолжение, присядьте пока вот хоть здесь на диван, — предложил ему Терентьев, останавливаясь на маленькой, открытой в сад террасе, которая вела прямо на переднее крыльцо, откуда они вошли в нее. — Курите? Прикажете папирос?

— Благодарю вас, у меня есть с собой сигары и спички, — отозвался Лев Николаевич.

Управляющий молча поспешил на крыльцо, где рабочие, расположившись теперь уже на его ступеньках, вполголоса, но горячо спорили между собой о чем-то. Матов закурил сигару и с любопытством стал рассматривать издали плотную фигуру своего нового знакомого. Фигура эта действительно была интересна во многих отношениях, но прежде всего

бросилась в глаза несомненными признаками цветущего здоровья и физической силы. Тем не менее последнее качество не настолько преобладало у Терентьева, чтобы наносить ущерб его нравственной стороне; об этом ясно свидетельствовали и добродушные глаза с замечательно умным взглядом, и приветливая, несколько сдержанная улыбка, и, вообще, все выражение открытой физиономии молодого человека. Смотря на нее и на мускулистые сильные руки, которыми он теперь энергически жестикулировал, как-то невольно приходило в голову, что руки эти легко поднимутся на защиту обиженного, но не пошевелят и пальцем, чтоб нанести кому-нибудь незаслуженную обиду. К Петру Лаврентьевичу очень шла его русая, с рыжеватым оттенком, клинообразная бородка, отпущенная по одной линии с усами, между тем как тщательно выбритые бакенбарды приятно выставляли на вид молочно-румяные щеки. По обращению Терентьева с рабочими можно было бы почти безошибочно заключить, что он или сам вышел из народа, или, по крайней мере, стоял к нему когда-нибудь в самых близких отношениях, если бы этому столь же очевидно не противоречила безупречная, вполне европейская развязность движений молодого человека. На вид ему лет тридцать или около того, но не больше.

«Ужасно он напоминает манерами американца»,— подумал Матов, которому чрезвычайно удобно было наблюдать за ним со своего открытого поста.

— Чудаки вы, братцы! — доносился между тем до слуха доктора звучный баритон управляющего.— Не хотите понять собственной пользы: ведь ежели я рассчитаю вас по вашему-то, так сами же вы и потерпите убытку по рублю восьми гривен в неделю на брата. Ну-ка, Степан Гаврилович! У тебя половчее смекалка-то, раскинь ты ее хорошенько да разжуй товарищам-то, что брешут они, больше ничего. Либо столкуйтесь вы наперед промеж себя порядком да потом уже и приходите сюда: меня вон еще гость ждет...

— Да мы те и на веру дадим,— заметил один из рабочих.

— Нет уже, брат, сам ты знаешь, до веры-то я небольшой охотник,— с улыбкой возразил ему управляющий.— Поди посчитай лучше прежде.

Заводские ребята переглянулись и, ухмыляясь, один за другим стали неохотно отступать от крыльца.

— Теперь я весь к вашим услугам,— обратился через минуту Терентьев к Матову, всходя на террасу и располагаясь против него на стуле.— Чем могу вам служить?

Доктор как будто смутился немного от этого прямого вопроса и не сразу ответил на него.

— Признаюсь... Я по правде в весьма... странном положении,— медленно проговорил он наконец, роясь в боковом кармане своего сюртука и вынимая оттуда скомканное письмо Белозеровой.— Моя просьба, вероятно, также покажется вам... очень странной, но прежде, чем высказать ее, я попросил бы вас прочесть вот эту записку...

Петр Лаврентьевич не без удивления принял письмо из рук Матова, но прочел его внимательно и совершенно спокойно, по крайней мере, доктор, пристально следивший за выражением лица управляющего, не заметил на этом лице ничего такого, что бы доказывало противное.

— Сколько я понимаю, это или вызов, или прямое согласие на него? — сказал вопросительно Терентьев, по-прежнему спокойно отрывая глаза от последней строчки письма и поднимая их на собеседника.

— Мне тоже кажется, но дело в том, что я ненадлежащим образом понят...

— Мной?

— Евгенией Александровной.

— Ах, г-жой Белозеровой! — повторил Терентьев, заметно подчеркнув последние два слова.— Чего же вы от меня желаете?

— Позвольте мне передать вам прежде всю эту нелегкую историю...— почему-то сконфузился доктор.

— Но, г. Матов,— живо перебил его управляющий,— вероятно, г-жа Белозерова не считает нелепостью того, к чему она позволила себе отнестись так серьезно, так...

— Все-таки, прежде чем делать какие бы то ни было заключения,— не дал ему договорить в свою очередь Лев Николаевич,— я попросил бы вас выслушать меня хладнокровно.

Терентьев только кивнул головой в знак согласия, но не сказал ни слова; от доктора не ускользнула, впрочем, легкая тень неудовольствия, мелькнувшая теперь на лице управляющего. Задумчиво поправив очки, Матов довольно подробно передал ему обстоятельства своей встречи с Евгенией Александровной и восстановил почти слово в слово текст известного письма к ней.

— Как видите,— сказал он, заключая этим свой рассказ,— с моей стороны не было подано никакого повода к оскорблению, если я погрешил чем-нибудь, то разве... излишней вежливостью.

— Говоря откровенно,— возразил Терентьев,— и в том,

что вам угодно называть «излишней вежливостью», я усматриваю только некоторую навязчивость; что же касается вашего письма, то смысл его очевиден и, по-моему, оно понято надлежащим образом.

— Относительно письма мне не приходится спорить: я погорячился и принимаю на себя ответственность за это; но, право, если даже допустить, что я был навязчив, то все-таки поведение Евгении Александровны...

— Извините,— с прежней живостью перебил доктора управляющий,— я не вхожу в оценку ни вашего, ни ее поступка; выразив же просто свое мнение, ограничусь вопросом, чем могу служить вам?

— Согласитесь, Петр Лаврентьевич, что ведь это — пренеприятная история...— еще раз уклонился почему-то Матов от прямого объяснения.

— Так точно; но я тут при чем же? Г-жа Белозерова, конечно, вправе располагать собой, как она хочет,— последовал холодный ответ.

— Мне кажется, что при маленьком участии с вашей стороны дело это легко могло бы принять иной оборот...

— Не догадываюсь,— нетерпеливо пожал плечами Терентьев.

— Если б вы, например, приняли на себя труд убедить Евгению Александровну взять обратно ее неосторожное выражение...— тихо заметил доктор.

— Сколько я знаю г-жу Белозерову,— возразил, помолчав, управляющий,— она не из тех, которые легче убеждаются чужими доводами, нежели собственными, и с этой стороны я решительно не могу предложить вам услуг.

— В таком случае, мне остается только просить вас быть моим секундантом,— окончательно выразил Матов причину своего визита.

— Меня?! — Терентьев удивленно вскинул на него глаза.— Почему же именно меня? Мне меньше, чем кому-нибудь, позволительно принять на себя подобную роль: при тех хороших отношениях, какие существуют между мной и г-жой Белозеровой, я счел бы крайней неделикатностью встать на сторону ее противника — это раз; кроме того, извините, дуэль, по-моему, величайшая глупость, какую только придумал мир...

— Не лучшего мнения и я о ней. Но уж вы, ради бога, выручите меня,— горячо проговорил Лев Николаевич, вставая.— Мне решительно не к кому обратиться больше. Войдите только в мое положение: я здесь проездом, ни-

кого не знаю, да, наконец, я думаю, никого бы и не нашел, кроме вас.

Терентьев тоже встал и несколько раз провел у себя по лбу ладонью правой руки.

— Вы, право, ставите меня, доктор, в весьма неприятное положение,— сказал он как-то неопределенно, не то отказываясь, не то принимая предложение.

— Верю от души и хорошо понимаю деликатность вашего отказа; но я все-таки усердно повторяю вам свою просьбу... ради исключительности моего собственного положения,— пояснил Матов, порывисто пожимая ему руку.

Петр Лаврентьевич не совсем охотно принял это пожатие, опять потер себе лоб, находясь в очевидном раздумье.

— Вы ничего не будете иметь против того, если я предварительно переговорю об этом с самой г-жой Белозеровой? — спросил он наконец, как-то добродушно-выразительно останавливая свои серые глаза на собеседнике.

— Сделайте ваше одолжение.

— В таком случае, часа через два я дам вам положительный ответ. Вы остановились, конечно, на станции? — осведомился управляющий.

Матов назвал ему постоялый двор Балашева.

— Найду,— коротко сказал Терентьев и раскланялся.

Отыскав Никиту Петровича в указанной им кузнице, доктор крикнул ему: «Едемте!» — и торопливо вскарабкался на хозяйскую телегу.

— Неуж поспели оглядеть завод в эко коротко время? Скоренько же! — заметил Балашев, трогая вожжами.

— Сегодня управляющий занят, осмотрю в другой раз,— отрывисто пояснил Лев Николаевич.

Он молчал потом почти всю дорогу, изредка только вставляя неохотное слово на вопрос спутника, который наконец и оставил в покое доктора, благоразумно заключив, что «толку, мол, от него не добьешься, што за человек таков есть». Матов, впрочем, и сам не мог бы определить теперь своего настроения; в голове у него роились какие-то странные мысли, возникали какие-то смутные не то догадки, не то предчувствия. Он думал о Белозеровой, думал о Петре Лаврентьевиче, и, чем дольше сосредоточивалось на последнем внимание доктора, тем сложнее и запутаннее становились его торопливые выводы об управляющем.

«Что это за личность? На авантюриста он непохож, на романического любовника — еще того меньше, так какие же могут существовать отношения между ним и Евгенией Александровной? Сам Терентьев сказал, что «хорошие»...

Гм! Хорошие!.. Это весьма неопределенно. По-видимому, и общего-то ничего нет у них: один — очевидно, деловой малый, немножко буржуа с американской складкой, крепок и сведущ, как и следует быть такому субъекту; другая — нечто идеальное... Например, это славное страдальческое лицо с огненными глазами... Впрочем, ведь контрасты иногда влекутся взаимно... Да нет! Не может быть... Наконец, разве бы он отнесся так спокойно к этой истории, если б между ними было что-нибудь?.. Но в том-то и дело, что уж слишком подозрительно казалось это спокойствие: хоть бы удивление выразил! А то он, право, выслушал мое объяснение точно так, как выслушал бы меня, вероятно, и завидовский поп, если б я предложил ему отслужить мне напутственный молебен... Да! странно... Страннее всего, однако, то, что я здесь на каждом шагу делаю глупости, глупости и глупости!!!»

Почти такова была, за немногими исключениями, основа дум и выводов Льва Николаевича, пока он ехал обратно. У себя дома, напрасно поджидая довольно долго Терентьева, Матов даже почувствовал что-то вроде ненависти к нему (не разб.), впрочем, дать себе удовлетворительный ответ в этом новом чувстве, не имевшем пока никакой законной причины. Между тем Петр Лаврентьевич, хотя и не через два часа, как назначили раньше, а уже после сумерек, все-таки завернул к доктору с обещанным ответом.

— Я опоздал, извините,— сказал он быстро, входя и здороваясь,— кое-что меня задержало. На вашу просьбу согласен... ради необыкновенной исключительности данного случая и то погрешу против принципа. Был сейчас у секунданта вашей противницы и привез вам ее условия. Вот они.

Терентьев вынул из кармана исписанный лоскуток бумаги и, заглядывая в него в промежутках речи, отчетливо продолжал:

— Г-жа Белозерова желает, чтобы поединок состоялся завтра ровно в шесть утра, пока спит село. Места я вам не назову теперь, а укажу его в назначенное время, так как вы все равно не знаете здешних окрестностей. Оружие — пистолеты. Если их у вас нет, я могу служить своими. Будет брошен жребий, кто первый должен стрелять, г-жа Белозерова первенства этого не хочет. Выстрелы последуют с места на расстоянии восьми шагов. Промах, даже с обеих сторон, не дает права на возобновление дуэли, и дело после того считается оконченным. Принимаете ли вы эти условия?

— Да, я согласен,— почти безучастно отозвался Матов, хотя в следующее мгновение сердце забило у него непреодо-

лимую тревогу. Он встал и прошелся по комнате с видом человека, не знающего, за что ему теперь приняться.

— Я с удовольствием напился бы у вас чаю, доктор, если это никого не обеспокоит,— сказал вдруг управляющий, пристально и, по-видимому, не без участия следивший за хозяином своими добродушными глазами.

Лев Николаевич мгновенно оживился.

— Распоряжайтесь у меня как дома, Петр Лаврентьевич,— заговорил он самым приветливым тоном.— Мы теперь товарищи, хотя, может быть, и ненадолго, может быть, даже и против вашей воли... Поверьте, что без уважения к вам, на чем бы оно ни основывалось, я, с своей стороны, никогда не позволил бы себе предложить вам ту роль, которая связывает нас на известное время. Так точно. Премного вам обязан! — заключил доктор, несколько горячо пожав обеими руками протянутую ему при последних словах руку гостя.

Спустя полчаса молодые люди, сидя уже за чаем, мирно беседовали между собой на совершенно постороннюю тему, видимо, стараясь не затрагивать щекотливый случай, сведший их вместе; сказано было только кое-что насчет того, какое объяснение дать завтра Балашеву, если б он сделался свидетелем выбытия из дома. Правда, вначале такое воздержание стоило Матову больших усилий; но после двух-трех деликатных отклонений со стороны гостя Лев Николаевич решился не говорить сегодня больше об этом предмете. Речь у них шла теперь о заводских порядках.

— Крестьяне, пожалуй, обижаются на меня и за то еще,— с жаром говорил Терентьев,— что я не допускаю к работам подростков. Но я на это не смотрю: мальчики довольны таким распоряжением, а ведь они-то и составляют молодое поколение, выгоды которого я считаю долгом беречь гораздо больше, чем интересы взрослых. И у нас, да и за границей, мне пришлось насмотреться, как злоупотребляют подростковыми силами, и там тоже разумный экономический расчет чаще всего отодвигается на задний план, а грошовый...

Управляющий как-то странно замолк вдруг и задумался.

— А вы долго жили за границей? — спросил Матов, видимо, желавший уловить какую-то нить из его ответа.

— Достаточно долго для того, чтобы не особенно восхищаться западными порядками,— несколько грубовато проговорил Терентьев и снова задумался.— Однако мне пора и убираться,— очнулся он вдруг сразу, будто от внезапного толчка.— Да и вам, я думаю, покой не помешает: ведь вам завтра рано вставать...

— Теперь вот не поздно,— заметил убедительно доктор.

Петр Лаврентьевич мельком взглянул на часы:

— Нет, не поздно,— подтвердил он, вставая.— Но мне еще придется завернуть на минутку к Зауэру, известить его, что условия вами приняты.

— Так вот что: чем вам делать завтра лишний крюк сюда, приезжайте вы лучше от Зауэра ночевать ко мне,— радушно пригласил Лев Николаевич управляющего.

— Благодарю вас, я переночую в доме Белозеровой,— ответил Терентьев.— Это тоже близко отсюда, да там же, кстати, и моя шкатулка с пистолетами.

Невозможно было произнести эти слова проще и скромнее, чем выговорил их управляющий, но они почему-то кольнули доктора в самое сердце и подняли со дна целую бурю.

— Так до завтра! — сказал он, сильно побледневши и резко переменив тон.

Управляющий посмотрел на него во все глаза.

— Что с вами, доктор?

Матов сконфузился и протянул гостю руку.

— Я неловко настроен сегодня, вот и все. Ради бога, извините меня! — глухо сорвалось у него с языка.

Глава VII

«ПЕТУШОК ИЛИ КУРОЧКА»

Над Завидовом опять стояло серенькое, как вчера же, совершенно осеннее раннее утро, моросян частым и мелким, как пыль, дождиком. Лев Николаевич сидел у открытого окна, и, несмотря на то, что дождевые капли обильно падали на лицо доктора, он ни на минуту не изменил своего неподвижного положения; с первого взгляда можно было подумать даже, что Матов спит. Но сон, очевидно, был далек от него: строгие черные глаза молодого человека задумчиво смотрели в туманную даль и только изредка, как бы утомясь от излишнего напряжения, полузакрывались длинными ресницами. Лев Николаевич действительно не ложился всю ночь. Впрочем, хотя следы этой бессонницы и остались у него на лице, оно было совершенно спокойно теперь и выражало скорее твердую решимость, чем что-нибудь другое.

Немного раньше, чем за полчаса до назначенного срока, к крыльцу постоялого двора почти без малейшего шума подъехал легкий шарабан управляющего.

— О, да вы уж на ногах! Мое почтение! — крикнул Терентьев вздрогнувшему от неожиданности этого приветствия

Матову.— В таком случае мне незачем и слезать, я здесь подожду. Невеселое утро, не правда ли?

— Здравствуйте. Да, не совсем веселое. Но вы зайдите лучше, а то вас промочит: мне еще одеться надо,— ответил доктор, вставая и высовываясь из окна.

— Не стоит, ведь я видите в чем,— Петр Лаврентьевич ткнул пальцем в полу своего непромокаемого плаща.

— Выкурили бы сигару... а? Впрочем, как хотите,— сказал Лев Николаевич, скрываясь за окном.

Управляющий надвинул глубже на затылок клеенчатую фуражку и стал насвистывать какой-то марш.

— Куды эвто, Петр Лаврентьевич, спозаранку-то собрался? — высунулась тем временем из форточки седая голова Балашева.— Доброго здоровья!

— И вам также!

— Далече, говорю?

— Едем с вашим жильцом на охоту, да, кажется, дождь помешает,— объяснил Терентьев.

— Прояснит, кажись,— сказал Никита Петрович, оглядывая горизонт.— Только, надо полагать, много же вы с твоей тележки-то птицы настреляете...— прибавил он с добродушной иронией.

— Потому-то мы и берем ее с собой, чтобы было на чем дичь привезти,— рассмеялся управляющий.

— Разе што так.

Балашев поспешил отойти от форточки, бережно снял со стены докторский подарок и понес его на половину жильца. Оказалось, однако ж, что Льву Николаевичу никакой надобности в ружье не предстояло. Хозяину Матов коротко пояснил только, что «двустволка немного тяжела для него и потому он воспользуется легоньким карабином управляющего, к которому они наперед заедут закусить и напиться чаю». Впрочем, от зоркого глаза Никиты Петровича не ускользнула та особенная тщательность, с какой этот раз одевался его постоялец. Едва только шарабан с мнимыми охотниками отъехал от постоялого двора, старик торопливо вышел на крыльцо и долго с видимым интересом следил глазами за направлением экипажа.

— Што за мудрена притча така! — сказал он наконец вслух, оборачиваясь к сеням.— Едут в дождь на охоту, а наш-то, как на свадьбу, прибрался. На завод, говорит, сперва поедет, а сами вон в каку сторону покатили... Ну-у, притча!

И Балашев тотчас же пошел поделиться своими соображениями с дочерью, которая в эту минуту, как избалованный котенок, грациозно нежилась на полатях, вытянув оттуда в

свободное пространство избы гибкие, обнаженные до самых плечей руки.

Между тем шарабан, искусно управляемый Терентьевым, сделал несколько зигзагов по задам спящего села, направился к господскому дому со стороны, противоположной той, откуда совершал к нему свои прогулки Матов. До тех пор спутники изредка перебрасывались еще немногосложными словами, но теперь, когда бойкий иноходец управляющего побежал еще бойчее, они и совсем умолкли. Доктор курил сигару и сосредоточенно вглядывался в непривычный частокол, испытывая такое же раздражающее чувство, как и в первый день своего приезда. Терентьев рассеянно смотрел куда-то вдаль и насвистывал. Переехав через мост на тот берег реки, шарабан оставил в стороне слишком памятную Льву Николаевичу тропинку и покатил прямо по отлогой, недавно сжатой пашне к соседнему пригорку, накрытому березовым лесом.

— Утром-то, кажется, разгуляется,— сказал вдруг управляющий, круто остановив лошадь и оглядывая все еще дождливое небо, на котором теперь, однако ж, кое-где появились уже слабые голубоватые просветы.— Придется нам здесь слезть, доктор, и пройти несколько шагов пешком. Э! Да у нас еще десять минут в запасе,— заключил он, взглянув на часы, и выскочил из шарабана.

Матов молча последовал его примеру.

Петр Лаврентьевич осторожно провел лошадь в ближайшие кусты и привязал ее там вожжами к сучковатой березе.

— Это очень умный конь,— обратился он, между прочим, к доктору, ласково потрепав по шее своего иноходца.— Сейчас же даст знать, как только сюда явится кто-нибудь непрошеный.

Молодые люди оставили шарабан и пошли дальше. Дождик тем временем почти совсем перестал, и только с темно-зеленой листвы деревьев их обдавало иногда крупными каплями. Терентьев шел впереди, неся под мышкой шкатулку красного дерева с пистолетами. Матов неприязненно посматривал на нее сзади. Пройдя шагов шестьдесят, путники поднялись на довольно возвышенную, совершенно ровную площадку, со всех сторон замаскированную частым березняком.

— Вот мы и на месте,— сказал управляющий, ставя шкатулку на торчавший у опушки леса полусгнивший пень.— Можно еще успеть покурить.

Он вынул из кармана пару папирос, зажег спичку и предложил огня доктору.

— Не хочется,— угрюмо отозвался тот.

— Отчего? Право, покурить не мешает, советую, доктор. Умнейшие дела в мире, я думаю, обязаны частью табачку.

Терентьев с таким добродушным юмором произнес последнюю фразу, что на лице Льва Николаевича невольно промелькнуло нечто вроде принужденной улыбки, и он протянул руку за папиросой.

— Когда я курю, я становлюсь неуязвимым даже для женских глаз,— с некоторой солидностью подкрепил свое мнение Петр Лаврентьевич.

В эту минуту послышался глухой шум подъезжавшего экипажа, почти тотчас же сменившийся каким-то неопределенным говором.

— Шесть ровно,— показал доктору свои часы управляющий.

Матов перешел на противоположную сторону площадки и только что успел прислониться к стволу березы, как прямо перед ним, между деревьев, мелькнула стройная фигура Белозеровой; чья-то длинная рука, протянувшись из-за плеча девушки, предупредительно раздвинула перед ней намокшие ветки. Евгения Александровна была в своем обыкновенном черном костюме. Сразу заметив доктора, она холодно поклонилась ему, слегка приподняв лакированную шляпу, дружески кивнула головой Терентьеву, сделала шага два вперед и остановилась. В эту минуту Белозерову почти закрыла собой долговязая сухощавая фигура в коротком кашлотовом плаще, направляющаяся к Петру Лаврентьевичу. Это был Август Карлович Зауэр. Он сильно напоминал не только своим общим видом, но даже и чересчур продолговатым овалом лица какую-то странную птицу из породы голенастых.

Обменявшись коротким приветствием, секунданты приступили к исполнению своих обязанностей. Прежде всего, разумеется, зарядили пистолеты. Во время этой операции, продолжавшейся минут семь, Льву Николаевичу ужасно хотелось броситься порывисто к своей противнице, сказать ей, что все это глупость, что письмо его нелепо и он готов взять оттуда назад все до последней строчки,— словом, извиниться; но какое-то ложное чувство удержало доктора на месте. Терентьев поднес ему пистолеты для выбора и передал свободный экземпляр их Зауэру, который, в свою очередь, вручил его Белозеровой.

— Шаги мерьте вы,— тихо сказал ему потом управляющий,— у вас ноги подлиннее моих.

Август Карлович, что называется, постарался; он с такой пунктуальностью отмерял восемь шагов, так широко рас-

ставлял при этом свои тонкие ноги, что окончательно напомнил собой журавля и почти у всех вызвал невольную улыбку.

— Должно, теперь очередь кидать? — спросил он у Терентьева с сильным немецким акцентом.

— А вот позвольте.

Петр Лаврентьевич нагнулся, сорвал какую-то колючую травку, похожую на клевер, взял ее левой рукой за стебель, а большим и указательным пальцами правой руки ущипнул на нем то место, где начинался колос, и подошел к Матову.

— Петушок или курочка? — серьезно обратился он к нему.

— Петушок,— последовал не сразу взволнованный ответ.

Терентьев быстро провел пальцами вверх по стеблю и снял с него таким способом колос, из которого образовалось теперь нечто вроде тупой кисти.

— Вы не угадали,— громко сказал Петр Лаврентьевич доктору.— Очередь выстрела не за вами. Если то же самое повторится с вашей противницей, вам придется стрелять одновременно,— прибавил он, значительно понизив голос.

Но оказалось, что Евгения Александровна была счастливее.

— Курочка,— спокойно ответила она на такой же вопрос Зауэра и угадала.

— Г. противники, на свои места! — скомандовал управляющий, отходя немного в сторону.

Интересно было взглянуть в эту минуту на виновников поединка: их лица не выражали ни малейшей вражды, ни малейшего признака отвращения друг к другу,— словом, ничего такого, что можно бывает подметить обыкновенно в подобных случаях. У Евгении Александровны было только какое-то особенно грустное выражение, с которым она, однако ж, невозмутимо встала на месте. Лев Николаевич, по-видимому, тоже спокойно занял свое место, но он был чрезвычайно бледен, и его строгие глаза как будто совестились смотреть теперь на кого-нибудь прямо: они рассеянно блуждали по траве площадки.

— Внимание! — снова скомандовал Терентьев.— Я начинаю считать...

Матов отчетливо разглядел обращенное на него дуло пистолета Белозеровой, видел, что она пристально, с хладнокровным вниманием целится, но куда, в какое место, не мог разобрать...

— Раз... два... три,— медленно отсчитал Петр Лаврентьевич.

В ту же секунду последовал выстрел. Лев Николаевич

вздрогнул, побледнел еще больше и инстинктивно попятнулся.

Управляющий испуганно подбежал к нему.

— Не беспокойтесь, это простая царапина...— успокоил его доктор.

В самом деле, пуля задела Льва Николаевича немного выше локтя, слегка оцарапав ему руку и вырвав клочок тонкого сукна от сюртука вместе с полотном рубашки. Наступила очередь Матова. До настоящего момента он все еще смотрел на этот поединок, как на неразумную шутку, как на капризную выходку своевольной девушки, но теперь, после ее выстрела, нельзя было сомневаться в серьезности дела. У доктора болезненно сжалось сердце.

— За вами очередь,— сухо напомнил ему Терентьев и стал считать.

Матов опять вздрогнул, машинально навел пистолет, но, не дожидаясь конца счета, отвернулся и выстрелил в воздух.

— Браво! — сорвалось разом у обоих секундантов.

Они подскочили к доктору и поочередно, с чувством, выражали ему свое удовольствие. Евгения Александровна, скрестив на груди руки и не трогаясь с места, молча переждала эту неожиданную сцену, и вдруг лицо молодой девушки просияло чем-то необыкновенно хорошим. Она порывисто подошла к Льву Николаевичу.

— Г. Матов! — до обольстительности мягко прозвучал ее голос.— С настоящей минуты я почувствовала к вам настолько уважения, что охотно беру назад оскорбившую вас фразу и, если позволите, сочту за честь пожать вам руку. Помиримтесь и забудемте навсегда... эту... эту... эту...

Белозерова как будто захлебнулась от волнения и, очевидно, не договорив всего, что хотела сказать, только протянула доктору руку.

— Я буду помнить одно — настоящую минуту!..— проговорил он, горячо отвечая на ее пожатие и готовый, в свою очередь, захлебнуться от неудержимого восторга.

Но очарование Матова длилось недолго: Евгения Александровна поспешила высвободить свою руку и отошла прочь. Взглянув теперь в упор на молодую девушку, Лев Николаевич не заметил в ее лице и тени недавней приязни: оно уже попрежнему смотрело холодно и недоступно. Белозерова, кажется, почувствовала на себе этот пристальный взгляд, по крайней мере, она с некоторым замешательством поклонилась остальному обществу и пошла по направлению к выходу.

— Ты поезжай одна,— вполголоса остановил было ее

Терентьев, но, заметив близость Матова, он как будто спохватился и громко сказал: — Я полагаю, Август Карлович вам теперь не нужен?

Евгения Александровна только кивнула ему головой в знак согласия и немедленно удалилась. Минуты три спустя слышно было, как отъехал ее экипаж.

— Господа, — обратился управляющий к обоим врачам, — пойдемте-ка отсюда ко мне на ранний завтрак? Кстати, позвольте вас познакомить...

Доктора любезно раскланялись.

— Покушать завсегда можно, — осклабляясь, выразил свое мнение Зауэр.

Матов подумал и тоже согласился на предложение Терентьева. Оно, впрочем, было весьма кстати: два дня перед тем, не чувствуя аппетита, Лев Николаевич питался довольно плохо и, кроме того, ему предстояла, таким образом, легкая возможность узнать покороче, что за личность его новый собрат по профессии.

Общество не торопясь направилось к экипажам.

— Непременно кто-нибудь чужой шатается около, — сказал управляющий, когда вслед за тем послышалось громкое ржание, и значительно прибавил шагу.

— Нэ-эт! — убедительно возразил Зауэр. — Это Салют нашей фрейлейн.

— Вряд ли...

Не успел Петр Лаврентьевич докончить своей фразы, как налево от них мелькнул чей-то розовый сарафан и скрылся в чаще.

— Вот разве этой фрейлейн... — шепнул Терентьев немцу.

Глава VIII

НЕЧТО НЕПРЕДВИДЕННОЕ

Утро между тем действительно разгулялось, так что, когда общество подошло к тому месту, где был оставлен шарабан, косвенные лучи показавшегося из-за горизонта солнца необыкновенно эффектно окрасили всю местность каким-то прозрачным, будто дрожащим, красноватым оттенком. Птички весело чирикали теперь повсюду, а вдали, над просыпавшимся селом, кое-где белелись уже волнообразные столбы печного дыма.

— Знаете что? — сказал Терентьев, выводя лошадь на пашню. — Мы пройдем до мостика пешком, а то втроем

здесь не особенно удобно ехать. По меже мы выберемся сухой ногой.

— Бойко фрейлейн махнула! — мотнул головой Август Карлович, щурясь вперед и никого не замечая.

— У ней страсть ездить сломя голову,— заметил управляющий недовольным тоном.— Двигайтесь, господа!

Он повел за повод лошадь, а остальные пошли сзади, за шарабаном.

— Какая здесь прелестная местность! — говорил дорогой Матов, то и дело оглядываясь по сторонам.— А ведь, кажется, ничего нет особенного.

— Жаль только, что вот этот перелесок загораживает мостик и вид на мельницу,— возразил Петр Лаврентьевич, кивнув головой налево.

В самом деле, березовый лесок, неправильной дугою огибавший с этой стороны пашню, значительно портил общую картину.

— Вот мы обойдем его сейчас, и вид сделается несравненно лучше,— продолжал управляющий.— Давно бы следовало расчистить это место, да никому в ум, должно быть, не приходило. Я бы вам советовал, доктор, если вы прогостите денек-другой в нашем селе, сходить подальше, вон туда, по береговой тропинке: там действительно есть чем полюбоваться, в особенности... Боже мой! Что это такое?!

Терентьев почти крикнул и на минуту остановился как вкопанный. Спутники его с тревожным изумлением посмотрели в ту сторону, куда он теперь указывал рукой. Шагах в сорока пяти от них, налево, у перил мостика, показавшегося в эту минуту из-за перелеска, лежал на боку, свесившись над крутым спуском к реке, красивый кабриолет с переломленной, должно быть об перила, левой оглоблей, в котором Зауэр тотчас же узнал экипаж Белозеровой. Лошадь стояла почти поперек моста, правая оглобля лежала у нее на спине, и животное сердито било задними ногами, стараясь отделаться от кузова кабриолета, задерживаемого краем перил.

— Ради бога, господа, поспешимте! — задыхаясь, проговорил наконец Терентьев.— С Евгенией Александровной случилось несчастье...

Он опрометью вскочил в свой шарабан и, не дожидаясь остальных, понесся во весь дух к месту происшествия. Матов тоже кинулся туда со всех ног и мало в чем уступил иноходцу.

— Что?.. Что такое случилось?! — запыхавшись, крикнул он Терентьеву, когда увидел, что тот, выскочив из шарабана и заглянув вниз, как-то отчаянно схватился руками за голову.

— Ради бога, вы... Август Карлович!.. Поскорей! — совершенно растерянно обернулся к нему на миг Петр Лаврентьевич и спрыгнул с обрыва.

У Матова тоже упало сердце, когда, добежав до окраины, он посмотрел, в свою очередь, вниз: там, под этим крутым спуском параллельно ему и близехонько от воды, лежала навзничь Белозерова, упершись головой в гнилое бревно, торчавшее вдоль берега несколько наискось и брошенное тут, должно быть, после починки моста. Платье на молодой девушке как-то все скомкалось в одну сторону, обнажив до подвязок белые как снег чулки; шляпа валялась по тому же направлению. Евгения Александровна была, очевидно, в глубоком обмороке, и только пальцы ее правой руки судорожно бороздили рыхлую землю.

— Холодной воды скорее!.. на голову!..— снова крикнул Лев Николаевич суетившемуся бесполезно внизу Терентьеву и вмиг очутился возле самой речки.

Зачерпнув полную шапку воды, доктор всю ее безжалостно вылил на побелевший как полотно высокий лоб Белозеровой и ее гладко причесанные волосы. Она как будто вздрогнула, чуть-чуть приподняла веки и снова опустила их: ясно было, что сознание еще не возвратилось к ней.

— Какая досада!..— сказал Матов, нетерпеливо обшаривая свои карманы.— Я всегда имею привычку держать при себе эфир на случай, а тут, как назло, его не оказывается. Но, вероятно, что это не больше, как обморок, и надо, во всяком случае, продолжать смачивать ей голову...

Подбежал тем временем и Зауэр.

— Э-э! — покачал он головой.— Нехорошо... Да, да!.. воды нужно... больше!

Но вода на этот раз не оказывала своего спасительного действия. Выслушав внимательно слабый пульс Белозеровой и проверив его по секундной стрелке, Лев Николаевич заявил, что больную нужно немедленно донести на руках домой, так как малейшее сотрясение от экипажа может оказаться для нее крайне вредным.

— Я думаю, что лучше ее осторожно довезти. Это будет скорее,— возразил Терентьев.

— Есть случаи, в которых только врачу принадлежит право решающего голоса! — сказал Матов до того резко, что даже Август Карлович посмотрел на него во все глаза.— Я, со своей стороны, повторяю, что малейшая проволочка здесь может стоить ей очень дорого. Любезный товарищ! Вы, конечно, сочтете долгом помочь мне? — обратился он почти повелительно к Зауэру.

— Да! Это должно...— ответил тот несколько сквозь зубы.

Они все трое осторожно подняли Евгению Александровну на руки и, пройдя по указанию Терентьева несколько шагов вдоль берега, благополучно поднялись на него по отлогой тропинке. У самого моста, где эта печальная процессия на минуту остановилась, Петр Лаврентьевич взял за повод своего иноходца и кое-как привязал его левой рукой к перилам, так как вести за собой лошадь Матов настойчиво отговаривал управляющего.

— Ведь это просто сумасшествие, доктор! — тихо объяснял последний Льву Николаевичу, тревожно поглядывая всю дорогу на лицо своей невеселой ноши.— Приказать запрячь себе молоденького жеребенка, которого, помилуйте, только третьего дня еще во второй раз объезжали... А ей это нравится, чтоб лошадь шалила да брыкалась; на смирной, поверьте, она и трех шагов не проедет. Хорошо еще, что бревно-то попалось гнилое, а то ведь бог знает что могло случиться...

Терентьев, как и все вообще люди в первую минуту неожиданного несчастия, стал заметно сообщительнее теперь.

— Нельзя пока предсказать, чем и это кончится...— глухо и как-то неестественно-бесстрастно проговорил Матов.

— Да ведь, полагаю, большой опасности нет же?..— сильно оробел управляющий.

— Трудно сказать...— прежним, далеко не утешительным тоном повторил Лев Николаевич.

Они замолчали и, будто по уговору, прибавили шагу. Но вот и дом Белозеровой. Петр Лаврентьевич, шедший впереди, осторожно толкнул ногой калитку, и она почти без шума отворилась. С неизъяснимым волнением переступил Матов порог этого заветного убежища и был заметно удивлен, если не очарован, той обстановкой, среди которой очутился теперь. В самом деле, угрюмый частокол не обещал ничего подобного: перед глазами доктора сразу запестрели здесь и там желтые дорожки, кустарники, деревья, пышные клумбы цветов, и его так и обдало ароматом их. Нижний этаж дома буквально весь прятался в зелени, и трудно было бы сказать, откуда к нему подъезжают, если б направо сейчас же от ворот не тянулась широкая аллея в глубь остальной, глухо заросшей части сада. Все здесь носило на себе какой-то особый поэтический отпечаток, даже господские службы, мелькавшие кой-где из-за дерев, скорее походили, по крайней мере, издали, на прихотливые миниатюрные дачи, чем на обыкновенные помещичьи постройки. Но опытный глаз садовника напрасно искал бы симметрии в этом царстве зе-

лени: тут не было ничего подстриженного, не было ни к чему приложено раз навсегда принятой мерки; напротив, весь сад представлял из себя какой-то милый беспорядок, напоминая изящный письменный стол, по которому в отсутствие настоящего хозяина, не стесняясь, прошлась шаловливая рука близкой ему женщины.

Таково, по крайней мере, было первое впечатление, произведенное на Матова общей картиной местности, пока его спутники безучастно шагали вперед.

— Она, кажется, простонала... или это мне послышалось? — вдруг обернулся к нему Терентьев.

Лев Николаевич отрицательно покачал головой и почувствовал, как мгновенно исчезла для него вся прелесть окружающей обстановки от слов управляющего.

«Да,— подумал он, тяжело вздохнув,— это все мертво без нее...»

Между тем навстречу печальной процессии опрометью выбежала из дому молоденькая девушка в утреннем беспорядке костюма.

— Господи! Что это... что это сделалось с Евгенией Александровной!!! — громко вскрикнула она, всплеснув руками.

— Не пугайтесь и не шумите, Катерина,— сказал Петр Лаврентьевич,— она ушиблась, и ей нужен покой. Приготовьте, пожалуйста, скорее постель... внизу.

— Нельзя ли положить больную где-нибудь здесь, на открытом воздухе, пока я съезжу домой за пособием? — вмешался Матов.— Это немного освежит ее до тех пор.

Катерина остановилась в недоумении, не зная, кого слушать.

— Да вот тут, на диване, ей будет очень удобно; не мешало бы только кожаную подушку под голову...— предложил Лев Николаевич, вступая вместе с другими на широкую террасу нижнего этажа, которая в виде крыльца спускалась к земле несколькими ступеньками и через готическую стеклянную дверь вела во внутренние покои.— Так на диван, господа! — порешил он безапелляционно.

Катерина тотчас же принесла требуемую подушку, и Белозерову осторожно уложили на диван.

— Теперь я возьму с моста ваш шарабан, заеду домой и мигом вернусь,— обратился Лев Николаевич к управляющему.

Терентьев и Зауэр как-то странно переглянулись.

— Зачем же вам беспокоиться,— заметил Петр Лаврентьевич.— Здесь уже есть врач...

— Дело не в беспокойстве,— резко сказал Матов.— В серьезном случае не мешает иметь и двух.

— О, я хорошо знаю натуру фрейлейн! — досадливо воскликнул Зауэр.

— Но, может быть, вы недостаточно оценили предстоящую ей опасность? — еще раз возразил ему Лев Николаевич.— Хотя и невозможно пока еще определить, в какой степени, но у нее, очевидно, сотрясение мозга. Я психиатр и потому, в качестве специалиста, думаю, что имею право и даже обязан предложить здесь свои услуги. Если вы думаете иначе и беретесь привести больную немедленно в чувство, что необходимо для ее спасения, я готов уступить вам. Беретесь? Дайте честное слово врача?

Матов с такой энергией предложил этот вопрос Зауэру, что тот невольно попятился и промолчал.

«Какой горячий темперамент у этот черноглазый медик!» — подумал он только, должно быть, в свое назидание.

Лев Николаевич вопросительно взглянул на Терентьева.

— Да... ради бога... да поскорее! — отозвался последний.

— А вы все-таки примите свои меры,— уже на ходу посоветовал Матов Зауэру, нарочно обернувшись к нему.

Но меры, принятые Августом Карловичем, не привели ни к чему. Вернувшись каким-то чудом минут через тринадцать (недаром иноходец стоял у ворот весь в пене), Лев Николаевич застал больную в прежнем положении. Он привез с собой в шкатулке целую походную аптечку и, на случай, электромагнитный прибор. Вся прислуга Белозеровой — большей частью молоденькие девушки, мужчин было не видно — собрались теперь в почтительном отдалении около своей хозяйки и выражали на лицах непритворную горесть, многие даже тихонько плакали, очевидно, боясь зарыдать громко. Матов, прежде всего, нашел нужным удалить их всех и потом уже приступил к больной.

— Ах, да! — спохватился он вдруг, вынул из кармана какие-то бумаги и подал Терентьеву.— Считаю долгом удостоверить вас в моем звании.

Петр Лаврентьевич торопливо отстранил их рукой.

— Что вы это!..— покраснел он.

Много стоило труда Льву Николаевичу привести больную в сознание; раза два он даже сомнительно покачал головой, но, наконец, старания его увенчались кое-каким успехом: Белозерова вздрогнула и сделала слабое движение рукой по направлению к затылку.

— Больно!..— чуть слышно простонала она.

Матов заметно просветлел.

— Рассудок, кажется, не помрачен! — радостно шепнул он Терентьеву, тихонько уводя его за руку с террасы в сад.— Я за него только и опасался. Пусть теперь г. Зауэр осторожно, не утомляя больную, расспросит ее, где она чувствует боль и что с ней случилось... Два-три вопроса — не больше; а я пока пройдусь по саду: мой вид, пожалуй, дурно подействует на нее...

И Лев Николаевич, как-то грустно опустив голову, пошел по дорожке вперед. Раздражающий запах цветов, ярко светившее теперь солнце, дружный оклик птиц в соседних кустах — все это так мало гармонировало с настоящим настроением молодого человека, что он решился уйти от них в самую глухую часть сада. Пробираясь большой аллеей, Матов свернул в сторону и наткнулся на миниатюрную в виде фонаря беседку из разноцветных стекол. Дверь беседки была отворена, и Лев Николаевич машинально вошел в нее; но, заметив там на столе письменные принадлежности и какую-то книгу в красном переплете, доктор боязливо покосился на них и хотел вернуться.

«А, впрочем... вторгнувшийся в крепость неприятель имеет право на многое»,— мелькнуло у него в голове что-то вроде болезненной насмешки.

Матов покраснел и протянул руку к столу. Книга оказалась известным трактатом Руссо «De l'inegalité parmi les hommes»[1] и была заложена посредине чьим-то письмом, писанным по-русски и помеченным месяца два тому назад Парижем. Сбоку на свободном месте почтового листа виднелась бойкая приписка карандашом, сделанная рукой Белозеровой: «Ты думаешь так, а я совсем иначе. Живите и множьтесь, и да не потревожат вас больше мои письма», а неизвестная особа, скрывшая почему-то свое имя под скрытною буквой Д., излагала в письме следующее:

«Через час мы уезжаем отсюда, и потому спорить мне с тобой некогда. Забавная ты, право: хочешь непременно, чтоб все жили по-твоему. Что ж такого, что я вышла замуж? Уж не поставишь ли ты мне в преступление мое счастье? Почему это я, по твоему мнению, отреклась от своих убеждений? Они все при мне, и я никогда не давала никому слова прятаться от жизни. Посмотрим, что выиграешь ты, сторонясь от нее, как от какой-то заразы!»

Тут опять была сбоку пометка Белозеровой: «Как понимать жизнь». Письмо продолжало:

---

[1] «О неравенстве среди людей» *(фр.)*.

«Право, я с каждым днем все более убеждаюсь, что ненавистное тебе «толчение воды» стало какой-то мировой манией. Никто не хочет делать настоящего дела, и все только выдвигают вперед свои принципы. Возьми хоть тебя, например: ты тоже толчешь воду, даже очень мелко, очень добросовестно толчешь, а между тем, я уверена, не замечаешь этого. А все оттого, душа моя, что тебя опутали кругом твои мудреные принципы и ты носишься с ними, как наседка с яйцом. Извини меня, я простая женщина, простая будущая мать семейства, bourfeoise в некотором роде, и мне позволительно рассуждать и выражаться просто. В твоем предпоследнем письме я нашла следы если не апатии, то скуки, а это верный признак толчения. Не сердись, пожалуйста. Я понимаю, что задача твоя не прихоть, что она исполнена даже свойственного тебе героизма, готова верить, наконец, русской пословице, которая говорит, что попытка — не шутка, и проч. Но пойми и ты, милая Евгения, что вовсе незачем пытаться-то умереть старой девой, да еще вдобавок и злой, пожалуй».

Против этого места не стояло никакой пометки, но письмо было сильно надорвано, точно в порыве неудержимой досады.

«Поверь мне,— уверяло оно далее,— что не мужчины держат нас в руках, а мы их. Я теперь убедилась в этом положительно. Мы только не знаем своей силы или не умеем направить ее в надлежащую сторону. Для примера опять сошлюсь на тебя же. Как высокообразованная девушка, увы...»

— Да где же это он, наконец? — послышался за беседкой недоуменный голос Терентьева.

Недочитанное письмо выпало из рук Матова. Он быстро поднял его, положил в книгу, сунул ее на стол и, прислушавшись к шагам за беседкой, осторожно вышел оттуда в сад. Управляющий, не оглядываясь, шел впереди рядом с Зауэром.

— Вот вы где! — сказал Лев Николаевич, обогнав их боковой тропинкой и выходя недалеко от того места, где они шли теперь.— А я совсем заплутал в этой чаще: голос слышу, а выхода не найду. Ну, что? Как больная?

Зауэр передал ему результат своих наблюдений.

— Вы уверены, значит, что она сознает случившееся?

— О, да! — протянул немец.

— Август Карлович находит,— вмешался Терентьев,— что он может теперь принять на себя ответственность за исход болезни...

— Да, да! — торопливо подтвердил тот.

— Говоря проще, я здесь больше не нужен,— отрезал

Матов.— Во всяком случае, считаю долгом, господа, прежде чем удалиться, изложить вам те приемы лечения, каких держался бы я в данном случае...

И Лев Николаевич подробно разъяснил, как стал бы он поступать.

— Я тоже такой метод предполагал,— вставил Зауэр.

«Ну, это-то ты, положим, врешь»,— подумал Матов и громко сказал, обращаясь к Терентьеву:

— Извините: мне нынче опять пришлось быть навязчивым; но... дело такого рода...

— Помилуйте, доктор! — живо перебил его управляющий и протянул ему руку.— Я вам, напротив, очень обязан; но вы не спали всю ночь, и вам пора отдохнуть. Кстати, отчего вы не осмотрите ваш локоть? Вон на рубашке видна кровь.

— Пустяки! — чуть-чуть улыбнулся Лев Николаевич и простился.

Вернувшись домой, он действительно заснул как убитый.

Глава IX

Вскоре после полудня доктор, однако ж, проснулся, разбуженный несносным надоеданием комаров, целым роем откуда-то налетевших в комнату, благодаря, должно быть, снова нахмурившейся погоде. События этого утра с поразительной ясностью, до мельчайших оттенков, запечатлелись в памяти Матова, и он, прежде всего, попытался дать себе самый точный ответ в них, обсудив подробно каждую мелочь. Немного, впрочем, оказалось утешительного в соображениях Льва Николаевича: в конце концов он пришел даже к тому убеждению, что ни на шаг не подвинулся вперед в своем кропотливом анализе характера Белозеровой и ее отношений к Терентьеву; напротив, теперь этот характер как будто усложнился еще больше, и эти отношения казались еще запутаннее. Одно только было ясно: что доктору незачем оставаться здесь дольше.

«Уехать, когда она в таком положении?» — подумал он и отрицательно покачал головой.

Льву Николаевичу, очевидно, хотелось хоть чем-нибудь извинить в собственных глазах еще настойчивее возникавшее в нем при мысли об отъезде желание продолжать ту неестественную и, по правде сказать, довольно жалкую роль, какую играл он до сих пор в Завидове. С другой стороны, Матов был совершенно прав, не решаясь уехать немедленно: продолжи-

тельный обморок Евгении Александровны и лихорадочное состояние, обнаруженное больной, когда ее привели в чувство, заставляли опасаться, что она недешево разделается со своим ушибом; к тому же доктор считал себя хотя и косвенной, но все-таки причиной этого несчастного случая.

«Да! мое место здесь пока»,— решил он еще раз. А между тем из головы его не выходили ни бесцеремонное терентьевское «ты», вполголоса обращенное к Белозеровой при ее уходе с площадки, ни тот обаятельный, горячо симпатичный тон голоса молодой девушки, с каким она обратилась к доктору во имя их примирения.

— Што больно разоспался? — прервала нить его размышлений хозяйская дочь, на этот раз как-то робко заглянувшая к нему в комнату и, по-видимому, не ожидавшая, что он уже проснулся.— Чай станешь кушать?

— Мне ужасно есть хочется, а потом бы я и чайку выпил,— отозвался Матов.

— Вольно же те голодать! — заметила она теперь уже своим обычным насмешливым тоном.— И без того, кажись, тоненький как струнка.

— Авось у вас в Завидове поправлюсь, Авдотья Никитьевна,— невольно улыбнулся Лев Николаевич.

— Не так еще иссохнешь, коли повадишься за мост бегать...

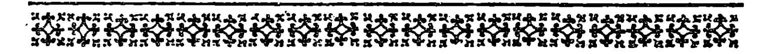
— Что вы говорите? — встрепенулся доктор.

Он даже присел на постели при этом.

— Ничего; так, мол, спроста. Вставай-ко ужо да мойся: обед давно поспел; тятенька и на охоту не ездил, да две тетерки привез,— рассмеялась она и быстро захлопнула дверь.

Матову очень неприятны показались эти два прозрачные намека молодой девушки на его похождения; кроме того, он невольно обратил теперь внимание на розовый цвет ее сарафана и припомнил другой такой же сарафан, мелькнувший давеча утром между деревьями.

«Что бы это значило?» — тревожно подумал доктор.



МИМОЛЕТНЫЕ НАБРОСКИ

Фельетон

1

Вступление.— Оживленный вид Петербурга.— Ф. М. Достоевскому нужен Константинополь.— «Новое Время» и его спечатки.— Эпидемия обидчивости: гг. Тургенев, Суворин, Антонович и Мизантроп.— Благоприятность г. Пятковского.— Знаменитая строка незнаменитого поэта.— Мое послание к нему

Познакомимся, читатель. Нам придется теперь беседовать еженедельно и потому не мешает встать сразу в самые лучшие отношения друг к другу. Что касается меня, я буду совершенно откровенен, буду немножко серьезен, немножко смехотворен, но, во всяком случае, постараюсь сделать для тебя эту беседу нескучной. Быть может, и прозвучит у меня иногда невеселая нота, проскользнет затаенная скорбь, ты можешь побранить меня за них — и дело с концом. Конечно, все будет зависеть от материала. Материал этот не особенно богат, но и не очень скуден: русская жизнь, русский человек уж так устроены, что нет-нет да и прокатятся кривым колесом. Внешним приемом стесняться нам нечего; живая мысль требует живых, разнообразных форм, и хотя бы для ее выражения мне пришлось унести тебя в фантастические сферы — я не задумаюсь. Прокладывая скромную тропинку к твоему сердцу и сознанию, мне бы хотелось устилать ее и прозой, и стихами: стихи между прозой — ведь это те же цветы в листве букета. Каждое воскресенье я буду подносить тебе такой букет, взращенный на неблагодарной почве петербургского ветрограда, а ты, в свою очередь, если пожелаешь уподобиться избалованной красавице, каждое же воскресенье можешь смело выбрасывать за окно мой подарок, как только он побывает в твоих руках. С меня будет достаточно и того, что этот букет произведет на тебя известное впечатление, даст известный толчок твоей мысли. Теперь, когда наши отношения установлены, я весь к твоим услугам.

Петербург представляет очень оживленный вид в последнее время, как и подобает столице государства, объявившего войну. По городу то и дело двигаются массы войск; во дворе казарм и на соседних с ними улицах отдельные кучки молодых солдат учатся маршировке и ружейным приемам. Здесь, разумеется, не обходится без забавных сцен, и всегда глазеющая на эти эволюции пестрая толпа делает подчас очень остроумные замечания. Надо, впрочем, отдать полную справедливость обучающим офицерам: тут не подметишь ни резкого слова, ни иной какой-нибудь грубой выходки. Дело идет больше семейным порядком; вид солдатиков весел и усердие примерное. На лицах почти всех обывателей столицы, где бы они ни встречались, замечается какой-то праздничный вид. В трактирах — газеты берутся нарасхват и постоянно слышится громкое чтение, иногда по складам, военных известий. Словом, по всему заметно, что мы воюем.

Воюет и Ф. М. Достоевский. В мартовской книжке своего «Дневника писателя» он опять протягивает руки к Константинополю, настойчиво приглашая соотечественников положить эту блестящую игрушку в широкий русский карман, несмотря на все политические соображения. Экий ведь упрямый старик! Но я полагаю, что мы его не послушаемся и, по обыкновению, свеликодушничаем, хотя и говорят, что война обновляет.

Как бы то ни было, она нисколько не обновила г. Суворина с его «Новым Временем». Известно, что эта пресловутая газета, между прочим, обилием и разнообразием, отличается еще крайней типографской небрежностью и невиданным богатством самых грубых опечаток. В последнее время ее промахи разрешились положительным курьезом, чтоб не сказать больше. Не говоря уже о том, что газета смешала папу Григория VII с Григорием XIII и провозгласила константинопольской телеграммой «волнение на Крите», она ухитрилась еще (в № 413) обозвать И. С. Тургенева «кокоткой». Не верится? Отчего же? Ведь покойная В. А. Лядова и одна здравствующая французская артистка были не так еще огорошены г. Сувориным. Дело в том, что «Новое Время» перевело и поместило у себя тургеневский рассказ «Сын попа», появившийся первоначально на французском языке. Г. Тургенев обиделся и, как говорит г. издатель «Нового Времени», «сделал» из этого «всероссийский вопрос», на что, в свою очередь, г. Суворин тоже обиделся и настрочил следующее: «Когда кокотка встречает новый фасон платья, когда она увидит последнюю модную картинку — сколько хлопот ей предстоит, чтоб облечься в этот модный костюм». Русский писатель (читай: И. С. Тур-

генев), появляющийся первоначально на иностранном языке, напоминает эту франтиху и проч. Не ясен ли смысл сего сказания? Однако ж, на другой день, г. Суворин спохватился и заявил, что вместо «кокотка» следует «кокетка». И просто, и замысловато. Нет, уж лучше, г. Суворин, объявите-ка сами поскорее войну... подобной халатности. Ведь этак я могу обозвать вас сегодня как мне угодно, а завтра оговориться, что это, мол, опечатка. Но неужели вы назовете только опечаткой и ту «анафему», которую так по-дьяконски провозгласила передовая статья в № 415 вашей газеты? Там говорится: «И пусть будут прокляты все те, которые воспользуются этим тяжелым временем (т. е. нынешним) для набивания своего кармана, для эксплуатации всего народа; пусть ляжет на них народная анафема» и проч. Что это такое?! Я понимаю, что так может еще выражаться какой-нибудь лицемер, но уж никак не газета, претендующая на гуманность. Да, наконец, ведь эта злосчастная «анафема» может обрушиться на вашу же собственную голову, г. Суворин, и вот почему. Вы издаете дорогую газету, а между тем не позаботитесь, чтобы над ней не слепли, по крайней мере, ваши читатели: ведь иногда даже и не разберешь ее слепого набора. Я уж не говорю о тех корректурных диковинках, какими вы постоянно угощаете свою публику. Скажите откровенно: зачем же вы сами-то, «пользуясь этим тяжелым временем», когда вашу газету покупают нарасхват, не издаете ее как следует? Разве это, по-вашему, не эксплуатация народа? Видите, как нужно осторожно обращаться с иными словами... «Пусть в наши сердца не закрадывается жалость к таким людям»,— поучает та же передовая статья. Но я все-таки пожалею вас, г. Суворин, чтобы не питать к кому-нибудь жалости — значит, по-моему, уподобиться деревяшке. Если вы обидитесь этим сравнением, то можете смело принять его за опечатку.

Кстати об обидчивости. В последнее время это угнетенное душевное состояние стало у нас самым обычным явлением. Самолюбие, развитое до болезненности, приняло просто какой-то эпидемический характер. Сперва, в более острый период этой эпидемии, ею заразились чуть ли не грудные младенцы. Я не берусь выяснять причин этого начального явления, я только констатирую факт. В самоновейшее время названная эпидемия поражает уже литературу; но на этой почве она, к счастию, значительно утратила свою резкость и приняла характер... так сказать, юмористический. Если легкий пароксизм ее с гг. Тургеневым и Сувориным недостаточен, то за более сильными ходить недалеко. Возьмем

хотя случай с г. Антоновичем. Этот почтенный критик молчал-молчал, да вдруг и обиделся ни с того, ни с сего. Обижен, говорит,— защитите! Дело было так. Месяц тому назад, если не больше, «Новое Время», по словам г. Антоновича, «обвиняло журнал «Знание» в том, что будто он тенденциозно и злонамеренно исказил при переводе «Путешествие по Аравии» Пальгрэва и исказил с тою преступною целью, чтобы скрасить дурные стороны исламизма и, напротив, бросить на него благоприятный свет». Я сам не читал этого обвинения и верю г. Антоновичу на слово. Однако ж да позволено мне будет спросить: при чем же он сам тут? Что общего между обидой, нанесенной, положим, журналу «Знание», и личностью г. Антоновича? Бесспорно, что он, как критик, еще со времен «Современника», изощрился придавать своим писаниям смысл между строками; но при чтении его последних строк, начертанных в № 55 газеты «Наш Век», я решительно стал в тупик. А между тем строки эти значатся в его открытом письме к г. Суворину, которого он ядовито поздравляет с «прекрасной ролью литературной ищейки и доносчицы», в каковой будто бы «так удачно дебютировало «Новое Время». «Знание» доказало», говорит г. Антонович, «что ваша газета не только донесла на него, но еще сделала (какие ужасти!) ложный донос... Ваша газета не только не извинилась в своем доносе и в своей клевете... но еще нагло посмеялась над теми, которых оклеветала». Все это очень может быть, но я опять-таки спрошу: да почему же именно г. Антонович об этом пишет? А пишет он, изволите ли видеть, потому, что наша пресса не обратила внимания на этот поступок, «что и заставило» бывшего критика «сим (т. е. открытым письмом) констатировать явление, пропущенное нашей критикой, и представить его на суд общественного мнения». Другими словами — г. Антонович, презирая роль доносчика, принял на себя добровольную обязанность докладчика перед публикой. Прекрасно. Но, в таком случае, надо было и обращаться к публике, а не к г. Суворину; в таком случае не следовало также заканчивать письма словами: «Примите уверение в моем глубоком презрении ко всякого рода литературным инсинуациям, доносам и клеветам». Ведь это уж выходит личность, а не простое «констатирование явления, пропущенного нашей критикой». Да и почему это вы, г. Антонович, презираете только одни литературные доносы? Любопытно было бы знать. Мое же собственное мнение о поступке г. Антоновича я выражу ему здесь краткими словами, употребив тоже форму открытого письма — благо на нее пошла теперь такая мода. Вот это письмо.

«Милостивый Государь
Максим Алексеевич,

Некогда Вы были очень известны, как оппонент Писарева. Скажу больше — искры, сыпавшиеся из-под его пера, значительно увеличивали своим блеском то слабое сияние, которое, собственно, и окружало ваш скромный литературный облик. Потом Вы замолкли,— не знаю почему, но... замолкли. О человеке, который молчит, вообще говорят мало,— перестали говорить и о Вас. Но червь литературного самолюбия точил Вас все это время и, наконец, вынудил прокатиться кривым колесом перед публикой: авось, мол, вспомнит. Не берусь судить, насколько Вы достигли этой цели, но смею спросить Вас, не припоминается ли Вам иногда такая сцена из детства: в классе чинно сидят мальчики в ожидании учителя. Вдруг какой-то школьник, давно уже питавший затаенную неприязнь к ученику, положим, Иванову (за перехваченное, положим, стальное перышко), быстро соскакивает со скамьи, выбегает на середину комнаты и с гримасой произносит: «Иванов, господа,— наушник!» Все, разумеется, смеются, а школьник благополучно водворяется на своем месте. Вот именно такую сцену я видел во сне по прочтении Вашего письма. Впрочем, я видел еще и другую. На кафедре стоял ученик Иванов, безобразно стучал по ней кулаком и неистово провозглашал: «Анафема!» Школьник старался перекричать его. «Презираю... презираю доносы!» — ревел он еще пуще. Не знаю, чем бы кончилась эта последняя сцена, если б, к счастию, меня не разбудило... лукошко. Успокойтесь, Максим Алексеевич: это не было собственно лукошко, а обыкновенная корзина с чистым бельем, невежественно поставленная моей прачкой ко мне на кровать. Но я все-таки был очень рад, что сновидение кончилось. Позвольте же мне выразить теперь скромную надежду, что детские сны мои не повторятся больше, и от души пожелать Вам скорого исцеления от болезненной обидчивости и столь же ненормально развитого самолюбия. Примите и проч.»

Да, читатель! за выздоровление г. Антоновича я еще кое-как спокоен, но уж отнюдь не могу поручиться за одного моего собрата по фельетону — именно за г. Мизантропа, неуклюже забавляющего, как известно, своим «Калейдоскопом» подписчиков журнала «Дело». В мартовской книжке потешник этот ужасно разобиделся на какую-то «мелкую газетку», дерзнувшую приписать его фельетон перу г. Буренина. Уж на что, кажется, безобидное дело, а ведь разозлился, да еще как! «Мелкая газетка», видите, прочла ему «какие-то глупые наставления». Ну, и слава богу, что прочла «глупые»:

ведь от умных ему не поздоровилось бы. А он между тем из себя выходит, чуть не на стены лезет: называет автора статьи «журнальным Петрушкой», «вором, на котором горит шапка», «зверем, который защищается... своим запахом», и т. д. в том же благовонном роде. Вот что значит эпидемия-то: никуда от нее не убежишь! Можно, впрочем, и то сказать, что мизантропам совсем не следовало бы поручать фельетонов: ведь это больше все люди, привыкшие скорее повелевать «мелкотой», чем назидать публику легкой, остроумной беседой.

Среди этих печальных фактов обидчивости, неоспоримо доказывающих существование у нас эпидемии невытанцовавшихся самолюбий, как-то отрадно отдохнуть мыслью на таком скромном, даже можно сказать, безобидном литераторе, как, например, г. Пятковский. Посмотрите, с какой идеальной застенчивостью рекомендует он в газетных объявлениях свою книгу: «Монографии и критические этюды». «Благоприятные отзывы» — говорит он только, потом смиренно ставит две точки и перечисляет все наши лучшие периодические издания, предпослав им предлог «в». «Благоприятный человек должен быть этот г. Пятковский!» — наверно подумает, в свою очередь, публика — и купит его книгу.

Но еще большим отсутствием самолюбия и, конечно, не меньшей безобидностью веет от музы некоего поэта, по фамилии г. Гордеев, печатающего свои стихи, не помню в какой-то газете. В стихотворении «Жалоба пасынка» я обрел у него следующую достопамятную строку:

Потрепав по плечу словом ласковым.

Не правда ли, какой сочный образ? Уже одно трепание по плечу выражает собой ласку, но если произвести этот маневр еще и ласковым словом — какая сугубая получится ласка! Не могу удержаться, г. Гордеев, чтобы не приветствовать Вас стихами же. Местоимение «ты» примите за поэтическую вольность.

Послание поэта к поэту.

Посвящается г. Гордееву.

О, поэт! твои ласки сугубые
Привели меня вдруг к заключению,
Что не ведая язв самолюбия,
Ты способен в стихах к увлечению.
Сей отрадной увлекшись оказией,

Я — клянусь... хоть покойным Херасковым! —
Так и обнял тебя бы фантазией,
Потрепав по плечу словом ласковым...

Почему именно последняя строка навела меня на мысль об отсутствии самолюбия у г. Гордеева и об его безобидности — сказать хорошенько я и сам не умею, но уверен, что мое послание нимало не разобидит его: есть уж такие благодушные строчки...

2

Самоубийства.— Невеселые мысли по этому поводу.— Некролог Д. П. Ломачевского.— Новые выходки г. Суворина.— Мое открытое письмо к нему.— Образчики стихотворных писем

Поневоле я должен начать сегодня за упокой и даже не могу наверно сказать, удастся ли мне кончить во здравие. Некоторые факты будничной действительности, промелькнувшие за последнюю неделю, отличаются такими неутешительными свойствами, что, право, способны омрачить даже меня, избравшего для себя псевдоним веселого поэта. Понятно, что подобный материал далеко мне не по вкусу, что я только нехотя делюсь им с читателем. Но что же прикажете делать? Жизнь не перестроишь по-своему, фактов ей не навяжешь и не вставишь ее в наперед определенные рамки.

Последняя неделя ознаменовала себя целым рядом самоубийств. «Никто не виновен в моей смерти, мне просто надоело жить». Таково лаконическое содержание записки, найденной в кармане очень прилично одетого мужчины средних лет, застрелившегося на днях близ Чесменской богадельни. Имя несчастного осталось неизвестным, так как, по словам официального сообщения, «покойный постарался уничтожить все следы к открытию его звания». Конечно, нас не удивишь самоубийством, не удивишь даже целым рядом их; но в данном случае весьма характерным является самый лаконизм итога, подведенного этому существованию: «мне просто надоело жить». Я лично, по крайней мере, не припомню другого, столь же краткого признания самоубийцы. Ведь из него поразительно явствует, что жизнь не дала никаких интересов человеку, что он не нашел в окружавшей его действительности ни одного мотива, за который стоило бы ухватиться ради возможности ее продолжения,— не так

ли? А это значит, в свою очередь, читатель, что жизнь до такой степени бедна еще подобными мотивами, что не каждый может найти их в ней, даже достигнув средних лет, даже имея средства быть «одетым прилично»... Другой случай самоубийства, тоже бывший на прошлой неделе, подтверждает это как нельзя лучше. Некто студент Кондратьев кончил свою жизнь под колесами локомотива только потому, что лишился любимой девушки, умершей от чахотки. И заметьте, это решение не было минутным порывом отчаяния; несчастный юноша даже позаботился о некоторых удобствах смерти: он выбрал менее всего освещенное место, сделал в песке небольшое углубление, чтобы, положив в него голову, можно было плотнее прилечь к рельсу. Покойный, очевидно, не принадлежал также и к тем субъектам, для которых жизнь и смерть безразличны: «Люблю А. Д.— Скоро свидимся»,— пишет он в конце записки, предназначенной им для родных. Ясно, что желание жизни существовало здесь, но только оборвался ее интерес. Так неужели же, в самом деле, у этой молодой жизни не нашлось других интересов, кроме интереса любви? Над такими явлениями нельзя не задуматься глубоко, хотя в них и «никто не виновен», как хочет уверить нас большинство самоубийц. Эти явления особенно резко выступают теперь, когда русская жизнь так нужна, когда в ней, по-видимому, существует такой высокий интерес и когда, наконец, можно жертвовать ею и не бесследно.

Но будничная жизнь неумолима: ей все равно, каковы бы ни были ее жертвы; она одинаково бездушно вырывает из общественных рядов и праздного человека, соскучившегося бессодержательной жизнью, и полезного труженика, расчищающего по силам своего ума и таланта родные плевелы. По словам газеты «Наш Век», «в ночь с 10 на 11 мая, в Обуховской больнице скончался литератор, известный автор сцен и рассказов из чиновничьего быта, Д. П. Ломачевский. После покойного осталась семья, состоящая из жены и пятерых детей, существовавшая только литературными заработками Д. П.». Этот коротенький некролог, от которого так и веет на душу каким-то жутким холодом убожества и бесприютности, гораздо красноречивее всякой многовещательной биографии. Давно ли, кажется, на страницах этого журнала один из моих товарищей указывал на печальную судьбу русских писателей, на целый ряд безвременных и вопиющих кончин. Еще не успели остыть его симпатичные строки — и вот уже перед нашими глазами зияет новая литературная могила, и опять с той же ужасающей обстановкой

больницы, рокового одиночества и беспомощной, голодной семьи в перспективе... И общество совершенно равнодушно проходит мимо одиноких борцов мысли, изнемогающих и падающих под бременем непосильной работы, под гнетом этого убийственного равнодушия! Набрасываешь эти грустные строки — и в голову невольно закрадывается щемящая душу мысль, что, может быть, не сегодня, так завтра послужит и твоя кончина таким же печальным материалом для фельетона следующей недели, станешь и ты убогим сюжетом такого же убогого некролога, каким удостоила газета покойного Ломачевского. Почтим же и мы с тобой, читатель, память этого скромного, быть может, и не замеченного тобой труженика мысли, вся жизнь которого, действительно, представляла ежедневную безуспешную борьбу с безвыходностью положения литературного пролетария...

Да, читатель, мы с тобой ошиблись: материал этот совсем для нас неподходящий, а главное — мало ободряющий. Вот г. Суворин, так тот хоть кого ободрит. Такой назойливой храбрости, такой зудливой прыти давно уже не видала наша печать. Если турки как-нибудь одолеют нас, и в Петербурге начнут бесчинствовать баши-бузуки, я положительно спрячусь за г. издателя «Нового Времени»: эти господа, вероятно, сразу поймут друг друга, обнимутся и облобызаются. Но, с другой стороны, меня опять и подозрение берет: уж не взбесился ли г. Суворин? Только странно как-то представить себе, что такой ловкий и сообразительный человек мог взбеситься в самое неурочное время. Ведь бесятся обыкновенно при наступлении сильных жаров... по крайней мере, животные; а теперь, когда я пишу эти строки, у меня в комнате топится печь, несмотря на майские дни. Очень может быть, впрочем, что я тут ровно столько же понимаю, сколько смыслит известный доктор Шмидт в лечении рака, но предостеречь публику все-таки не мешает. Собственно, храбрость г. Суворин обнаруживал почти всегда, за исключением, конечно, того трагикомического случая, когда он так струсил, что обещал даже ходить с револьвером в кармане. Но мужество с признаками бешенства появилось у него только с изданием газеты и ныне грозит всем и каждому. Вот два наглядных примера. В своем последнем воскресном фельетоне, подзадоренный близоруким политическим самоуничижением некоторых господ, о лордах Дерби и Дизраэли г. Суворин выражается так: «Черт ли в том, что они европейцы? Они просто английские исправники и становые, выработавшиеся в школе парламентаризма, которая и дурака коечему научит». Уязвленный тем, что в Петербурге предпо-

лагается издание газеты «La Russie Contemporaine» при участии некоего г. Лебурде, г. издатель «Нового Времени» с пеной у рта восклицает: «Кто такой г. Лебурде? Парикмахер он, сапожник, шарманщик или пройдоха? Надо думать, что он не принадлежит к честным ремесленникам; но если он пройдоха, то не умный, ибо едва ли можно выдумать что-нибудь глупее его программы. О, проходимец!» Не достаточно ли, читатель, этих двух примеров, чтобы при встрече с г. Сувориным на улице сторониться от него подальше: а что, мол, как вдруг укусит? Да, действительно, опасно. Ведь сделанная мною сейчас выписка представляет уже не остроумную выходку расходившегося журналиста, а просто — бешеный лай, не имеющий к тому же достаточного повода. Из письма г. Заменцкого, которое помещено в № 73 газеты «Наш Век», теперь оказывается, что так беззастенчиво облаянный г. Лебурде «уже 25 лет живет в Петербурге и принимает самое деятельное участие в комитете, состоящем под председательством посланника Франции, для сбора пожертвований для общества Красного Креста». Оказывается также, что главным ответственным редактором газеты «La Russie Contemporaine» будет г. Л. Б. де Легай — бывший редактор газеты «Peuple francais» и основатель газеты «L'Etoile», а не г. Лебурде, секретарь редакции, который — как замечает Г. Заменцкий,— «к счастию для него, не пользуется известностью г. Суворина». Поистине, к счастью! Меня, признаться, так и подмывает написать г. Суворину открытое письмо, до которых он сам прежде был такой охотник. Нечего делать — попробую: авось человек образумится. Итак:

«Любезнейший мой собрат по фельетону,

Я знаю, что Вы не парикмахер, не сапожник, не шарманщик, не пройдоха и не проходимец. Но я знаю также, что Вы любите отбрить всякого, что в издании Вашей газеты Вы неряшливы, как сапожник, часто принимаете ее за шарманку, извлекая из нее звуки на мотивы любимых русских песен, так что публика, бросая вам свои гроши, хотя и не считает Вас пройдохой, но уже начинает относиться к Вам теперь почти как к проходимцу. Вам это надо принять к сведению. Когда Вы получили возможность издавать свою газету, все мы, литературные работники, порадовались за Вас и пожелали Вам всякого успеха, ибо приятно было видеть хотя одного из нас пробившимся на широкую дорогу, а Вы были прежде из наших. Поэтому Вас никто не облаял, никто не лягнул, никто не позавидовал Вашей новой собственности. Чего бы, кажется, для Вас больше? И мы думали, что

Вашу роль журналиста Вы поведете почетно, но скромно. Мы, однако ж, ошиблись. Едва оперившись, Вы уже начали хорохориться подобно рассерженному индейскому петуху, раздувавшему до смешного свою красную кишку. Это может засвидетельствовать вся Ваша журнальная деятельность до настоящей минуты. Обладая сметливостью, Вы стараетесь приурочивать к Вашей газете русские литературные авторитеты — не из уважения к их уму и таланту, а только ради их имени. Это показало Ваше поведение в отношении г. Тургенева. Прикрывшись квасным патриотизмом, Вы стали выразительно тявкать в сторону таких изданий, книжки которых и без того нередко задерживались. Это доказал Вам г. Антонович. Любуясь и охорашиваясь своей литературной неопрятностью, чтоб не сказать больше, Вы теперь начинаете уже позволять себе такие выходки, которые не сделали бы чести и уличному мальчишке. Все это, любезнейший собрат, очевидно показывает, что или Ваши прежние убеждения скромного литературного работника служили Вам только фиктивными подмостками для достижения известной высоты, или что они задохлись под широкими полями пышного издательского халата. До сих пор Вы, конечно, не достигли еще того, чтобы на честную русскую печать легла неприятной тенью Ваша теперешняя журнальная деятельность; но она скоро может превратить Ваше «Новое Время» в «Фигаро», а Вас — в Вильмесана. Наклонная плоскость — самая опасная из плоскостей. Это Вам надо помнить. Остановитесь же, любезнейший собрат, вовремя. Вы человек умный и потому, надеюсь, оцените мой совет по достоинству. Вы человек с талантом, а таланту не трудно стяжать себе даже самую громкую известность, не прибегая к фарсам и либеральному заигрыванию с публикой. Верьте, любезнейший собрат, что вот именно только эти-то два Ваши качества, т. е. ум и талант, и заставили меня выразить Вам, с надлежащей откровенностью, все вышеизложенное, и примите и проч.».

Кстати об открытых письмах. В последнее время они стали появляться в таком ужасающем количестве, что я советовал бы редакциям наших газет завести для них особый отдел. Но так как прозаическая форма невольно располагает к многоглаголанию, то лучше всего было бы придавать им стихотворный облик. Тогда, выиграв в сжатости текста и мысли, они получат вместе с тем и большую выразительность. Чтобы облегчить редакциям эту, и без того немудреную, задачу, я постараюсь привести здесь два-три посильных образчика.

СТИХОТВОРНЫЕ ПИСЬМА СОВРЕМЕННИКОВ

I

Письмо к И. С. Тургеневу

Хоть ради б вежливости, да-с,
Вы нас предупредили,
Что в «Gegenwart'е» свой рассказ
Вы раньше поместили.
Одно бы слово — и закон,
И дело вышло б чисто;
А вот теперь я огорчен —
Я... в роли журналиста!

А. Суворин

II

Письмо в газету «Наш Век»

Оставляя вздор и хлам
Разный без вниманья,
Извиняюсь я, что Вам
Шлю сие посланье.
Я с Суворнным самим
Не сказал ни слова...
Правда, вел я дело с ним,
Но чрез Лихачева.
А того предупредил
Даже я в избытке:
«Если б я вам повредил —
Вычтите убытки».

Ив. Тургенев

III

Еще письмо в газету «Наш Век»

Простите, что я бомбардирую Вас,
Но я тут совсем ни при чём:
Опять я затронут нелепо сейчас
В суворинском «Времени» том.
Толкуют, что будто могу я писать
На двух языках. Никогда!
Ведь это, по-моему, прямо сказать,
Что мне самобытность чужда.
Немало я брани печатной встречал,

Был солон порою урок;
Но если я что за обиду считал,
Так именно этот упрек.
Спешу заявить и покорно прошу
Уведомить милый мой край:
Я только по-русски, по-русски пишу: —
И с этим бог справиться дай!

Ив. Тургенев

Не правда ли, читатель, что в такой форме письма значительно выиграют? Другой вопрос — насколько вся эта домашняя переписка, будь она стихотворная или прозаическая, может интересовать публику. Но уж если ее непременно хотят пичкать этой перепиской, то, по-моему, стихи будут удобосваримее. Во всяком случае, так как нынче век промышленный, я нисколько не стесняюсь предложить на первый раз редакциям собственные услуги... конечно, за умеренное вознаграждение.

3

Обрушившийся дом.— Нравственное падение г. Утина.— Мой странный сон по поводу специальных корреспондентов наших газет.— География «Нового Времени».— Курьезное пожертвование.— Студент Иваницкий.— Некролог В. А. Владимирского

Теперь надо ходить по петербургским улицам и беспрестанно озираться, как бы не раздавила тебя какая-нибудь обрушившаяся шальная стена вновь выстроенного дома. Я даже стал ходить эти дни не по тротуару, а по средине улицы,— все, думаю, как-то безопаснее. Дело в том, что на днях провалились две стены каменного трехэтажного дома купца Абдалова, выстроившего его три года тому назад на Песках. Рассказывают, что по настоянию полиции дом этот был недавно освидетельствован архитекторами, которые нашли его крепким и удобным. Нечего сказать, хорошо «удобство» быть раздавленным! Жильцы не пострадали только благодаря случайности. Отчего же, спрашивается, «крепкий» дом провалился? Поэтически это можно объяснить очень просто и не в ущерб репутации гг. архитекторов:

На Песках, от сотрясенья,
Провалился дом один —
Потому... что очень сильно
Бомбардируют Виддин.

Однако я желал бы лучше, для блага публики, чтобы репутация этих господ провалилась вместе с обрушившимися стенами, как провалилась, при одном недавнем процессе, нравственная физиономия г. присяжного поверенного Утина, стоически доказывавшего, что гласность для банковых операций — дело неподходящее. Надобно не питать ни малейшего уважения к своему адвокатскому званию, чтобы дерзнуть отстаивать, не краснея, такую неблагодарную и неблаговидную задачу... даже помимо большого вознаграждения.* А, впрочем,

Иметь приятно совесть... но
В наш век «погони за наживой»
Стыдиться мысли, речи лживой
Немногим избранным дано.

К числу этих немногих избранных, очевидно, не может быть причислен и г. Полетика, подвизавшийся, как известно, против г. Высоцкого в одном из заседаний общества для содействия русской промышленности и торговле, хотя он и сделал в своей речи великие открытия, что «начала банковского дела ложные, почва скверная», что «частные злоупотребления тут ни при чем», что «обличения теперь не помогут» и проч. Словом, г. Полетика тоже хотел доказать, как и названный мною адвокат, что операций банка проверять не следует и что гласность тут не поможет. Когда я буду допущен к сундуку с общественными деньгами, для производства над ними различных операций, то полагаю, что начну ораторствовать и сам на такую же резонную тему.

На днях, читатель, я сам не мог воздержаться... от некоторого соблазна. Мне приснилось, что редакция «Живописного Обозрения» отправляет меня своим специальным корреспондентом на театр военных действий. Как ни уверял я во сне почтенного редактора, что я к такому серьезному делу неспособен, но он не хотел ничего слышать, не принимал никаких отговорок и только твердил:

— Поезжайте, поезжайте. Это дело решенное. Затрудняться тут нечем: не боги горшки обжигают. Попривыкните — и все пойдет как по маслу. Главное — побольше поэзии, побольше обстоятельных описаний всех этих мазанок, кокетливо приютившихся на южной земле... само собой разумеется, хорошеньких глазок румынских женщин...

— Но, позвольте...— остановил я его,— г. Каразин...

— Что ж такое, батюшка, г. Каразин? — пылко возразил он.— Прекрасно пишет. Конечно, от его писем не пахнет по-

рохом, как это сплошь да рядом встречается у военных корреспондентов других наций; но зато... посмотрите, сколько поэзии! Он даже телеграммы умеет поэтизировать...

И редактор поспешно сунул мне в руку один из номеров «Нового Времени».

— Однако...— снова остановил я его,— г. Боборыкин...

— Да! вот вам живой пример,— быстро воскликнул он:— сидит человек в Вене, «только и дела делает, что ходит и лежит, читает, по возможности, меньше», разносит книги по поручению знакомых — и все это подробно описывает, ведь «Наш Век» находит его же, вероятно, очень занимательным...

Чувствуя, что начинаю сдаваться, я еще раз попытался было остановить почтенного редактора:

— Позвольте... гг. Максимов, Буренин...

— Гм! Максимов...— замялся он несколько.— Ну, этот любит больше описывать «пьяных солдатиков». Так, впрочем, что же? Ведь и это интересно-с; ведь надо же и эту сторону русского человека осветить. Да, наконец, у каждого имеется своя специальная струнка-с. Что же касается г. Буренина, то пример его может послужить вам лучшим ободрением: он даже прямо заявил, что выехал «с легким сердцем». Нечего затрудняться и вам.

Дай, думаю, сделаю последнюю попытку.

— Г. Немирович-Данченко...— слабо сказал я.

— Пожалуйста, не говорите мне ничего о моих сотрудниках! — уже запальчиво возразил редактор:— мне не приходится хвалить их самому... Словом, вы должны ехать — и конец разговору.

Скромность моя была окончательно побеждена.

— Ну куда же я поеду? — спросил я только.

— Куда хотите: на Дунай, в Париж, в Америку, в Африку... в Австралию, наконец,— не все ли равно?

— Но какое же отношение будет иметь... например, Австралия к настоящей войне? — вытаращил я изумленно глаза.

— Ах, боже мой! как «какое»? Вы можете сообщать нам, что думают о ней, положим, папуасы... Ведь это, батюшка, в высшей степени интересно и оригинально. Наверно, г. Миклухо-Маклай поможет вам самым обязательным образом. Я ему, впрочем, напишу.

Что вы станете делать с такой американской настойчивостью? Мы перешли к разговору об условиях и мигом покончили дело. Я даже выторговал себе на счет редакции бутылку сельтерской воды на все время путешествия: страны, мол,

будут попадаться очень жаркие... Вдруг я спохватился, однако.

— Прежде чем подписать наши условия, позвольте мне представить вам хотя краткую пробную корреспонденцию еще здесь, не выезжая с места,— попросил я для очистки совести.— Если читатели «Живописного Обозрения» останутся довольны ею — я выеду на другой же день.

— Вы несносны с вашими претензиями, но, так и быть, и это вам позволяется,— согласился редактор.

И вот я снова вижу во сне, что сижу за целым ворохом русских газет, тщательно выбираю там из специальных военных корреспонденций подходящие для меня строки и, желая отличиться, делаю из всего этого невообразимый винегрет. Я беру кусочек и у г. Максимова, и у г. Боборыкина, и... словом, у всех по кусочку. Голова моя горит, а в ней назойливо мелькает только одна ясно определенная, неотвязная мысль, что я должен быть на первый раз очень краток и выразителен, если хочу наслаждаться всеми прелестями жизни... между папуасами. Перо мое лихорадочно выводит на бумаге:

(Дневник корреспондента «Живописного Обозрения»)

Письмо первое.

Выехав с легким сердцем, я буду заносить и такие впечатления, какие будут относиться к современным событиям, и такие, какие совсем ни к чему не будут относиться... Стоги прошлогоднего сена желтеют повсюду. Видимо его много. На стогах — аисты, аисты на полях, аисты в разливах... Как кокетливы, изящны издали бессарабские деревушки. Одна, например, из-за горы выбежала, когда наш поезд поравнялся с нею, и опять спряталась за другую гору, когда поезд пошел далее. Важно!.. Женщины не особенно красивы; глаза хотя и черны, но без страсти, а скорее в них замечается утомление... Одеваться желают со вкусом, но остаются при одном только желании... Вчера я встретил на улице выпившего солдата; его окружили румыны и ласково разговаривали с ним; прошла мимо солдатика франтовато одетая горничная; солдатик посмотрел ей вслед, развел руками и зачмокал губами, восторгаясь прелестями ее форм...

— Знаете ли, что будет? — говорил он мне раздраженным шепотом, плюя мне в лицо и силясь оторвать пуговицу от моего сюртука:— Франция воспользуется удобным случаем, чтобы вернуть Эльзас и Лотарингию...

Вчера я приехал в Вену... Я привез г. Новикову из Вар-

шавы книгу от его товарища по школе и университету... Священника, о. Раевского, я давно знаю, около девяти лет; но откровенно говоря, не любил ходить к нему, когда бывал в Вене. Он только сильно поседел, но еще свеж. Ему тоже привез книгу из Варшавы, от моего знакомого... Г. Новиков был так любезен — передал мне чрез о. Раевского свое сожаление о том, что я в понедельник не застал его, и желание еще раз видеть меня... В эту последнюю беседу он сказал мне даже:

— Кандидатского диплома у меня нет, он при моих документах; но магистерский я храню при себе.

Я с полной откровенностью высказал г. Новикову: как мы — русские писатели — не избалованы в этом смысле и как мне лично приятно было найти в сношениях с одним из самых видных деятелей русской дипломатии столько простоты и доступности вместе с общностью развития, тона и языка. Провожая меня до лестницы, г. Новиков»...[1]

Впрочем, на первый раз довольно. Следующее письмо вы, вероятно, получите от меня уже из страны папуасов.

Но тут я внезапно проснулся. Боже мой, какая иногда чепуха может пригрезиться во сне! — подумал я невольно. Теперь ты можешь быть совершенно спокоен, читатель: мне никуда не предстоит ехать. Но если б даже я и поехал куданибудь, то, во всяком случае, не сообразуясь с географией, преподаваемой «Новым Временем» своим подписчикам. В № 436 этой газеты напечатана корреспонденция из г. Гжатска Тамбовской губернии, тогда как город этот находится в Смоленской. Вот и поезжайте, изучайте Россию по указанию г. Суворина! Невольно скажешь:

Города перемещает
Он по собственному смыслу.
Так дугу порой вставляет,
С пьяных глаз, извозчик к дышлу.

Вон и в наших рядах опять убыль. 18 мая скончался издатель «Петербургского Листка» В. А. Владимирский. Правда, собственно литературная деятельность покойного, хотя и отличалась некоторым разнообразием, была довольно скромна; но все-таки это убыль...

---

[1] В этом письме нет ни одной моей собственной фразы: все заимствовано у гг. Буренина, Максимова, Боборыкина и других корреспондентов. Смею думать, однако ж, что в их специальных писаниях не больше современного смысла, содержания и интереса, чем в моем образчике.

4

Зоологический сад и мои впечатления.— Разрешение вопроса об «отцах» и «детях».— Миллионное ходатайство г. Струве.— Невинный фотограф.— Новый фельетонист и мой привет ему.— Будущий петербургский аквариум.— Бешеные собаки.— Дело г-жи Кронеберг.— Скромное обещание

Так как я, читатель, уже не поехал в страну папуасов, то вчера, с горя, пошел в зоологический сад. Мне хотелось, по крайней мере, полюбоваться на кенгуру — милых животных этой любопытной страны. Предпринимая такую невинную прогулку, я вполне был уверен, что расположение моего духа останется невозмутимым на целый вечер. Но это мне только так казалось: едва вступив в сад, я уже возмутился. У помещения собак, над одной из клеток, глаза мои с недоумением остановились на дощечке со следующей, очевидно, русской надписью: «кравиная сабака». Под этой надписью стояла другая — латинская, по которой я только и мог догадаться, что дело идет просто о «кровяной собаке». Боже мой! неужели русскую надпись редактировал г. Суворин? — невольно пришло мне в голову: грамматический курьез дощечки так близко походил на опечатку «Нового Времени». Во всяком случае, кому бы ни принадлежало составление этого курьеза, г-же Рост должно быть очень стыдно за него: живя столько лет в России и собирая ежегодно такую обильную дань с посетителей своего сада, она могла бы, кажется, позаботиться, чтобы ее русские надписи составлялись пограмотнее. Впрочем, надо и то сказать, большинство немцев всегда и везде отличалось неуважением к стране, которая давала им приют и кормила их... Во все время прогулки по саду мне почему-то то и дело шли на память наши журнальные деятели. Так, например, большой слон с его хоботом вызвал у меня представление о г. Краевском с его «Голосом»; морские свинки, суетливо, но мирно возившиеся около брошенной им травки, напомнили мне наших военных корреспондентов; неуклюжая птица марабу, стоявшая неподвижно на верхушке выстроенной для нее будки, казалась мне похожей, как две капли воды, на кн. В. Мещерского, а сама будка — на «Гражданина»; даже дикообраз, и тот как будто смахивал... на г. Благосветлова, и т. д. Только хищники не напомнили мне никого: они смотрели слишком гордо и независимо. Под конец меня уже совсем вывела из терпения такая нелепая галлюцинация, и я перестал смотреть на зверей. Да, впрочем, по правде

сказать, и смотреть-то было не на что: ничего нового в саду не оказалось, за исключением двух малайских медведей.

Кстати о медведях. В зверинце г-жи Рост, как известно, давно уже содержится великолепный экземпляр полярного представителя этой породы, очень ценный и требующий самого тщательного ухода за собой. Так как всякая пища, кроме рыбной и мясной, положительно вредна ему, то публика приглашается не кормить его ничем. Приглашение это выставлено на видном месте клетки. Когда я подошел к ней, какой-то господин, весьма приличный по наружности и запасшийся порядочной краюхой хлеба, только что собирался покормить им зверя.

— Нельзя, папа, ничего давать ему...— тревожно остановил отца гимназист лет двенадцати, указывая ему на вывешенное приглашение.

Господин прочел надпись, отломил от своей краюхи изрядный кусок и молча стал просовывать его за решетку.

— Ведь он может околеть, папа...— еще тревожнее и даже несколько настойчиво проговорил гимназист.

Но отец и теперь не обратил на него ни малейшего внимания и невозмутимо просунул хлеб в клетку. Заметив, однако, мой пристальный взгляд, он поспешил удалиться.

Таким образом, тут, у этой медвежьей клетки, я, в каких-нибудь пять минут, окончательно и без особенного философствования разрешил для себя так долго мучивший всех россиян вопрос: кто лучше — «отцы» или «дети»?

Да, действительно, «дети» лучше. Чтобы убедить в этом и тебя, читатель, я поищу доказательств в текущей жизни. По словам «Петербургской Газеты», четырнадцатилетний мальчик, Зверев, обвинялся у мирового судьи 2 участка в карманном воровстве. Судья определил: Зверева, за малолетством его, отдать на исправление родителям. «Дозвольте, судья мировой, здесь его высечь, чтобы он помнил, как надо жить»,— сказала мать Зверева. «Можете это сделать в полицейском участке»,— заметил судья. Спрашиваю вас, г. умиротворитель: во-первых, почему же именно «в полицейском участке», а не дома? Во-вторых, осмелитесь ли вы принять на себя ответственность за последствия подобного совета по системе «Домостроя»? И, наконец, в какой школе изволили воспитываться вы сами, если допускаете возможность розог для детей? Еще один вопрос: неужели вам никогда не приходилось подумать, почему это наше правительство отменило телесное наказание даже для взрослых, даже для убийц?

Если не приходилось, то, ради бога, подумайте и не смущайте публику вашей камеры такими замечаниями, в достоинстве которых может усомниться всякий мало-мальски развитый человек. Очевидно, читатель, что это — «отцовский» взгляд. А вот и другой пример. По поводу изгнания учеников из училищ г. Суворин говорит: «Мне иногда сдается, что прежнее время было гуманнее. Прежде мальчики шалили и делали безобразия гораздо больше, чем ныне, и гг. педагоги относились к этому снисходительнее. Правда, прежде пороли, но самому испорченному мальчику даже из кадетских корпусов не давали «волчьего паспорта»». Надеюсь, отсюда ясно, как божий день, что если б г. Суворина вздумали изгнать из Петербурга, то он лучше согласился бы на порку, чем на изгнание. Очевидно, что и это тоже «отцовский» взгляд, с тем только различием, что здесь уже, в видах самоохраны, готовы принести идолу благоразумия всяческую жертву... даже и не бескровную. Теперь посмотрим, как относятся к этому же предмету «дети». В «Русский Мир» пишут из Келецкой губернии, что «в посаде Магоща случилось на днях самоубийство, над которым невольно приходится призадуматься. Сын мещанина названного посада, четырнадцатилетний мальчик, Петр Яворский, наказанный матерью своею за непослушание, в тот же самый день, вечером, повесился в своем доме». Мальчик этот, очевидно, не разделял ни теории г. Суворина, ни замечания г. мирового судьи 2 участка; а жаль: старших надо слушаться. Но я думаю, читатель, что ты все-таки согласишься со мной, что «дети» несравненно лучше «отцов»; у них, по крайней мере, собственного достоинства оказывается гораздо больше, чем предполагают иные, очень уж благоразумные люди...

К числу таких преувеличенно благоразумных субъектов, я полагаю, можно смело отнести и г. полковника Струве, строителя Литейного моста. В заседании Петербургской городской думы, 20 мая, рассматривалось его ходатайство об увеличении оптовой цены за постройку этого моста на 919.000 руб. против первоначальной сметы. Другими словами — человек желает, чтобы ему положили в карман, так себе, без малого миллиончик,— ведь недурно? Дорогие мосты строятся не часто, так что надо только удивляться, как это наша дума не исполнила такого... благоразумного желания. Она отказала г. Струве большинством 88 голосов против 65. Напрасно! — следовало бы поощрить. В настоящем деле меня больше всего занимают, впрочем, личности этих голосов: должно быть, самые невинные люди...

Бывают также и невинные фотографы... Вот, например, г. Андерсон. Если ты закажешь ему, читатель, положим, шесть кабинетных портретов, то рискуешь увидеть себя на одном из них косым, на другом — с искривленной губой, на третьем — с четырьмя бровями вместо двух, и т. д. Хотя мировой судья 13 участка и не одобрил такого разнообразия в работах этого фотографа, но я непременно снимусь у него... ради невинного же курьеза.

Однако шутки в сторону. У меня стоит еще на очереди одно серьезное дело, непосредственно касающееся моей профессии. Позволь мне предложить тебе, читатель, нескромный вопрос: имеешь ли ты основательное понятие о фельетонисте и питаешь ли к нему достаточное почтение? Я уверен, что нет, ибо и сам до сих пор мизерно заблуждался на этот счет. Но вот, говоря высоким слогом, на закате дней моих появляется на газетном горизонте новое фельетонное светило и провозглашает: «Фельетонист — своего рода папа общественных его движения, Пий IX всяческих злоб дня, и горделивое признание папою бессмертия папства обнимает собою и признание нетленности фельетонизма». Ты думаешь, что я опять-таки шучу? Нет, читатель, эти строки дословно выписаны мною из «С.-Петербургских Ведомостей», вышедших в воскресенье, 22 мая. Там, в нижних столбцах, ты можешь прочесть «Мотивы и отголоски», подписанные «Роландо». Это и есть новое светило, ему-то и принадлежат названные строки. Теперь я снова спрошу тебя: знаешь ли ты, каким слогом должен писать истинный фельетонист? И снова я уверен, что ты этого не знаешь, как не знал до сих пор и я. Так поучайся же: «Все поры нашего бытия» — говорит Роландо — «пребывают проникнутыми войною, и на все мы смотрим, так сказать, с ума прицела круповских пушек». Вот как надо писать фельетоны! С завистью встречая это восходящее светило, с которым, конечно, никогда не сравнится мой собственный тусклый блеск, я, однако ж, не в силах удержаться от привета новому собрату:

Ваше Святейшество, друг и собрат,
Всяческих злоб Пий IX!
Вниди со славой и честию в ряд
Нижних столбцов жидковатый.

Силой бессмертия папства храним,
Даже хоть католицизма —
Вещий! лиши ты нас словом своим
Тленности фельетонизма.

Пусть ныне смотрим на все мы с ума
Стрел фельетонных прицела,
И да проникнет нам в поры сама
Чушь без конца и предела!

Это редко случается, что я вполне умиляюсь, а тут даже совсем растаял от восторга. Нельзя не поздравить и «С.-Петербургские Ведомости» с таким блестящим приобретением.

Наша Северная Пальмира тоже отличится вскоре прибылью. «Северному Вестнику» сообщают, что один из предпринимателей по устройству аквариума в Петербурге, некто г. К. Миллер, приобрел уже для этой цели, в Семеновском полку, место купца Шарова, на котором (не на Шарове, конечно, а на его месте) и будет устроен аквариум, при участии нескольких капиталистов. Предполагается снабдить его садом, птичником, бассейном для водяных животных, могущих жить в нашем климате, и библиотекою сочинений касательно водяных животных, водяных птиц и водяных растений. К участию в этом деле учредители имеют в виду пригласить с.-петербургское общество естествоиспытателей. В добрый час! Пора бы также подумать Петербургу и об устройстве настоящего зоологического сада, отсутствие которого резко отличает этот город не только от всех других европейских столиц, но даже и от Москвы: нельзя же, в самом деле, довольствоваться «кравиными сабаками» г-жи Рост.

Кстати о собаках. В прошлом фельетоне я заявил, что ходить по тротуару опасно: того и гляди, что на тебя обрушится какой-нибудь дом. Теперь оказывается, что и посредине улицы ходить не безопасно: может укусить бешеная собака. Газета «St.-Petersburger Herold» рассказывает, что на днях жертвами такого животного сделались нянька и ребенок, находившийся у нее на руках. Покойный литератор Ломачевский, как известно, тоже пал жертвою укушения бешеной собаки. Неужели же, в самом деле, в нашем распоряжении нет никаких средств предупредить подобные случаи? Если мы не затрудняемся иногда изолировать от общества даже людей, то что же за гуманность, спрашивается, церемониться с собаками?

Нет, по мне, пусть уж лучше давят нас люди, как раздавила известная петербургская артистка, г-жа Кронеберг, одну старуху, жену отставного рядового Читович, лошадьми корнета л.-гв. конного полка Лихачева, на которых эта артистка каталась по Невскому. Дело ее разбиралось 24 мая в III отделении петербургского окружного суда без участия присяжных заседателей. Оно не сложно: вся суть заключа-

ется в быстрой езде. При допросе г-жа Кронеберг объяснила, между прочим, что лошади, на которых она ехала — очень хорошие, и она ездит быстро потому, что полагается на опытность кучера. Как попала под сани Читович, она не знает. Кучер Желтов на вопрос о виновности дал такой ответ: «я виноват — сшиб ее действительно». Решением окружного суда г-жа Кронеберг оправдана, а Желтов приговорен к аресту при полиции на один месяц и церковному покаянию. Я, однако, не оправдал бы г-жу Кронеберг. Очень может быть, что корнетам и пристойно носиться сломя голову на своих рысаках; но мне кажется, что для особы прекрасного пола это должно быть несколько... щекотливо. Конечно, кучер Желтов неправ: он был неосторожен. Однако ж, я полагаю, что если б г-жа Кронеберг предпочитала более скромную езду, то никакого несчастия с покойной Читович не случилось бы, а это — самое главное в данном случае.

Извини, читатель, что я занимаю тебя «всяческими злобами дня», как выражается мой новый собрат по фельетону. Мне самому хотелось бы отвести от них глаза хотя на минуту, но...

Но мутная будничной жизни волна
Уносит меня за собою;
А там, в перспективе, другая видна —
С такою же мутью родною.

Авось, впрочем, удастся мне познакомиться на днях со знаменитым спиритом Юмом, только что пожаловавшим к нам в Петербург. Тогда я постараюсь занести

И в мой набросок мимолетный —
Мир бестелесный, мир бесплотный...

5

Необходимая оговорка.— Торжество в Александрийской школе и поэзия ее воспитанниц.—Будущий корреспондент моей газеты.— Г. Немирович-Данченко и румынские быки.— Современная басня

При первом знакомстве с тобой, читатель, я забыл сделать одну маленькую оговорку: мне следовало предупредить тебя, что твой покорный слуга отнюдь не намерен держаться рутинного приема своих многочисленных собратий по фелье-

тону. Объяснимся. Дело в том, что обыденная жизнь рядом с крупными выдающимися фактами дает нам еще целую массу крайне мелких явлений, не заслуживающих, по-видимому, никакого внимания. Но так ли это, полно? Действительно ли эти мелкие явления не стоят нашего внимания, да и можно ли вообще какой бы то ни было жизненный факт окрестить названием «мелкого»? Я так не думаю. Мне, напротив, сдается, что именно в этих-то мелких фактах общественной жизни и заключается вся ее суть. Постараюсь уяснить тебе мою мысль примером. Когда я хвораю, положим, тифозной горячкой,— это факт для меня выдающийся; но когда, вспотевши, я выпил стакан холодной воды, вызвавший у меня развитие подобной болезни,— это явление мелкое, о котором, пожалуй, мне даже не придется и вспомнить. Если такое положение для тебя ясно, то ты без труда поймешь, что я хочу сказать. А я хочу сказать, что большинство фельетонистов набрасывается именно на крупные факты, оставляя без внимания мелкие. Нет ничего мудреного, что противоположный прием далеко не угодит тебе, но я все-таки намерен следовать ему неуклонно, как только представится к тому подходящий случай. Теперь такой случай как раз налицо, и нельзя им не воспользоваться. Вот что сообщает, между прочим, «Петербургская Газета»:

«В воскресенье, 29 мая, в купеческой для девиц Александрийской школе, что при доме призрения престарелых и увечных граждан, в Ямской, близ Волковского кладбища, происходил выпуск воспитанниц, достигших 16-летнего возраста, в числе 28. После божественной литургии и напутственного молебствия в церкви дома призрения, в зале школы девиц был прочитан акт, в присутствии членов купеческой управы, Воденикова, Попова и Эзелева, после чего девицы пропели следующую «прощальную песнь»:

Покидая невозвратно
Нашу пристань, наш покров,
Где нас грела благодатно
Солнца нашего любовь,
Мы со страхом на волненье
Смотрим вдаль, куда идти;
О, прими нас, Провиденье,
Будь вожатый нам в пути!
Вознесемся ж мы с молитвой к
Милосердному творцу,
С благодарною хвалою воздадим
Ему хвалу:

Ты младенческому гласу, милосердный бог внемли!
Храни благодетелей ты наших,
Сохрани для нас их дни».

Газета прибавляет: «В публике, присутствовавшей на этом акте, многие соболезновали, что достопочтенный председатель комитета г. Новинский не осчастливил своим присутствием такое знаменательное событие Александрийской школы».

Для большинства читающей публики подобное «событие» представляет, в сущности, очень маленький факт, даже явление чуть ли не домашнее — и только. Мы, однако ж, попробуем, читатель, отнестись к нему несколько серьезно. Прежде всего, сам собою рождается вопрос: кто сочинил для «шестнадцатилетних» девиц такую нескладную и бестолковую «прощальную песнь»? Сперва, признаюсь, я погрешил было на г. Новинского: должно быть, мол, потому-то он и «не осчастливил события», что вздумал подшутить над ним юмористическими виршами. Но, по зрелом размышлении, мне пришлось выкинуть из головы эту догадку. Тогда я ударился в другую крайность: я предположил, что «с благодарною хвалою воздали хвалу» сами «шестнадцатилетние» девицы или, по крайней мере, одна из них. В таком случае мне оставалось только «со страхом на волненье смотреть вдаль» и думать: чему же учили в школе этих девиц и следовало ли торжествовать их выход из-под «покрова» в жизнь, где, конечно, они уже не будут «согреты любовью ихнего солнца» за подобное младенческое упражнение в виршах? Но в силу того, что я всегда стою на стороне молодого поколения и все его вины возлагаю на старших, мне и эту догадку хотелось бы выбросить вон. Так назовите же нам, пожалуйста, гг. представители Александрийской школы, настоящего творца «прощальной песни», которого я считаю вполне достойным моим соперником... по юмористическому приему. Не отрицаю, что в детстве и мне случилось подносить поздравительные стишки... бабушке; но я помню также, что их тщательно, бывало, редактировали мои домашние, чтобы не сконфузить будущего веселого поэта; при том же я никогда не рискнул бы и сам читать их публично. Мы, писатели, часто удивляемся той огромной массе бездарных и нелепых стихов, какою постоянно бывает запружена любая из наших редакций; но что же в том мудреного, если иная школа, не сумев выучить своих питомцев даже толком владеть русским языком, торжественно поощряет в то же время их детское бумагомаранье. Без шуток, я нисколько не удивлюсь, когда одна из названных

«шестнадцатилетних» девиц принесет к нам в редакцию свои стихи и «младенческим гласом» попросит напечатать их... О, гг. Водеников, Попов и Эзелев! не можете ли хоть вы удержать девиц от такого бесполезного моциона?

Но я постараюсь сейчас утешить вас, г-жи бывшие воспитанницы Александрийской школы: не одни вы способны являться перед публикой с чем попало,— есть у нас и такие писатели. Вы, наверно, расхохочетесь до слез, как и мой читатель, когда я познакомлю вас со следующей выдержкой из корреспонденции г. Немировича-Данченко:

«Часа через два мы были в Пьетро — новая беда, поезд только что ушел. В станционном доме помещений нет — оставайтесь под открытым небом.

— А это у вас что такое? — обращаемся мы к начальнику станции, указывая на длинный ряд товарных вагонов.

— Быков в Крайову посылаем.

— Пустых вагонов нет?

— Нет... В одном довольно свободно, два быка там — только.

— Чего же лучше... Позвольте нам поместиться с ними.

— Вы шутите... Помилуйте, какое же это общество для вас! — зарапортовался смущенный румын.

— Нет, серьезно... А общество — ничем не хуже всякого другого!..

— Да ведь вам будет неудобно.

— Это уже не ваше дело... Доедем кое-как.

— Я не знаю, как это сделать... Какую с вас плату взять... В товарные поезда мы с веса берем.

— Мы заплатим за третий класс.

Сказано, сделано. К общей потехе кондукторов, железнодорожной администрации и прислуги — маленькое общество корреспондентов русских газет поместилось в вагон с двумя быками и одним козлом, порывавшимся к нам. Мы солидно и серьезно смотрели в глаза быкам, столь же сосредоточенно и внимательно оглядывавшим нас. Взаимно представлены мы не были, и поэтому, вероятно, можно сказать, быки не решились сразу заговорить с нами. Неловкое молчание это продолжалось всю станцию. Один из нас преспокойно спал, другой, распластавшись на животе и не обращая внимания на тряску поезда, набрасывал что-то в записную книжку, третий завел с козлом род партизанской войны, к стыду человечества, окончившейся полною победою козла. Нам было очень весело. Особенно смешили нас глупо удивленные глаза быков и шовинизм козла, нет-нет да и пытавшегося боднуть

четырех туристов из-за своей перекладины... Тем не менее сближения с быками не последовало...»

Не знаю, как ты, читатель, а меня просто восторг берет от этой пикантной сценки. Необходимо заметить, впрочем, что я несколько поскупился: она растянута в оригинале еще на половину столбца с лишком; но хорошенького, говорят, понемножку... Когда у меня будет своя газета, я первым долгом приглашу к себе г. Немировича-Данченко.

— Достопочтеннейший! — скажу я ему,— я только что начал издавать газету, и средства мои пока весьма ограничены. Мне нужен корреспондент... невзыскательный. Конечно, все дорожные издержки на мой счет, но... как бы это вам лучше сказать?.. но... в видах сохранения моих интересов... позвольте мне свесить вас и отправить... в одном вагоне с животными. Мне помнится, что вы нашли однажды, что подобное общество для вас «ничем не хуже всякого другого»...

И я вперед уверен, читатель, что г. Немирович-Данченко весьма охотно примет мое предложение. Но долго еще придется ждать, пока у меня будет собственная газета. Поэтому в данную минуту я хочу вознаградить моего будущего сотрудника, по крайней мере, стихами.

БЫКИ И ЛИТЕРАТОР

Современная басня

Посвящается г. *Немировичу-Данченко*

В вагоне как-то раз в Крайову
Везли румынских двух быков —
Конечно, без коров:
Ведь всем известно, что корову
Обидеть может бык,—
Начнет еще бодаться!
Но человек к всему привык,
Так не быков ему бояться.
Сказать наверно не могу,
По этой иль другой причине —
С быками ехал (я не лгу),
Назло приличью и рутине
Какой-то путник молодой
С биноклем, с книжкой записной.
Он был, как дома, в том вагоне
И всю дорогу хохотал.

«Кто может быть сей либерал?» —
Мычали росшие в загоне
Всю жизнь румынские быки
Друг другу... на ухо, понятно:
Ведь тоже, бестиям, приятно,
Что и они не дураки...

Когда же поезд прибыл к цели —
Как ни стеснял их этикет,
Быки спросить не утерпели:
«Кто вы, таинственный сосед?»
— Я литератор! — был ответ.

Смысл этой басни очень ясен:
Широк мир божий и прекрасен —
И с легкой Данченко руки,
При точке зрения известной,
В нем могут ехать в дружбе тесной
И литератор, и быки.

Теперь... Но нет! решительно, читатель, я не в состоянии сегодня беседовать с тобою дольше: уж очень меня смех разбирает...

6

Детский канкан в «Демидовке».— Соблазнительная поза мирового судьи.— Канканирующий г. Суворин.— Франт с Невского проспекта, бьющий на улице дом.— Набожность купца Егузинского.— Каприз И. С. Тургенева

«Век просвещения, не узнаю тебя!» Эта пресловутая карамзинская фраза неотвязно вертелась у меня в голове все время, когда на днях, в Демидовом саду, я смотрел на тамошнюю сцену, где подвизались в бесшабашном канкане две девочки и два мальчика, одетые в грубо карикатурный костюм. Кому принадлежит бесчестие этого нововведения и зачем публика поощряет его своим смехом и аплодисментами? Я понимаю, что нельзя запретить взрослым вести себя неприлично,— это дело их вкуса, их невежества. Но дети заслуживают большего внимания. Если от мастерового можно требовать, чтобы он не посылал своих учеников босыми в мелочную лавку, то развитая часть посетителей сада г. Егарева имеет тем большее право потребовать от него, чтобы он

не оскорблял ее вкусов подобными сценками голого цинизма. Я не из пуристов, но смею думать, что публичные увеселительные сады не должны быть школами развития грязных представлений, в особенности для подрастающего поколения. Да, читатель, эти дети канканировали с совершенством, с видимой любовью. «Что же будет дальше, когда вы вырастете?» — невольно думалось мне весь вечер. Но не станем винить их, а лучше пожалеем: гнилое яблоко зависит от подточенного гнилью дерева, и да ляжет весь стыд виденного мною канкана на матерей этих бедных малюток, на публику, не умеющую отличать смешного от неблагопристойного.

А впрочем, отчего бы и не канканировать детям, когда ныне этим все занимаются? Ведь вот даже мировой судья 13 участка принимает иногда у себя в камере соблазнительные позы... конечно, в смысле его звания. По словам «Петербургской Газеты», 6 июня, при разбирательстве какого-то гражданского дела, он, заметив, что один из тяжущихся подперся руками и встал фертом, подбоченился сам и сказал тяжущемуся: «а вы этак не стойте на суде! Так стоять на суде нельзя, а в кабаке — можно». Совершенно верно, г. судья, но где же у вас логика? Почему же другому нельзя делать того, что позволяется вам? Разве вы не понимаете, что вами сделано такое же неприличие и выказан такой же недостаток уважения к тому же суду, представителем которого вы являетесь сами? Этот маленький факт прелестно иллюстрирует наши общественные нравы и привычки. Мы все хотим учить других хорошему поведению, не умея держать самих себя благопристойно и с достоинством. Если бы тяжущемуся вздумалось пуститься вприсядку, то, вероятно, и вы, г. судья, в видах вящего назидания, последовали бы его примеру. Так, по крайней мере, выходит по общепринятой логике.

У нас, в литературном мире, тоже водятся свои комики, свои канканеры. Но единственною, несравненною знаменитостью в этом роде, бесспорно, является г. Суворин: он ежедневно откалывает такого беззастенчивого публицистического трепака, что даже глазам не верится, как это человек не краснеет за себя. Возьмем самый свежий пример. Г. Нотович чем-то не угодил в своей газете г. издателю «Нового Времени», и вот он обращается к нему с целым синодиком топорных грубостей, точь-в-точь как пуасардка парижского рынка, уличенная в несвежести своей провизии. Г. Суворин заканчивает этот бранный синодик следующими словами: «Оказывается, что г. Нотович принадлежит к числу

тех евреев, которых следует убеждать не словами, а другим более чувствительным способом, или в случае отвращения от такой расправы — судом». Позвольте вас спросить, г. издатель «Нового Времени», каким же это таким «чувствительным способом»? — уж не тем ли, каким грозили, однажды вам самим? И это вам не стыдно хвастаться, что вы лучше умеете владеть палкой или кулаками, чем пером? О, публицист, похваляющийся способностью тащить в суд другого публициста! — не есть ли это последнее слово бесстыдного литературного канкана? Так и хочется посоветовать: при, дескать, при его в участок, бунтарь! Я непременно наградил бы вас сегодня стихами, если б не боялся, что вы и меня притянете к суду. Стыдитесь!

По наклонности давать знать о себе не иначе, как «чувствительным способом», у г. издателя «Нового Времени» нашелся достойный соперник в лице некоего потомственного почетного гражданина Осокина, приговоренного недавно судом за такую наклонность к аресту на один месяц. «Петербургская Газета» передает этот случай так: при переезде Невского проспекта некоею г-жою Югановой к ней подошел какой-то франт из числа стоявшей там около какого-то экипажа компании молодых людей и схватил г-жу Юганову за руку, а когда та вырвалась и крикнула извозчику ехать скорее, то франт размахнулся бывшею у него палкой и «вытянул» ею по спине даму. Как это тебе покажется, читатель? Каков этот мелкий фактик из наших повседневных общественных нравов? Человек ни с того ни с сего бьет на улице палкой незнакомую даму — и это днем, на самой людной улице столицы! Но я не решусь обвинять слишком строго потомственного почетного гражданина Осокина: у кого же ему и учиться, как не у родных публицистов?

Нам все грозит опасностью, читатель:
На улицах грозит паденьем дом,
На Невском угрожает даже днем
Торцовой мостовой его топтатель,
В редакции — зазнавшийся издатель,
Сопернику грозящий кулаком...

Вот и извольте тут писать веселые фельетоны! Повторяю еще раз то, что высказал в прошлой беседе: не в крупных, а вот именно в таких мелких явлениях обыденной действительности надо искать разгадки нашего общественного строя или, вернее сказать, неустройства...

Знаком ли читатель с купцом Егузинским? Если незнаком, то я сейчас познакомлю тебя с ним: он тоже может уделить кусочек такого, ничем не заменимого материала бытописателю наших дней. В газете «Наш Век» пишут: «В минувшем году наши газеты сообщили о приостановке работ по постройке сельской церкви в Шувалове по причине недостатка необходимых для того сумм. Теперь «Русскому Миру» передают, что препятствие это устранено, благодаря оригинальному пожертвованию купцом Егузинским 10.000 руб., с тем условием, чтобы предоставленное ему право содержания в Парголовской волости трактиров, питейных и торговых заведений было продолжено еще на пять лет. Если принять во внимание огромное количество дачников, населяющих летом Парголовскую волость, и многочисленность здешних крестьян, то нетрудно понять, что г. Егузинский не останется в убытке от сделанного им пожертвования и возвратит его с избытком». Конечно, нет — прибавлю и я от себя. Но не в этом вся суть дела. Тут, главным образом, бросается в глаза тот назидательный факт, что русский капиталист и, по всей вероятности, человек почтенных лет, усердно посещающий храм божий, осмеливается с неподражаемым цинизмом делать пожертвование на церковь за право держать кабаки. Преклоняюсь перед изобретательностью г. Егузинского и подношу ему, на память, следующее четырестишие:

Можно смело и свободно
Водкой деньги наживать,
Но не следует подобной
Лептой... храма осквернять!

Не замечаешь ли ты, читатель, что я сегодня как будто не в своей тарелке и что тон моей речи звучит несколько лихорадочно. Не удивляйся: я только что узнал из берлинских газет, что И. С. Тургенев заявил своим знакомым в Берлине о данном им самому себе слове не писать более романов. Мотивом к такому решению послужили, по замечанию тех же газет, неблагоприятные отзывы русской печати о его последних работах. Это известие произвело на меня крайне раздражающее впечатление. Я предполагал до сих пор, что г. Тургенев, как и каждый из нас, писателей, работает для своего народа, а отнюдь не для тесного кружка российских критиков и рецензентов. Я полагал также, что всякий уважающий себя работник слова служит вместе с тем и его свободе, так что для него даже обязательно выслушивать без старческой раздражительности любой свободный отзыв, из какого бы ла-

геря он ни шел и в какую бы сторону ни клонился. Если известие, переданное берлинскими газетами, справедливо, то я должен сознаться, что глубоко ошибался... относительно взглядов и убеждений г. Тургенева. Во всяком случае, я сам, по крайней мере, не пророню ни единой слезинки, если этот, бесспорно, талантливый писатель по самолюбивому капризу замолкнет для российской публики. Но лучше больше пишите, Иван Сергеевич, да поменьше капризничайте...

7

Можно ли чему-нибудь удивляться? — Студент, обличающий товарища в краже атласа.— Судебное разбирательство по этому поводу.— Газета «La Russie Contemporaine».— Моя заметка автору «Анны Карениной»

Поистине, читатель, мы живем с тобой во времена удивительные, так что, кажется, скоро перестанешь удивляться чему бы то ни было. Я, например, дожил чуть ли не до седых волос, но мне никогда и в голову не приходило, что я могу дожить еще до того позорного факта, чтобы какой-нибудь студент решился подвергнуть товарища публичному обвинению в воровстве. А между тем подобный факт у меня налицо, и мне невозможно его игнорировать, хотя я желал бы от души никогда не видеть нашей учащейся молодежи в качестве материала, пригодного для моей воскресной беседы. Но, нечего делать... расскажем все по порядку. Вот как передают этот факт наши газеты:

17 июня в столичном мировом съезде слушалось дело окончившего курс медицинских наук в гейдельбергском университете Максима Аксельруда, обвинявшегося в краже. Бывший студент медико-хирургической академии Шеболдаев, занимавшийся 21 февраля в одной комнате с Аксельрудом, уходя, просил последнего присмотреть за его книгами или же передать их сторожу анатомического института. По возвращении Шеболдаев не нашел ни Аксельруда, ни атласа, вследствие чего решил, что атлас пропал. Спустя неделю Шеболдаев увидел в студенческой библиотеке объявление Аксельруда о продаже немецких книг и атласа Гейцмана. Пригласив с собою студента Чернова, Шеболдаев отправился к Аксельруду, которого не застал дома. Просматривая книги, он нашел пропавший у него атлас и хотел взять его, но по

совету хозяина квартиры, у которого Аксельруд занимает комнату, оставил до прихода Аксельруда. Когда последний явился, Шеболдаев спросил его, как достался ему атлас, на что студент Аксельруд отвечал, что купил его у студента, имени которого назвать не желает и после неотступного требования Шеболдаева возвратил ему атлас, говоря, что теряет 6 рублей. Шеболдаев хотел вывесить заявление о случившемся в академии и обращался к прозектору, доктору Тарнецкому и инспектору Пескову, которые отказали ему в этом. Вскоре затем Аксельруд возбудил против Шеболдаева и Чернова обвинение в самоуправстве и клевете. Мировой судья Протасьев оправдал обвиняемых, признав самое обвинение недобросовестным; съезд утвердил это решение. При рассмотрении дела в съезде товарищ прокурора нашел возможным возбудить против Аксельруда обвинение в похищении у Шеболдаева атласа. Из показаний двух служителей академии, Бенета и Лебедева, на суде выяснилось, что, действительно, Аксельруд покупал у какого-то студента книгу и заплатил за нее 6 руб. На основании этих и других данных мировой судья отверг обвинение в краже, так как не было тайного похищения атласа, но признал Аксельруда виновным в присвоении чужого имущества, вверенного ему на хранение, и приговорил обвиняемого к аресту при тюрьме на шесть с половиною месяцев. Защитник его, присяжный поверенный Унковский, апеллировал и на суде обратил, между прочим, внимание съезда на положение Аксельруда, который своим трудом пробивает себе дорогу и которому дело это помешало сдать экзамен, так как профессор Грубер отказался экзаменовать его, пока настоящее дело не разъяснится; кроме того, Аксельруд собирается теперь, в качестве студента или фельдшера, отправиться в действующую армию. Товарищ прокурора Суходольский, на основании свидетельских показаний, находил обвинение недоказанным и полагал приговор мирового судьи отменить. В последнем своем слове Аксельруд сказал: «Данное мне разрешение держать экзамен прямо на врача не понравилось академическому начальству, и оно стало давить меня, и давить шибко, в особенности Ланцерт, так что в продолжении четырех лет я не мог сдать экзамена, несмотря на то, что имею аттестаты гейдельбергских профессоров и сдал уже 24 экзамена. Далее он объяснил, что купил книгу, но у кого — не знает; когда же Шеболдаев, придя к нему накануне экзамена Грубера, стал утверждать, что книга его, и требовал ее возвращения, он отдал ему ее, на честное слово, до разъяснения дела, прося только оставить его покойно готовиться к экзамену. На другой же день для доказательства справедли-

вости своего объяснения о покупке книги вывесил два объявления, приглашая лицо, продавшее книгу, явиться на другой же день, но оно не явилось. Съезд оправдал Аксельруда.

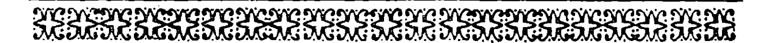
Вот вся сущность дела, как она выяснилась на суде.

Отвернемся поскорее, читатель, от такого... грустного факта и поищем лучше чего-нибудь веселенького. Кстати же, теперь у нас, в Петербурге, народился некий весельчак, чтоб не сказать — юродивый: это — французская газета «La Russie Contemporaine», выпустившая недавно свой пробный номер. Для характеристики этой новой литературной трущобы достаточно привести одно место из нее, где о так называемых нигилистках говорится, что «ces femmes meritent d'être fouettées en place publique», т. е. что они «заслуживают быть высеченными на площади». Не могу тебе сказать, в каком именно месте всего достойнее было бы применить подобную же меру к самому г. де Легэ, редактору названной газеты, за высказанную им мерзость, но, полагаю, что на русской земле этого не может случиться, ибо, по всей вероятности, ни один из моих соотечественников не пожелает осквернить ее такой испорченной кровью... Тем более удивляет меня негодование некоторых русских газет, с которым они отнеслись к этой французской диковинке: было бы слишком много чести придавать ей какое бы то ни было иное значение, кроме гаерского «упражнения на туго натянутом канате». Даже больше — я, например, положительно побрезговал бы внести ее, как материал, в мои юмористические стихи. Молчаливое презрение — вот, по-моему, самый лучший ответ, какой только может дать русская печать своему непрошеному французскому сподвижнику.

В июньской книжке «Русского Вестника», на самом конце ее, напечатано: «В предыдущей книжке под романом «Анна Каренина» выставлено: окончание следует. Но со смертью героини собственно роман кончился. По плану автора следовал бы еще небольшой эпилог, листа в два, из коего читатели могли бы узнать, что Вронский, в смущении и горе после смерти Анны, отправляется добровольцем в Сербию, что все прочие живы и здоровы, а Левин остается в своей деревне и сердится на славянские комитеты и на добровольцев. Автор, быть может, разовьет эти главы к особому изданию своего романа».

Нет, граф, уж увольте, пожалуйста. Вы и так тянули ваш роман два года, а теперь хотите еще заманить публику на его отдельное издание, обещая преподнести ей новые главы: не

через край ли вы, полно, хватили? Мне кажется, что уж если, по вашему плану, вам следовало наградить читателей эпилогом «листа в два», то и надо было дать его в свое время, а не заканчивать бесцеремонно романа как попало. Это приличествует только заурядному строчиле заурядной беллетристической дребедени. Но ведь вы, вероятно, не так же смотрите на свои произведения. А если вы на них смотрите серьезно, в чем я ни минуты не сомневаюсь, то почему же вы сразу не закончили вашего романа как следует? Быть любимцем публики — ведь это не значит еще иметь право вставать к ней в халатные отношения... Делаю настоящую заметку потому, что она может не без пользы пригодиться вам в другой раз.



НАБРОСКИ СИБИРСКОГО ПОЭТА

Фельетон

I

Прежде всего, имею честь доложить читателю, что положение наше с ним самое завидное: не утруждая себя первобытными порядками и неприятностями сибирских дорог, нам предстоит возможность переноситься из города в город и, подобно пчеле, собирать с любого цветка мед, хотя и не особенно благовонный. Расстояния для нас будут нипочем, и цветов мы жалеть не будем, ибо, как известно, наша Сибирь постоянно цветет... будь это принято даже в смысле плесени. К сожалению, далеко не процветают только многие сибирские города; по крайней мере, в этом может убедить нас изданная на днях хозяйственным департаментом министерства внутренних дел книга под заглавием: «Экономическое состояние городских поселений Сибири». Разбирая названную книгу, «Новое Время» замечает, между прочим:

«Общий же вывод из чтения описания различных городов можно сделать тот, что только те города в Сибири развиваются, которые лежат в южной и степной полосе; чем далее к северу, тем развитие медленнее. О городах же на дальнем Севере, созданных более по административным соображениям, и говорить нечего — положение их ужасно».

Допустим, что это так; но нам крайне любопытно было бы знать, о каких это городах южной степной полосы говорит петербургская газета? Уж не о таких ли, как Атбасар, Кокчетав, Павлодар и т. п.? Помилуйте! да какое же там развитие? Ведь это именно и суть же самые искусственные города, о которых упоминает рецензент. Обратимся теперь к приведенному им же, весьма характерному описанию наружности города Верхоянска:

«Постройки города возведены совершенно без плана и даже не образуют собою улиц. Дома без скатных крыш и по большей части не обшиты тесом, с высокими неуклюжими трубами; потолки снаружи обмазаны глиной и покрыты толстым слоем земли, который не заменяет крышу; окна без стекол, вместо которых вставлены льдины»...

Рецензент, очевидно, возмутился этим и прибавил от себя:

«При таком способе постройки домов неудивительно, что не только инородцы, но и некоторые русские обыватели живут в юртах».

Чудесный город, не правда ли? Прочитав его описание, я встрепенулся, и у меня просто потекли слюнки: да ведь это настоящая Аркадия! Именно, я не только не возмутился, а, напротив,— возликовал, ибо в наше жестокое время антипатий ко всему интеллигентному только в таком первобытном городе и можно благодушно укрыться от всяческих цивилизованных напастей. Нет, кроме шуток, я даже схватился за лиру...

Град, построенный без плана,
Град без улиц и без крыш!
Ты ль сибирского Баяна
Простотой не вдохновишь?
Заменивши стекла льдиной,
Доказал ты, что в наш век
Не культурою единой
Жив и счастлив человек.
Эти трубы неуклюжие,
Уходящие в лазурь,
Говорят нам, что к тому же
Ты не ведаешь и бурь.
И когда спадет завеса
Лжи, гнетущая умы,—
Все лечиться от прогресса
В Верхоянск поедем мы!

Ах, в самом деле, переселимтесь-ка, господа, в Верхоянск... Если там не будет лучше, то и ведь хуже не будет, а то удовольствие какое — смотреть на всевозможные иллюзии сквозь обманчивые льдинки!

Уж истинно можно сказать, что дары судьбы распределены неравномерно, даже и по отношению к городам.

В то время, например, как почтенный Верхоянск щеголяет без улиц, не менее его почтенный Минусинск обзавелся сразу двумя помощниками исправника. Вот что пишет об этом в «Сибирскую газету» минусинский корреспондент:

«Из новостей дня, приводящих в недоумение наше общество, следует отметить небывалое, ни в каком другом городе Российской империи, одновременное существование в Минусинске, уже более двух месяцев, на равных правах службы и получения казенного жалованья, двух помощников

исправника: Д — ва, утвержденного в этой должности уже более 3-х месяцев, и В — ского, бывшего недавно под следствием, но неуволенного от должности.

Оба служат, но только с небольшой разницей. Д — в служит в полиции, а В — ский служит... новому исправнику, в качестве компаниона, по целым неделям, на охоте на дупелей.

Что сей сон означает?»

Да ровно ничего не означает, кроме благоденствия.

Два помощника... скажите!
А исправника — не два?
Минусинцы! отслужите
Вы молебствие сперва;
А потом, когда водою
Вас святою окропят,—
Все пойдет само собою
И вдобавок вас гурьбою
Дупеля благословят.

А вот вряд ли дождется такого же благоденствия от своих рабочих некто г. Б., подвизающийся, по словам газеты «Сибирь», следующим патриотическим образом:

«На Б. винокуренном заводе, принадлежащем г. Б., в 28 верстах от Н-ска (какая чисто сибирская скромность в отношении сибирских имен!), производится постройка пароходов и нового каменного винокуренного завода. Рабочих более 1.000 человек. Зарабатывают в месяц — минимум 25 р., максимум 70—100 руб. По окончании месяца, являясь в контору за получением денег, они получают записки, разрешающие им забор в заводской лавке на заработанную сумму, а деньгами — ни копейки. Передавали нам очевидцы, что, например, сапоги из заводской лавки, стоющие 7 р., в другой лавке, в тот же день и час «рабочими сбывались за 2 р. наличных. Ропот общий. Неужели это правда? ведь это — того»...

Да, действительно, того... а впрочем — вещь весьма естественная, хотя и заслуживает баллады, на правах сверхестественного сюжета. Попробуем...

Там, где смотрит власть зажмуренным
Оком, верная себе,—
На заводе винокуренном
Процветает некто Б.
Деньги Б. гребет лопатами,

Выжимая местный сок,
Но не любит сам уплатами
Беспокоить кошелек.
Свой расчет всегда товарами
Б. с рабочими ведет —
Сапогами, шароварами,
Лавке собственной в доход.
Ставит цены Б. жидовские
И, радея о себе,
Про рабочих мнит: «Таковские!..»
Ваше имя, милый Б.?

А на самом деле, очень интересно было бы узнать: вы, г. таинственный Б., не тот ли именно Б — н, который, по словам газеты «Сибирь», отстоял недавно единственную в городе Нерчинске площадь, предназначенную было местной думой к застройке деревянными лавками? По этому поводу названная газета ехидно замечает:

«Что г. Б — н был, есть и будет по гроб жизни патриот своего отечества — Нерчинска, т. е.— это известно всем и каждому».

Тем с большим любопытством решимся мы повторить наш вопрос: это не один и тот же г. Б. в двух ипостасях?

Б... Б... Б..? Кто бы это?

Как бы то ни было, но н-ский винокур Б. в отношении мастерства наживы имеет очень опасного соперника в лице содержателя вольной аптеки в Семипалатинске. Сей находчивый аптекарь ухитрился продавать обывателям... как вы думаете что? — обыкновенную воду по 5 коп. за стакан. Не дурно? Не верите? Так прочтите, пожалуйста, в «Сибирской Газете» следующее сообщение семипалатинского корреспондента:

«По случаю сильных жаров в городском саду производится содержателем вольной аптеки торговля минеральными водами (самого худшего качества), а за недостатком их и простой холодной водой, по 5 коп. за стакан...»

О, времена, времена! Ну, как же тут не воскликнуть: Сибирь решительно прогрессирует! В старину думали, что нельзя строить жилищ на песке, а теперь и вода может служить опорной точкой... для будущего домостроительства:

Невольно скажешь.

Как ловки аптекаря-то,
Посудите, господа:

Пусть бы aqua distillata
А то просто ведь — вода!

Если уж пошло дело на курьезы, то вот вам в заключение и еще один, чисто сибирского свойства. Мы слышали, что в богоспасаемом граде Ушаковске (а если такого не окажется, то, вероятно, где-нибудь в другом) давали недавно торжественный обед по случаю возвращения в объятие сего града его начальника. При этом одним из обывателей была произнесена примерно следующая речь:

«Гг. общественники! гг. собутыльники! Известно ли вам, чем мы обязаны нашему достоуважаемому N.N.? Мы ему обязаны тем, что город наш по сию пору не разрушило землетрясение, что он стоит на месте и его не коснулся ни глад, ни мор, ни наводнение...»

Тут несколько голосов прервали оратора восклицанием: «Зато коснулись пожары!» Но он невозмутимо продолжал:

«Без достоуважаемого и благодетельного N. N. у нас не было бы золота,— он открыл его; не было бы фабрик и промышленности,— он насадил их! Без него мы не имели просвещения и ходили подобно диким зверям, поедая друг друга. Он просветил нас; он ходатайствовал за наши нужды (хотя это и не увенчалось успехом),— и все это он совершил...»

«Единым своим красноречием!» — подхватили несколько голосов.

Вот что называется расчувствоваться: хвалить, так уж хвалить! Только не через край ли хвачено, «гг. общественники»? Говорят, что торжество заключилось тостом в честь какого-то артиста, сидящего в тюрьме за подлоги,— тостом, конечно, достойным пьяной компании. Как видно, на сибирском обеде недоставало только поэта. Но мы, из понятного чувства патриотизма, беремся сейчас же восполнить этот крупный пробел. Наполняю бокал облепиховой настойкой и умиленно провозглашаю:

О, ты, всешустрый, всемогущий,
Начальник, нянька и отец!
Не верь компании сей пьющей,
Как изолгавшейся вконец.
Уж сколько лет одно и то же
Она сорокою твердит
И речь ее (прости мне боже!)
Протухлым омулем разит.
Не верь ей, светоч просвещенья!
Едва лишь кончится твой срок,

Она тебя без сожаленья
Ругнет и вдоль и поперек.
Ты не последний и не первый,
Кого провел сей фимиам:
Сегодня он щекочет нервы,
А завтра очи выест нам...

Но тут, предполагается, меня шумно прерывают, а остальное потрудитесь уж вы сами, земляк-читатель, дополнить воображением.

II

Нечего и говорить, что все мы, поэты, уже по одной обязанности своей профессии привыкли то и дело обретаться в восторженном состоянии. На этот раз, однако, и вы, мой прозаический земляк-читатель, принуждены будете разделить со мной подобное же состояние, ибо на общей нашей родине я случайно открыл такую блаженную территорию (близ Лукоморья, в местах, где странствовал Ермак), что я решаюсь назвать ее не иначе, как... навозным раем. Мне пишут о ней из Сибири:

Там далеко, при слиянии
Двух больших сибирских рек,
Есть, мол, город... что в названии?..
Просто город... (имярек).

Так вот в таком-то таинственном городе, с подвластной ему, разумеется, широко раскинувшейся территорией,— вот где именно и обретается то сибирское чиновное благополучие, о котором помянуто выше. Выслушайте, сообразите, удостоверьтесь — и... возликуйте.

Там, на этой благословенной территории, вот уже четыре года подвизается некий губернский Юпитер, навезший с собою массу любимцев и раздавший им места. Места все эти теплые, исправницкие, хотя и в холодной Сибири. В корреспонденциях все чаще и чаще доносятся самые диковинные сообщения из этого эдема. Места сдаются, говорят, чуть не с аукциона. Затем, поместившийся на месте, чувствуя себя вполне гарантированным, начинает действовать вполне бесцеремонно.

Обыкновенно обкладывает каждую волость и писаря оброком р. в 200, и так накопляются тысячи. Все эти господа,

несмотря на несущиеся жалобы из округов, пользуются, однако, постоянно милостями и наградами.

Таких патриархальных порядков давно уже не видела губерния близ Лукоморья. Говорят, что было время, когда здесь сидела гроза взяточников, и даже память об этом начальнике звучит еще на Лукоморье.

Ныне, наоборот, поощряется то, что прежде наказывалось. И кто только в этой трясине не пользуется милостями! Не говоря уже о ближайших советниках, поощрены и секретари, и столоначальники — все делятся благами. Мало того, недремлющее око помпадура отличает усердие даже и таких лиц, которые представляют из себя как бы посторонние приспособления к этой, очевидно, хорошо собранной машине. Таковы, например, трое городских голов, два врача и, наконец, архитектор. Значит, во всяком случае, все это люди достойные, ибо удостоились... Скажите же теперь по чистой совести: ну, не прав ли я? — не рай ли это навозный?

Неужели вы не ликуете, читатель? Если так, то знайте вперед, что вам никогда не познать сладости истинного восторга и нет у вас, стало быть, ни на волос поэтической жилки! Но, быть может, до вас стороной дошли темные слухи, что помянутый помпадур руководится на практике известной пословицей: «рука руку моет»; что один из помянутых городских голов, награжденный медалью, не прослужил и года в своей должности; что местные исправники торчат больше в городе, при самом помпадуре, чем на своих местах; что там, в этом благословенном городе, лечат младенцев морфием от лихорадки и принимают перелом ноги за ревматизм, что, наконец, там же, на этой благополучной территории, падают иногда потолки у непрочно будто бы построенных зданий... да и мало ли еще какие могли дойти до вас слухи. В таком случае не верьте им, пожалуйста: помните, что ученые постарались и на солнце отыскать пятна, а злые, завистливые языки всегда готовы из белого сделать черное, даже с траурными каемками. Что касается меня, то я, открыв сей навозный рай и будучи поклонником Шиллера, мог только восторженно и вместе с тем безнадежно воскликнуть:

— Kennst du das Land, wo die Citronen blühen?

«Безнадежно»,— говорю, ибо злодей-корреспондент, полакомивший меня известием о названной территории, увы! не сообщил мне ее точного адреса. Поэтому я решился вот на что:

Совершу я подвиг трудный —
Я добьюсь-таки в свой век,

Как зовут сей город чудный,
Чудный город (имярек)?

Брошу стих, литературу,
Лишь бы в сей попасть мне рай,—
И взмолюсь я помпадуру:
«Дай мне должность! должность дай!

Я не жажду блеску света,
Гонор чужд моей груди:
Ты исправником поэта
В захолустье посади!»

А как вы думаете, примет ли он меня на службу? С гордостью полагаю, что примет, ибо при своем навозном благополучии не может убояться встретить в моем лице непрошеного обличителя.

А вот в захолустье г. Якутска, так там, надо полагать, далеко не все благополучно. Я вывожу это смелое заключение из следующего трагикурьезного факта, сообщаемого якутским корреспондентом в газету «Сибирь»:

«У нас теперь идет большая облава на корреспондента «СПб. Газеты». Достанется же ему, буде несчастного отыщут!»

Поверите ли? — у меня просто дух замер, что называется, когда попались мне на глаза эти зловещие, ужасные строки. Ведь шутка сказать — облава! Кабан он или волк, что ли? Неужели же,— подумал я с невольным содроганием в собственном животе,— попадут, наконец, обыватели на след этой жертвы да так-таки кишки выпустят?! У меня после этого даже аппетит пропал на целые сутки; всю ночь в голове моей хаотически слагались и перепутывались какие-то беспорядочные звуки и созвучия, лишь перед самым рассветом получившие уже до некоторой степени приличный рифмованный облик. Я босиком соскочил с постели и отчаянно продекламировал:

Рога трубят. Идет облава...
Везде расставлены посты;
Народ смиреннейшего нрава —
Бегут на лыжах якуты.

— Ату его! — кричит фискальство,
Завидя жертвы бледный лик;

Но инородцы — вот канальство! —
Как на смех стали все в тупик.

Они сперва предполагали,
Что ловят зверя,— а теперь,
Как чудо прессы увидали,
Смекнули разом: нет, не зверь!

Дикарь упрям; ничье нахальство
Не сломит смысл его простой...
И обозленное фискальство
Ушло пристыженно домой.

Теперь перенесемся на другое благодушное место, или в один, тоже не совсем благополучный уголок, именуемый селом Медведевским, Барнаульского округа. А побывать там следует, хотя бы только потому, что нас даже и не приглашали туда... во имя печати. Дело в том, что в этом селе неудержимо свирепствует некий священник Т — ов. Вот как выражается о нем местный корреспондент «Сибирской Газеты» (ох, уж эти мне корреспонденты! куда их только нелегкая не заносит!):

«Солоно достанется здешнему населению от нашего «батюшки», проделки которого не мешало бы когда-нибудь вывести наружу».

Рассказав далее, как этот неприлично ругающийся между прочим «батюшка» поссорился с церковным коморником из-за выеденного яйца и, будучи сам кругом виноват во всем, его же посадил самоуправно в каталажку,— корреспондент продолжает:

«Таким образом, ныне обязанность волостных старшин, при содействии современных «батюшек», принимающих на себя столь охотно полицейские обязанности, много облегчена».

Замечание совершенно справедливое. Все в своем роде Булюбаши, Булюбаши и Булюбаши... О, как их много развелось теперь у нас! Но последуем далее, ибо это только еще цветочки, а ягодки впереди.

«Пользуясь покровительством, священник Т — ов постоянно подкапывается под свою братию в случае, если он не находит со стороны ее поддержки для своих проделок. Стоит только такому человеку заслужить нерасположение «батюшки», как на него посыплются неприятности, дерзкие выходки и всесильные доносы. Так недавно, по злобе на помощника своего, священника Г — нтова, Т — ов добился

того, что последнему воспрещено служение. Г — нтов, обремененный большой семьей из шести малолетних детей, самого себя и беременной жены, лишился насущного пропитания. Все обиженные Т — овым лица, на свои жалобы о притеснениях, обирательстве и противозаконных поступках, не получают удовлетворения, а потому остался один выход — прибегнуть к печати, и тут обратим внимание общества и начальства на этого человека, который свои личные интересы преследует на счет мирских уж очень бесцеремонно. Эти личные интересы преследуются на счет живых и мертвых взиманием за требы баснословных сумм. Так, за отпевание Т — ов берет быка или лошадь, по собственному выбору, а за венчание браков и выдачу метрических сведений, безразлично, взимает от 50 до 100 р., пользуясь в то же время и ругой[1] от прихожан».

Любопытно знать, не тот ли это г-н Т — ов, который недавно отличался в Барнауле и которого просили устранить прихожане, — тот именно Т — ов, который отличался кляузами, надоел начальству, был виновником смерти учителя духовного училища и, наконец, претендовал на место попечительницы? Если это он же самый (не посчастливилось ли Барнаульскому округу, однако, иметь двух Т — овых?), то является вопрос, за что на несчастное село обрушилось это перемещение и насколько жители его в силах будут защитить себя от лица, которое и в городе причиняло немало хлопот?

Впрочем, я не мастер говорить прозой:

Пастырь паству обирающий,
Пастырь сан свой унижающий
Неприличной руготней;
Доносящий, брата губящий,
Больше храма деньги любящий, —
Грех-то, батюшка, какой!
Кулаку подобясь тертому,
И живому вы, и мертвому
Лишь сказались тяготой:
За быка вы отпеваете,
За сто рубликов венчаете, —
Грех-то, батюшка, какой!

---

[1] Руга — плата хлебом от прихожан.

О, покайтесь, чтоб пылающий
Огнь геенны, нас карающий
За грехи стези земной,
Не пожрал и вас бы в частности!
А пока внимайте гласности:
Грех-то, батюшка, какой!

Однако будем верить, что и в Сибири подобные батюшки составляют исключение.

По правде сказать, не везет нашим захолустьям. Иногда их обыватели даже и верной фотографии не могут с себя снять. Вот как забавно жалуется на это другой якутский корреспондент в № 31 газеты «Сибирь»:

«Снимешься, взглянешь на свой портрет,— говорит он о двух местных фотографических заведениях,— и увидишь себя или белым без оттенков, или же таким черным, как будто пред позированием весь вымазался голландской сажей. О сходстве и говорить нечего,— иной раз выходит такая финти-графия, что без подписи трудно сказать, Фома или Ерема вышел на карточке. Но вот осенью прошлого года прибыл сюда фотограф, недавно оставивший лучшие и известные в Европе мастерские; он же специалист — ретушер. Мы, жители Якутска, уже видели новые работы, восхищались и радовались, что, наконец, нас не будут уродовать наши финтиграфы-самоучки... Но, увы! недолго нам пришлось пользоваться находкой, потому что новому фотографу не дозволено работать при здешних фотографиях».

Вот вам и наука вперед, гг. жители Якутска: не радуйтесь слишком преждевременно. Бедный Якутск!

Я готов бы посмеяться,
Что в Якутске кавалер
Лишь уродом может сняться...
Для невесты, например.

Посмеялся бы я даже
И над барышней — что там
Суждено ей, словно в саже,
Представляться — женихам.

Но размер грозы раскатов
Может хохот мой принять —
Что Европе азиатов
«Не дозволено» снимать.

Однако довольно.

III

Всю сегодняшнюю беседу я намерен посвятить пресловутой столице Восточной Сибири. «Коли сказался грибом, так полезай в кузов» — говорит пословица. Вот в силу этого-то русского афоризма я и хочу потолковать о тебе, мой родной город, насквозь пропитанный омулями, обывательской ленью и полицейской безурядицей, о тебе, кичливый Иркутск, не сумевший до сих пор завести у себя сколько-нибудь порядочного освещения, не собравшийся вымостить своих пыльных и грязных улиц, даже не позаботившийся водворить на своих стыках уличной безопасности среди белого дня, не говоря уж о том, что творится у тебя под покровом ночи... Если бы это означало только заурядное коснение, стояние на одной и той же точке, то куда бы еще ни шло; но ты, очевидно, регрессируешь. У тебя не может быть отговорки относительно недостатка хороших преданий. Напротив, резко выделяя себя из семьи сибирских городов, ты знавал лучшие времена, обнаруживал жизненную энергию, и название столицы носилось тобой тогда недаром. Я помню, как под железной рукой графа Муравьева-Амурского ты держал себя, что называется, «руку под козырек»; я помню блестящую плеяду европейски-образованных людей, дававших тон твоему обществу, вносивших в его жизнь осмысленное уважение к личности, нравственную чистоплотность и благопристойность. Стало быть, тебе было у кого научиться, мой почтенный Иркутск...

Могу сказать, что в те года
Все жизнью умственной кипело.
Учились юноши тогда
Смотреть на будущее смело;

Стремилась дружно молодежь
Усвоить лучшие заветы,
И мы не ставили ни в грош
Корыстной мудрости советы.

Бывало, с гордостью какой,
С какой сердечностью печали
Мы на чужбине вспоминали
Тебя, о город мой родной!..

А теперь? Теперь оказывается, что ты или ничему не выучился, или же все перезабыл. Через восемнадцать лет отсут-

ствия я навестил тебя всего два года тому назад — и нашел, по правде сказать... мерзость запустения. Весь твой прогресс за то время выразился для меня лишь разросшимся числом водочных заводов и резко бросающимся в глаза количеством «продаж и белых харчевен», как называешь ты, из приличия, свои грязные притоны пьянства и всяческого безобразия. Замечательно, что подобная конкуренция даже не улучшила, а скорее изгадила производство отравляющего напитка: от твоих «продаж» разило за полверсты сивушным маслом. И, однако ж, пьянство расцвело у тебя махровым цветом: пьют все, даже бабы и дети, чего не замечалось прежде. Последний нищий, которому удалось выпросить под окном медную монету, сейчас же нахально несет ее в кабак, тут же напротив этих окон. Рядом с разгулом идут беспрестанные грабежи, и каждый житель, возвратившийся благополучно домой поздно ночью, испытывает чувство человека, избавившегося от неминуемой опасности. Мелкое воровство дошло до курьезных размеров; в мою бытность, по крайней мере, воровали болты у ставен, отдирали даже крючки, на которые днем застегиваются эти ставни. А полиция? — спросит читатель. Грешный человек, я в течение года, проведенного в Иркутске, видел только раз какого-то пристава, сунувшегося не в свое дело, видел одного квартального надзирателя, выезжавшего верхом и навеселе в ворота местной гостиницы под вывеской «Звездочка», да еще раз посчастливилось мне созерцать на углу улицы какое-то жалкое подобие городового, ковырявшего у себя в носу с такой сосредоточенной серьезностью, как будто в этом, собственно, и заключались все его полицейские обязанности. Результаты такого именно отсутствия полиции на иркутских улицах уже в самое последнее время читатель мог усмотреть в предыдущих №№ «Восточного Обозрения». Как тут не скажешь:

Хоть, положим, не обидно,
Что полиции не видно,
Но немного будто стыдно
Так скрываться очевидно,

когда на этих улицах совершается явно, на глазах толпы, бесшабашное смертоубийство...



УЧЕНЫЕ РАЗГОВОРЫ

Рассказ из путевых впечатлений

I

Сумерки. Священник села Рассушинского отец Николай только что восстал от послеобеденного сна; собственно говоря, даже и не восстал еще,— ибо лежит пока на диване,— а просто открыл свои заспанные глаза и как-то усладительно почесывает у себя жирную спину.

— Кваску бы теперь испить знатно было...— приговаривает его преподобие, не относя, по-видимому, ни к кому своей речи.

Молчание.

— Поди-ка, Аксинья, принеси...— обращается он через минуту уже прямо к работнице, греющейся в этой же комнате у печки.

Толстая работница Аксинья, глуховатая, но разбитная бабенка, приносит ему целую муравленую чашку мутно-красноватой жидкости.

— Знатная штука этот квас! — говорит отец Николай, залпом выпивая почти всю чашку и ставя ее подле себя на пол.

— Докуда ты будешь, страмник, эту гущу-то дулить? — ядовито замечает из другой комнаты золотушная попадья, тоже отдыхающая или, лучше сказать, нежащаяся на высоком пуховике.

— Нельзя, Нюрочка: жажда...

— Ты бы еще с утра-то бочку винища выпил!

— Ну уж, Нюрочка, и бочку! — обидчиво возражает отец Николай:— в бочке-то ведь сорок ведер, говорят...

— Да тебе, страмнику, что! — тоже вытянул бы, поди, и бочку, кабы поставили...

— Не может быть, Нюрочка, этого; по медицине невозможно...

— Дурака-то вот только такого не найдется,— не выставят тебе бочки-то...

— Где же мне сорок ведер выпить... чудная ты!

Попадья молчит.

— Это теперь и по физике даже не приходится...— аргументирует отец Николай.

Попадья и на это ничего не отвечает; не отвечает, впрочем, только потому, что в физике и медицине она смыслит не больше своей работницы, а способности батюшки — знает, как свои пять пальцев. Отец Николай на минуту задумывается... должно быть, над любопытным вопросом: может ли он, действительно, не стесняя законов двух помянутых наук, вытянуть один сорок ведер водки, если бы и в самом деле нашелся дурак, рекомендованный ему попадьею.

— Шнежку бог дает...— говорит, лениво зевая, снова приютившаяся у печки работница.

— А что?

— Да я шойчас на улице была,— крупной такой шыплет...

— Сы-ы-плет?.. Так вот видишь оно как!.. А что, ты как теперь думаешь, Аксинья,...— спрашивает он, помолчав: — снег отчего бывает?

— Известно, отец Николай,— от бога...

— Это-то так, что от бога; да средствами-то какими?

— Да какими шредствами?.. Надо быть, ангела божии шлют...

— Ну ты это все так больше; нет, а ты по науке-то... как?

— И что это у тебя, у срамника, за разговоры такие всегда! — еще ядовитее замечает попадья, нетерпеливо повертываясь на другой бок.

— Смерть люблю, Нюрочка, ученые разговоры...

Молчание.

— И ты, дура этакая, туда же! — строго обращается попадья уже к Аксинье: — поди-ка лучше ставь самовар...

Работница уходит, по всему заметно, в крайнем неудовольствии.

— Ты у меня опять с бабой связался!.. Постой же ты... дай только благочинному приехать! — говорит злобно попадья, дождавшись ее ухода.

— Да я что ж, Нюрочка? — робко басит отец Николай.

— А то, что как с тебя рясу-то снимут, так ты и узнаешь, как под чужие-то юбки заглядывать!

— Эка ты, Нюрочка, срамоту какую опять выдумала...— заметно конфузится отец Николай, несмотря на сумерки.

— Ладно!.. у тебя ведь все с эдаких разговоров штуки-

то твои начинаются... Лукерью-то я на той неделе отчего прогнала?

Молчание.

— Ну-ка скажи?

Молчание.

— С крестом-то ходишь,— небось глаза-то на сторону выворачиваешь...

— Ты мне этого про религиозное не говори...

— Молчи уж ты, пока я тебе косу-то не расплела!

Продолжительное молчание.

— Это, Нюрочка, борение духа одно... То-то вот и есть... ты вот все, Нюрочка, по-своему, а я все... больше по-ученому... так вот видишь оно как!..

— Пьешь-то ты, я знаю, что по-ученому...

— Не-ет; теперь хоть бы насчет снегу...

— В снегу-то тоже ты не один раз валялся: кто у дьячихи-то, на именинах, нос-то себе отморозил?

— Да не-ет; я то есть хочу сказать: наука такая есть про снег — метрология прозывается...

— Да ты кому эти сказки-то рассказываешь?.. мне, что ли?

Молчание.

— По-ученому-то, Нюрочка, совсем не так выходит, как по-твоему...

— Вот сорока-то, прости господи!.. не сядет тебе на язык-то ничего!.. Да ты откуда ученым-то сделался? Я хоть, по крайности, у мадамы одной обучалась, а тебя водка, что ли, врать-то выучила?

Молчание.

— Я, Нюрочка, в семинарии науки изучал... так вот, видишь, оно как!

— В семинарии-то тебя по три раза в день драли,— вот какую ты там науку-то изучал! Мать же ведь мне твоя и сказывала-то, как ты еще женихом-то к нам таскался, в пономарской-то скорлупе...

— Ну же, Нюрочка, и то три раза!..— скромно обижается отец Николай.

— Да тебя, точно что, еще по десяти раз в день пороть-то бы следовало!

— Чего опять выдумала... чудная ты!

— Скоро-то тебя проймет, что ли?

Молчание.

— Этого, Нюрочка, и по физике невозможно допустить...

— Тебя-то и по физике можно: небось скажешь, не пробовала она моих-то гостинцев?

— Это действительно, что ты не однажды грешила против моего священнического сану...

— Сам-то ты праведник: черти-то у тебя только в рукавах не сидят!.. уж молчал бы лучше...

Отец Николай опять задумывается, но не над словами попадьи, вероятно, а над другим любопытным вопросом: мог ли бы он действительно, не противореча законам физики, вынесть ежедневную порку в десять приемов?

— Ты, Нюрочка, никуды по вечеру не пойдешь? — спрашивает он через минуту, не придя, должно быть, ни к какому определенному выводу.

Молчание.

— Дьяконица наша мне давеча пеняла: спесивая, говорит, Анна Митровна наша, никогда ко мне вечерком не зайдет посидеть...

Молчание.

— Я говорю: матушка, что, может, сегодня в ваши палестины забредет... так вот видишь, Нюрочка, оно как!

Молчание.

— А я вот хочу после чаю к новому заседателю наведаться...

Упорное молчание со стороны попадьи.

— Хороший, говорят, человек...

Попадья раздраженно соскакивает с кровати и торопливо накидывает на себя старый салопишко.

— Да ты что из меня душу-то вытягиваешь? что ты выпытываешь-то, срамник? По мне, хоть сейчас ступай!.. Хоть век не кажи глаз!..

— Нет, то-то, я так только, к слову пришлось сказать...

Молчание. Попадья нетерпеливо повязывает голову шалью.

— Ты уж не думаешь ли у меня нахрюкаться, как по утру?!

— Я, Нюрочка, теперь смотреть просто не могу на эту жидкость: совсем она меня расстроила давеча... не приведи господь!..

— Да тебе чего у заседателя-то делать? Благочинный он, что ли, что ты первый к нему с рапортом-то полезешь?

— Все же начальство гражданское... как это ты не понимаешь?

— Ты же у меня пониманье-то пропил, беспутный! Да ступай ты, ступай... Сегодня я целовальницу видела: заседатель-то у них еще и водки-то не брал; он, говорит, и в

рот-то ее не берет совсем... К ним вчера его писарь, которого он с собой привез, заходил выпить, так сказывает...

— То-то, Нюрочка, и я слышал, что хороший, говорят, человек: надо сходить...

— Ты поди да с сестрой-то его шашни и заведи: он тебе пулю в лоб-то и посадит!— хохлы ведь эти сердитые бывают...

— Ну уж, Нюрочка, и пулю в лоб! — еще раз обижается отец Николай.

— А ты думаешь, за эти дела-то по голове гладят вашего брата?

— Ну! в моем-то сане?.. чего опять выдумала... чудная ты!

Отец Николай еще раз задумывается, сравнительно, даже очень сильно задумывается, правда, над вопросом, не настолько ученым, как два первые, но во всяком случае — над любопытным вопросом: можно ли, точно, человеку в его сане посадить пулю в лоб?

Попадья собирается идти.

— Ты что же лежишь-то? — иди к заседателю: ночью, что ли, пойдешь?

— Да ты, Нюрочка, сама-то куда шествуешь?

— Не бойся, не (провалюсь, на десятой-то улице не очужусь...)

— Да не-ет; чайком бы ты меня напоила...

— В гости идешь, да еще и чаем-то тебя пои... Идти, так теперь идти, а то и совсем не пущу!

— Ну-ну, вот ужо помоюсь да оденусь — и пойду...

Отец Николай трещит диваном, делая вид, что встает. Попадья молча уходит. Через минуту на крыльце раздается ее сердитый голос: «Аксинья! Неси самовар — как скипит, в горницу да ладь чашки: я сичас ворочусь; только к Андреевым схожу на минутку...»

— Так вот видите оно как...— ворчит его преподобие, напряженно прислушиваясь к этим звукам и вяло соображая что-то: — ах, чтоб тебя кошки легали!..

II

Сумерки сгустились до темноты. В поповской квартире нельзя уже рассмотреть ни отца Николая, тревожно вытянувшего короткую шею и еще напряженнее к чему-то прислушивающегося, несмотря на совершенную тишину,— ни дивана, на котором он испытывает в этом положении,

как по всему надобно думать, какое-то сильное «борение духа»...

Проходит так с минуту. Дверь, ведущая из кухни в спальню, слегка скрыпнула,— «борение духа» в отце Николае усиливается еще на один градус, ибо и диван чуть-чуть треснул почти в тот же момент; стеклянные дверцы шкафа с посудой звякнули еще явственнее,— и диван трещит уже не так скромно — значит, «начинает превозмогать» в «борении духа»...

— Это ты, Оксиньюшка? — спрашивает его преподобие, ускромняя свой бас до шепота.

— Я, отец Николай...

— Ты чего там ищешь?

— Да швечку: шамовар-от шкипел.

Молчание.

— Нашла?

— Нашла.

— Спички-то здесь у меня,— возьми-ко поди...

Аксинья молча и ощупью пробирается к дивану.

— Лоб-от не разбей, смотри...— снисходительно предостерегает его преподобие, что-то уж слишком неспокойно ворочаясь...

— Давайте шпичку-то...— слышится голос работницы у самого дивана.

— Постой ужо... я их где-то вот тут положил, помню...

Происходит молчаливое искание спичек.

— Запропастились же вот куда-то..., а тут положил, помню...— суетится отец Николай.

Работница слегка и как-то неопределенно вскрикивает вдруг.

— Што это, отец Николай... грех какой! — говорит она в очевидном смущении.

— Грех-от как грех...— тревожно успокаивает ее отец Николай, не приводя второпях известной пословицы целиком.

— Пуштите-ко!.. у ваш матушка ешть...

— По науке-то теперь выходит, что ты, что она — все одно...— наставительно философствует его преподобие.

— Да... шкажывайте-ко! Пуштите, отец Миколай!

Происходит немая возня. По ней можно только догадываться, что работница упирается и впопыхах хватается руками за стол, а отец Николай удерживает ее за платье. Через минуту слышится обоюдный торопливый шепот, в котором можно разобрать кое-что вроде следующего:

— Ужо матушка-то... Ай... ворота штучат... пуштите!..

— Ах, чтоб тебя кошки легали! — где стучат-то?..

— Пуштите ужо (не разб.), отец Миколай!..

— Красной-от платок у меня видела?..

— И... ни на каки благодати!..

— Да постой!.. чудная ты!.. я тебе по медицине-то растолкую...

— Не надыть мне и вашей медячины... ну ее!.. какая она такая и ешть, не знаю... пуштите меня лучше...

— Эка стрекоза баба!.. да постой!.. чудная ты!.. Ну, я тебе по физике объясню...

— На кой она мне ляд, фижика-то? — фижики-то мы эвти жнаем и без ваш!..

— Озолочу, Оксиньюшка!..

— Попадью-то швою и озолоти... Ишь какой!.. а еще духовным шлава — что проживаешься... Пушти!.. а не то жареву...

— Ах, чтоб тебя кошки легали!..

Происходит новая возня, в размерах еще больших: о «борении духа» уже и помину нет. Работница Аксинья не только что пыхтит, но даже кряхтит, отбиваясь от непрошеных уроков по «физике» и «медячине»; да и сам отец Николай издает какие-то странные звуки, весьма похожие, впрочем, на ту оригинальную музыку, которую можно слышать в кузнице, когда раздувают мехами огонь. Даже синица, заснувшая было в своей клетке у окна — и та проснулась: так и перебирает тоненькими камышинками, как будто просится, чтоб и ей дали поучаствовать в этой положительно веселой сцене.

— Ай, чтоб те издохнуть!..— кричит выбивающаяся из сил Аксинья; делает последнее усилие и, вырвавшись, наконец, из железных пальцев отца Николая, изо всей мочи шлепается мягкими частями на пол.

В эту роковую минуту дверь с улицы отворяется с каким-то особенно азартным шумом, и стремительно влетевшая в комнату попадья, которая только прикинулась, что пошла к соседке, а в сущности сперва постояла у ворот, а потом подслушивала у этой самой двери,— неистово бросается к дивану.

— Тут кто?!. Ах ты, мерзавка эдакая?!.— кричит она, наткнувшись на растянувшуюся на полу неповинную Аксинью и задыхаясь от гнева и ревности: — срам какой затеяла!.. Сичас тебя, срамницу, выдрать заставлю старосту!.. Ах, черти вас дери!.. срамники вы эдакие!..

— Да ты что, Нюрочка, взбеленилась-то: она спички тут искала... так я ей пояснял... по науке-то... как они теперь горят-то... сами-то собой...— мямлит, до крайности робко, отец Николай.

— Уж молчи ты лучше!! вот тебе, срамник!.. вот тебе, срамник!.. Не соблазняй!.. не соблазняй других!!.— расправляется собственноручно попадья с несчастной косой отца Николая.

— Да, по-сто-ой. Ню... Нюрочка... это ты чу... чудная какая! — отбояривается его преподобие, чувствуя жгучую боль на голове.

— Это ты так к заседателю-то пошел?..— не унимается взбешенная попадья, еще энергичнее нападая на ученого мужа и запуская свою десницу даже в его жиденькую бороду.— Вот тебе, срамник!.. вот тебе, страмец! Не дури с бабами, не дури!!!

— Я... Ню... Нюрочка... уче... ученую... то... точку при... приискивал... зрения... ка... как с за... Ай, что ты это!.. бо... больно ведь!.. с заседателем-то ло... ловчее разговор начать... Ой!.. чудная ты!..— выпутывается отец Николай чуть не сквозь слезы.

— Так ты у Аксютки-то ее и искал, точку-то эту, зрения, срамник?.. как у тебя еще твое-то зрение не лопнет!..— злорадно издевается попадья, без устали продолжая свою ручную лекцию над поповскими волосами.

Но тут уже отец Николай, в своем мученичестве за «ученую точку зрения» решительно достигнув пределов всякого, не только что человеческого, но даже и ангельского терпения,— вырывается отчаянным движением из рук своего инквизитора и бежит, без оглядки, сперва на двор, а оттуда за ворота... Юркая брань так и сыплется ему вдогонку до самого крыльца.

— Постой!.. придешь!..— говорит попадья, задыхаясь и останавливаясь на одно мгновение на этом стратегическом пункте:— придешь!..— повторяет она и удаляется в горницу, неистово хлопнув дверью.

III

Проходит этак с полчаса времени. Продрогнувший до костей отец Николай уныло сидит на крылечке и чутко прислушивается к малейшему звуку, доносящемуся к нему из горницы. Как он усердно ни дует в свои покрасневшие кулаки — все же немного тепла надует; да и один подряс-

ник — он тоже не бог знает какая шуба... Уж он и по двору-то бегает, и прискакивает-то... а все-таки русский мороз — чтоб его кошки легали!..— пробирает так, что и не приведи господи! Но вот опасные звуки начинают затихать мало-помалу; в окошке кухни появляется огонь и мелькает фигура,— «надо быть, Оксиньюшки» — полагает отец Николай мысленно. Минуты через две после этого соображения он решается заглянуть в окно, но сквозь намерзнувшие на стеклах узоры не может ничего рассмотреть. Еще через минуту он осмеливается даже чуть слышно приоткрыть дверь в кухню и просунуть туда свой знатно нарумяненный нос. Работница, со слегка припухшей правой щекой, угрюмо сидит в углу на лавке и молча плачет, не обращая никакого внимания на внезапное появление его преподобия...

— Оксиньюшка!..— говорит он ей самым робким шепотом.

Молчание.

— А, Оксиньюшка?..

— Из-жа ваш вше!..— угрюмо-укоризненно произносит Аксинья, не переменяя положения и даже не повертывая к нему головы.

— Принеси ты мне, Оксиньюшка, Христа ради, верхнюю рясу, шапку да трость...— умилостивляет ее отец Николай все тем же шепотом.

— Подите-ко шами-то шуньтесь,— круто разворачивает его Аксинья сквозь слезы.

— Продрог ведь я совсем... чудная ты!..

— Хоть шмерть приди — не пойду!

Отец Николай осторожно вступает в кухню.

— Да ведь она вот тут, ряса-то... близко... в темненькой,— дрожно тычет отец Николай пальцем по направлению к двери в горницу.— Не приведи господи! продрог...

— Шкажано — не пойду! — чего приштал?..

Молчание.

— Я бы на улице обождал-то...

Молчание.

— Там у меня в рясе-то, в правом кармане, полтина лежит, так ты ее себе возьми...

— Шами штупайте и берите...

За комнатной дверью слышатся шорох и шаги. Отец Николай в ту же минуту кубарем вылетает из кухни на улицу, где снова и подвергается, на некоторое время, безотрадному сиденью на крылечке с невеселым дутьем в кулаки. Впрочем, минут через пять работница осторожно вынесла

ему лисью шубу, немного погодя — верхнюю рясу, а еще немного погодя — шапку и трость.

— Полтину-то я взяла у тебя...— все еще мрачно замечает она, вручая ему последние вещи и поспешно удаляется, сообщив таинственно: «Чай, минет...»

Отец Николай начинает уже приниматься «оболокаться» (одевается забавно), ворча себе что-то под нос. Совершив торопливо эту операцию, его преподобие еще тороплнвее удирает со двора, встретясь у ворот с каким-то долговязым мужиком. Встречный кланяется ему в ноги, подходит к нему под благословение и начинает его о чем-то упрашивать, тоскливо разводя руками.

— Вот как опростаюсь...— скороговоркой басит отец Николай и еще поспешнее начинает улепетывать вдоль улицы. Какая-то собака, должно быть соседская, издали следившая за этим объяснением, опрометью бросается догонять его с неимоверным лаем.

«Ах, чтоб вас кошки легали!» — думает его преподобие и, не оборачиваясь, продолжает свой путь почти бегом.

Мужик так и остается на месте с тоскливо разведенными руками.

IV

В ветхом Рассушинском кабаке, за невзрачной стойкой сидит у стола целовальник с приехавшим к нему из города кумом. Перед ними на столе красуется раскупоренный и до половины разлитый полштоф с надписью: «горькая анисовая», какая-то жареная рыба да соленые огурцы поставлены тут же, на одной тарелке, должно быть, на закуску. Умная и в высшей степени плутовая рожица целовальника с первого взгляда смахивает несколько на жидовскую, но при дальнейшем знакомстве с нею оказывается чистокровной русской, без малейшей примеси. Кум — неопределенная породка, попадающаяся всюду на Руси и не носящая на себе никаких отличительных качеств, впрочем, весьма дородная в сравнении с сухонькой фигуркой хозяина. Целовальница, сидящая поодаль от них в беспредметном созерцании с безвольно сложенными на коленях руками, представляет из себя нечто вроде откормленной свиной туши: даже и физиономия у нее смотрит несколько стаканчиком. Она почти не участвует в беседе мужа с гостем, потому что ей, по собственному ее выражению, «набольши, говорит лень»...

— Ты што ж, кум? — дерябни, братец ты мой! — приветливо говорит целовальник, подвигая гостю уже налитый стаканчик.

— Многонько будет, Анисим Филиппыч...

— Ты на меня-то не смотри: мы ведь на этом запаху-то с утра; на нем спим, им и накрываемся,— часто не успеешь прибрать хорошенько, а от уж ты порки-то дери... Верно?

— Т-а-ак...

Оба пьют и закусывают.

— А что, Анисим Филиппыч, как у тебя дело-то справляется? Ладно?

— Ничего, слава те господи! — не пожалуемся.

— Т-а-ак...

— К примеру тепериче сказать, хоть наш поп... куды, парень, пить вино охоч!

— Ну-у?

— Ей-богу — ну, право. Он, тебе доложу, брат ты мой, прошедшим летом какую штуку удрал... У нас тут заседатель был,— до этого-то, который нониче приехал,— пьяница то есть первого сорту. Попили эвто они с нашим попом — разгулялись в Крутологове,— станик такой у нас тут есть на трахту, верст тринадцать отседова будет; а тамошний смотритель-от не пьет, только вино от воды не отличат... бедовый дюжина! Нониче он чин получил, так сказывают — совсем из ума выходит: известно, коли нам четверть — благородному все полведра надыть,— это ужо беспременно, по рангу, значит, так приходится. Ну, хорошо. Порядочно, надо быть, они там взъегорили этой благоствени-то; заседателя-то оставила ночевать смотрительша, а попа-то и не могут уговорить: «Подавай тройку!» — кричит он, и шабаш. А уж там тепериче нашего попа знают; не почему ему нельзя тройки дать в эвтом виде: алибо коней загонит, алибо себя искалечит,— бывало такое дело-то, трафлялись... Не дали коней. Только совсем уже эдак повечеру, темненько уж стало, схвать-похвать, ищут попа — нет! Как в воду пошел. Известно, поискали-поискали, да и оставили: у мужика, мол, какого завалился спать. Ну, ладно. Утром встали, трясутся с голубчика-то вчерашнего, а попа все нигде — всю деревню обыскали. Делать нечего, парень, поехали — заседатель назад без попа, а смотритель-от проводить его вызвался,— значит, чтобы по эвтому благому случаю опять дерябнуть важнецки, потому, одно слово — чуйка. Пьют они таким манером, двоечиньком, а с вечера-то ливень был, так лужицы наделал,— подъезжают они примерно к эвтакой самой лужице да и глядят, судари: точь-в-точь тепе-

риче человек на кочке спит... в самой-от луже-то. Заседатель поглядел хорошенько-то да и говорит: — Да это, мол, никак наш отец Миколай? Миколаем зовут нашего-то попа.— Кажись: он же, тот и есть! — Это значит, смотритель-то ему отвечает. Подъехали, парень, ближе: поп же и есть спит; сидит, значит, на кочке по колено в воде да и спит... прекрецко таково. Известно, растолкали его. Обрадовался: — Ах, вы,— говорит,— черноносые! Место-то это,— говорит,— опасное: зарядить надо; так есть ли, мол, заряд-от? — А он теперичe, коли пить кто дает — черноносым того называет; и поговорка у него, значит, такая состоит насчет выпивки. Только они уж его знают, голубчика, наскрозь — обыскивать тотчас давай; заседатель — держит, а смотритель-от — все карманы ему ощупыват — благо, приятели, значит, закадычные. Известно, как не дастся: конфузится, примерно. А поп, братец мой, здоровенный: четырьмя не осилить, коли заупрямствует. Однако смотритель-от изловчился же как-то, схватил его за один карман-от — помират со смеху: в кармане-то у него колоколец...

— То есть как колоколец, Онисим Филиппыч? — гость с величайшим недоумением в вопросе и глазах.

— Как есть, я тебе говорю, почтовый колоколец.

— Ну-у?

— Да уж так, верно. Поп, известно, заспрашивал шчас: это,— говорит,— у меня стакан, черноносые... Вытащили-таки они опосля эвтот стакан-от у него: медный оказался, братец ты мой,— с язычком... Смехов у нас сколько тут было из-за эвтого самого происшествия...

— То есть это на что же?.. Колоколец-от что означат?..— все еще недоумевал гость.

— А ты, братец ты мой, теперичe понимай это прямо: коли ему не дали тройку-то, он с серцов-то и побеги домой к нам, в Засушинское, значит; а чтоб теперичe немужично было бежать-то одному,— не мужик ведь пятьнадцать-то верст бресть,— он колоколец на станции-то и обраболепствуй: бежит да позванивает... славно — как и взаболь на тройке скачет. Вот такой кульер, братец ты мой!..

— Т-а-ак... Ловок же он у вас, парень!

— Я тебе говорю: одно слово попина!

И гость, и рассказчик — оба разражаются вдруг неистовым хохотом; гостя даже как-то коробит при этом, точно у него судороги в животе. Целовальница тоже не может удержаться — выпрыскивает из носу порядочный кусочек самородной студени.

В кабак входит слепой отставной солдат низенького росту, шатающийся по миру.

— Наши вам подштанники, старик! — весело приветствует его целовальник.

— Здорово, зубоскал! — медленно выговаривает «старик» беззубым голосом.

— Чай, с приятелем (не разб.) пришел? — острит целовальник.

— А ты думал с тобой?

— Вот так; парень, стражение найдешь! — любезно заключает целовальник, направляясь к «изобилию даров земных», как выразился однажды в разговоре с ним отец Николай насчет полок, изукрашенных ветхой посудиной.— Тебе который давать (не разб.), посный али скоромный?

— Давай хоть скоромный,— ноне не пост.

— Перво стретенье было, братец ты мой!

— Это что же такая за «скоромная», Онисим Филиппыч? — любопытствует кум.

— А в которой, значит, молочка эвтого самого побольше — та и скоромная, а где, значит, водное преобладает — та посная... Сообразил? — обязательно помогает целовальник своему гостю.

— Т-а-ак...

— Любопытствуй, старина! — обращается хозяин — уже к солдату, лихо откупорив косушку и ставя ее перед ним на стойку с каким-то особенным выразительным приступком: видно, что отлично знает все привычки своего потребителя. «Старина» молчаливо-важно разглаживает мокрые усы и выпивает косушку залпом.

— Видал ты его? — относится целовальник к куму, лукаво подмигивая на солдата,— вот так, братец ты мой, прием... как есть енаральский!

Происходит лихое раскупоривание новой косушки, после чего немедленно повторяется прежний «как есть енаральский» прием.

— А что, к примеру, теперече сказать енарал? — спрашивает целовальник, еще ближе приступая к новой раскупорке: — котора сильнее берет: всевостопольско ядро али Рассушинска косуха?

— Пошжи што наравне будут...— обеззубо говорит уже порядочно осоловевший солдат.

— Ну, н-нет: ядро-то теперече тебе алибо руку, алибо ногу оторвет — когда еще угодит в голову-то; а наша-то завсегды с головы поймат,— не обижай, енарал! Верно?

— Оно тошно што будто так выходит...— не совсем еще соглашается солдат, с расстановкой принимаясь за третью косушку.

— Это верно, что косуха сильнее,— подтверждает в свою очередь гость...

— Вот постой, как третью-то высосет, так сам узнат, каков эвтот выстрел — отбывает...— замечает снисходительно целовальник.

Оба хохочут.

— До баб, алибо до денег он тепериче ныне шибко у нас охоч, опять-от Миколай...— возвращается успокоившийся целовальник к прежней теме разговора.

— Ну-у? — подстрекает кум.

— Ей-богу — ну, право. Он мне самому, жаль, что про бабье сказал: «На то,— говорит,— и гадина эвта на свете, чтоб ты ее, мол, приколол — не ползай! значит. Этта у нас по близости деревня есть такая, Жилиха прозывается; так там балованы таки девки все живут: ни комара тепериче, значит, даром тебя не ублаготворят, а все «рубь — челковой» ей подавай,— одно слово, как есть — настоящие городские шлюхи!, Надо быть, это здешний исправник наш их так избаловал: они плуты все, братец ты мой, езжал из городу с чесной компанией,— тоже ребяты были «у черта лапу украли»; как нападут, бывало, так по деревне-то только гам стоял — шельмец-народ, одно слово! Наш-от поп тоже ерничал с ними не на посной зуб. Расповадился он это, поп-то, в Жилиху за требами ездить, так есть, к примеру, кажинну неделю туды норовит, а деревня теперича эта большая, только не село, значит — пять верст от нас всей и дороги-то к ней. Вот, братец ты мой, как приедет он туды — сичас ему кралю и преставят: был у него там эдакий благодатный мужичонок. Только у попа денег теперичс на руках скудно, ехать и велит домой, попадью все обират, весьма орудует; так он, парень, на каку музыку поднялся: разорвет рубь-от на четыре части да перва и всучит крале-то своей одну четвертушку,— прибежишь, мол, сама за другой-то краюхой. Та, известно, и вдругорядь прибежит: зачем ей рубь челковой терять? Так она к нему четыре раза за рублем и выбегает,— по шести суток, братец ты мой, травлялось проживать ему там из-за эвтого самого. Он про эту комедь-то крутологовскому смотрителю сам сказывал: «Мне, мол, эвто яичко-то, Николай Семеныч, по четвертаку обходится». Так есть, я тебе говорю, одно слово — чудила-мученик!

Общий хохот.

— Попадья-то, стало быть, в руках его держит? Т-а-ак...— замечает глубокомысленно кум.

— Только она-то будто проходу ему и не дает,— говорит целовальник, наливая себе с гостем еще по стаканчику,— а то бы, братец ты мой,— беда!.. потому человек он «его же не оплатеши». У попадьи с ним разговор недолог: за бороду алибо за волосенки оттаскает,— это у ней первосортно дело; ты спроси: месяц-от отчего у отца Миколая на маковке-то светит? — ее все грабли ходили...

— Злющая, надо быть?

— Я тебе говорю: как есть писаная смерть!

— Т-а-к... А сам-от он ее не обижат?

— Грехи-то тепериче, к примеру, в рай не пущают, а тоже бы надо, теребачку ей важную кабы задал: благочинным же его больше сморочил,— тоже ведь за эвту комедь-от ряску-то у них потрошат. Сообразил?

— Т-а-ак...

— Она, к примеру, почище кого другова знает, какой дратвой сапог эвтот подшивать.

— Благочинный-то ихний сам что же глядит?— недоумевает кум, с наслаждением «дерябнув» из стаканчика.

— Благочинный-от, братец ты мой, туды же глядит, куды и наш заседатель,— в карман: всучил ты ему, примерно, хорошую сигнацию — лучше тебя человека нет. Мы вот тоже около эвтих делов-то не по опушке хаживали, а по самому, значит, полю, стражение имели,— наскрозь знаем, каку силу эвта всучка-то над начальством берет... то есть, да сигнацией-то ты как у бога за пазухой сидишь; одно слово — прелесть! Так ли, енарал?

— Оно тошно што...— шамкает как-то неопределенно совсем опьяневший солдат-нищий.

— Что, енарал? — видно, Рассушинское-то ядро, опричь головы, еще не по зубам твою милость съездило? — острит над ним целовальник, подражая движению кума насчет стаканчика.

Входит мизерный мужичок средних лет, озабоченно крестясь на медный образ в переднем углу, и кланяется на все четыре стороны, хотя живыми душами заняты всего только две.

— Онисиму Филиппычу добро здравствовать! — проговаривает вошедший, так потирая руками, как будто мерзнет сам.

— Что, дяденька, погреться? — спрашивает целовальник, приветливо кивая ему головой в ответ.

— Вестимо, Онисим Филиппыч, погреться...

— На «скавалдыжныя» алибо «прямиком»?

Мужичок с минуту застенчиво переминается.

— Коли милость твоя будет, отпусти уж нонче на «скавалдыжныя»...— выговаривает он, наконец, томительно почесывая затылок.

— Ах вы... купцы — народ! — произносит с некоторой досадой целовальник: — эдак и я с вами скавалдыжничать-то научусь...

— Под Миколу справлюсь — отдам...

— Знаю я, что ты парень-от верный, а все прямиком-то благонадежнее выходит было. «Соснячком» алибо «березнячком» принимать-то станешь?

— «Соснячку» отпусти, Онисим Филиппыч,— «березнячок»-от нонече нам не по капиталу...

— Што так, парень?

Мужичок, не отвечая, тяжело вздыхает.

— Вон у меня енарал, так он все «прямиком» разделывается, даром что сумку таскает...— говорит целовальник, в виде наказания указывая пальцем на зевающего во весь рост солдата.— Косуху тебе, поди? — спрашивает он, помолчав.

Мужик утвердительно трогает головой.

Целовальник на этот раз очень вяло раскупоривает посудину и также вяло ставит ее на стол перед мизерным мужичком: должно быть, и этого потребителя знает «наскрозь».— Лакай, дяденька, лакай! — говорит он при этом не то насмешливо, не то одобрительно.

Мужичок принимается после этого за свою косуху с такой старательностью и благоговением, с каким иногда набожная старушка приступает к разламыванию «вынутой за здравие» просфоры.

— Одначе, Онисим Филиппыч, навострился же ты...— замечает многозначительно кум:— это что у тебя еще означает «скавалдыжничать»-то?

— На скавалдыжные пить — значит в долг, а прямиком — на, мол, денежки, значит. Сообразил?

— Т-а-ак...

— Ты лучше, Онисим, расскажи куму-то, как отец Миколай-от Шабалина венчал...— относится вдруг целовальница к мужу, как (не разб.) с единственной своей фразой в целый вечер.

— А эвто точно што презанятная, братец ты мой, штука...— соглашается целовальник.— Перво выпить нам с тобой надо.

По немедленной ревизии хозяин, в прежнем (не разб.) оказывается так немного «благосклонным», что вслед же за ним на столе появляется новый раскупоренный полштоф уже с надписью: «сладкая померанцевая»...

— Будто мы с тобой, кум, в Померании побываем таким манером...— любезно объясняет целовальник значение этой краткой надписи, наливая стаканчики.— Какая эвто такая земля Померания, надо быть, мериканская, потому мериканец сахар любит.

Происходит молчаливое расследование неизвестной «земли»: судя по виду кума, terra incognita очень ему нравится; целовальник же, как природный «мериканец», в этом случае знающий наперед ее усладительные свойства, не выражает на своем лице ничего особенного.

— Насчет тепериче деньгу загребать — так поп наш безно сердит... то есть и-и! — приступает целовальник к новому рассказу, утирая губы рукавом своей рубахи.— Есть тут у нас купец — Шабалин прозывается; богатый мужик: тысчонок эдак, сказывают, тридесять, примерно, лежит у него в сундуке... одно слово — терка-мужик! Только эвто у них самое прошедшей зимой стряслось. Вздумалось ему, Шабалину-то, на старости лет, братец ты мой, без греха бабьи окорока свидетельствовать — жениться, значит; а годы-то у него тепериче, супротив законного строку, ушли, чтобы венчаться-то. Наш-от с благочинным эвто дело ему оборудовали — поделились, значит, промежду себя кусочком. Надо быть, сигнации тут больше дела-то работали. Ну, хорошо, а отец-от Миколай завсегды такую сноровку имеет, што, значит, за одно дело — одни деньги, а за друго — другие, и тепериче ты ему, значит, тут же в церкву деньги и принеси, коли у тебя дело какое в церкву. Вот, братец ты мой, хорошо — повенчались; Шабалин ему сичас десять рублев отвалил. Смотрит наш-от попина — посмеивается, а денег не берет.— Тебе, говорит, сколько лет-то, Лександр Фомич? — у Шабалина, значит, спрашивает.— В аккурате, мол, семьдесят два — это Шабалин-от ему, стало быть, отозвался.— Так ты што ж,— отец-то Миколай говорит,— десятилетним-от младенцем сказываешься? — на счет сигнации, значит, проповедует. А Шабалин-от и заупрямился — не дает больше двадцати... тоже скупердяга такая, што и-и! Торговались они, братец ты мой, порядошно-таки время (не разб.); так и уехали — не дождались, значит, результату. Так што ж ты думаешь? — Миколай какую распрелесть удрал: назад, гад, вас развенчаю... то есть я тебе говорю — эдакую скрозную бестию в помине поискать! А

и дьячишка же у нашего попа — адютант, одно слово: знает, какую курицу жарить — посмеивается стоит. Шабалин-от думает: бог связал — не развяжешь; а отец Миколай-от говорит: эвта веревочка-то, мол, нашими руками скручивается,— разница, значит, у них выходит. Стоял-стоял отец-от Миколай да ризу-то на левую сторону и надел; надел, братец ты мой,— верно!— вот, надо есть, Орина видела эвту самую ихнюю комедь...

— Как же! Я сама в управу ходила,— подтверждает целовальница безапелляционно.

— Как надел он эвто, парень, ризу-то навыворот, да как начал откачивать басиной-то своей: «Не благословен, мол, бог наш, не всегда, не ныне, и не присно, и не во веки»,— так Шабалин-от так и «ошалел» на месте, где стоял; опосля, известно, опомнился — всучил ему сигнацию, каку требовалось... Отец Миколай-от крутологовскому смотрителю опосля сказывал, вдолги уже после свадьбы-то, а смотритель-то мне: по науке, говорит, тепериче так выходит, что ежели ты на семьдесят втором году венчаешься — семьдесят два рубля с тебя получки. Так вишь он, братец ты мой, каков у нас попина эвто-та... одно слово!..

— Т-а-ак... Это он, выходит, с младенчества, надо быть, еще испорчен...— глубокомысленно замечает кум.

— Надо полагать — не доделан...— вставляет свое соображение мизерный мужичок, рассчитывая еще на косушку.

— Алибо переделан,— важно произносит целовальник окончательное мнение:— все поп, а не черт.

Все единодушно хохочут, исключая дремлющего солдата.

В кабак быстро входит долговязый молодой парень, очень сильно напоминающий фигурой того самого мужика, с которым встретился отец Николай у своих ворот, когда с таким, можно сказать, наслаждением покидал родимые «палестины». Вошедший вместо поклона молча потряхивает курчавой головой каждому из присутствующих отдельно.

— Здорово, Селифошка!— радушно приветствует его целовальник.— Что мать-то? Какова?

— Чажела, парень, шибко,— уныло говорит новый посетитель,— исповедаться просится...

— Ну, как ты, што же?

— Да ходил к отцу Миколаю: неколи,— говорит парень;— надо быть, к заседателю новому, парень, пошел. Чего, парень! — совсем умират старуха.

— Эвто уж, братец ты мой, что к заседателю — верно! соображаешь, целовальник, верно, а давиче приходили — (вместе).

— Не (не разб.) сам-от — сказывал писарь.

— Эвто, братец ты мой, он и мне, писать как-от, вчерась рассказывал, а тебе, говорю: одно слово — ведро взял! Што же он тебе теперече баял, поп-от?

— Да чего? — сказывал я тебе: неколи, мол, лишь теперь; приду ужо как опростаюсь... Весь-то и сказ в том.

— Ну, значит, жди его теперече на заутреню к вечерне,— с полной уверенностью в голосе замечает целовальник:— ведро-то, мое, парень, тоже не скоро теперече опростать... Вот, надо быть, братец ты мой, дым-от подымут вдвоем... из экой-то пушки! — обращается он уже к куму.

— Т-а-ак...

— Писаренок давиче, как за ведром-от приходил, говорит: деньги отдаст,— велел сказать,— как жалованье получит. Извольте, мол, с нашим почтением; а сам думаю про себя: давно уж, мол, кукушка-то собирается гнездо вить, а ты и жди его, гнезда-то эвтого, опосли дождичка в четверг...

— Любит — выходит — даровщинку-то? — глубокомысленно вопрошает кум.

— Эвто уж, братец ты мой, первая примета у них, у начальства-то нашего, я тебе говорю: яма — народ! одно слово. Тоже теперече и насчет сладкой проговаривался,— говорит: эвто писаренок-от мне давеча подпускает, значит, соображение свое. Известно, отмалчивался: ужо, говорю, к празднику преставим. Думаю про себя: жалко, мол, теперече, каких нет поколева, таких горьких домов, чтобы сладкой-от, к примеру; нализывать вас, завсегдатаев, милости просим: завсегды можем ублаготворить, по всем правилам... Верно? — обращается целовальник к своему обществу.

— Т-а-ак...— соглашается кум.

— Тогды и упорствуешь,— в свою очередь заявляет парень, облизывая себе губы с таким видом, как будто уже принимает участие в этом «пользовании».

— Поди, Селифошка, угощаться станешь? — спрашивает его целовальник, как доскональный знаток человеческой натуры.

— Конечно, Онисим Филиппыч,— потому горько мне таперь... шибко...— говорит Селифошка, пригорюнившись.

— Известно, не чужа она тебе, мать-то...

— Кабы той отпустил, што осенесь дал, как тятька помер...

— Это «вороти мозги на сторону-то»? Так уж нониче нет. Была, да вся вышла, а другая у нас теперече на лицо (не разб.), «сообрази — не нюхай!» (не разб.) почище будет.

— Вали хоть ее,— не объедешь! — основательно замечает парень.

— Первосортно дело, братец ты мой, особливо теперече супротив печали...— утверждает целовальник, суетясь подкрепить скорее слабую человеческую натуру своего ближнего.

СОФЬЯ БЕССОНОВА

Повесть

I

Андрей Александрович, молодой человек двадцати четырех лет, в канун июня, часу в седьмом вечера, сидел в своем девятом номере Н-ской гостиницы и ужасно скучал. Скучал он по многим весьма уважительным причинам. Во-первых, Андрей Александрович был совершенно новым человеком в городе Н, куда он приехал на службу из Петербурга только два дня тому назад и где у него не было ни единой знакомой души, если не считать Н-ского губернатора и вице-губернатора, которым он предъявлялся, впрочем, только (визуально). Во-вторых, уже само это представление произошло как-то не совсем удачно, по крайней мере, не так, как желал и ожидал Андрей Александрович. Конечно, он мог желать всего, что угодно, но с его стороны было немножко неосновательно ожидать родственного приема от чужих людей, которые не имеют ни времени, ни особенной надобности угадывать его желания; они даже, может быть, и не подозревали их. Дело в том, что вышедший из Петербургского университета кандидатом по юридическому факультету Андрей Александрович, которому к этому времени какими-то судьбами не оказалось ни одного, даже дальнего родственника в целом свете, желал на удачу, форменную просьбу к Н-скому губернатору о принятии его на службу. Нельзя сказать, чтобы, избирая поприщем своей будущей деятельности именно эту губернию, он питал к ней какое-нибудь особенное пристрастие или находил ее более соответствующей своим юридическим талантам — нет. В понятии Аргунова все губернии походили одна на другую как две капли воды; до климатических условий ему пока еще не было никакого дела, так как, выходя в последний раз из университетской аудитории, он чувствовал себя столь уже молодым, бодрым, здоровым, как в то незабвенное утро, когда в первый раз вошел в нее; он был также, казалось ему, теперь еще бодрее. Н-скую губернию Андрей Александрович выбрал как нельзя проще. Отдохнув от экзаменов в одно утро, прекрасное, как во-

дится, хотя проливной дождь так и барабанил в окна его незатейливой квартирки на Петербургской стороне, он начал перебирать в уме все губернии Российской империи по географическому порядку. В ту самую минуту, как это (не разб.) перечисление губерний остановилось на Н-ской, хозяйка принесла ему обед от кухмистера. Дымящийся борщ казался таким вкусным, что, принимаясь за него немедленно, кандидат прав самым безжалостным образом выкинул на время из головы всю Российскую империю. При втором блюде он, хотя и лениво, приложил, однако ж, на чем остановился; но, вероятно (пережевывать), мысленно скучную географию (по обыкновению) надоело ему. «Разве попроситься в Н-скую?» — подумал он, не без удовольствия, запуская вилку в сочную телячью котлетку. «В Н-скую так в Н-скую!» — решил Андрей Александрович после минуты размышления — и, что называется, очистил тарелку. Следствие такой импровизации, оказавшееся на другой день в петербургском почтамте, читателю уже известно. Ровно через три недели после этого, в том же петербургском почтамте, получился ответ,— и, к удивлению молодого человека, ответ совершенно удовлетворительный. Хотя такое приятное начало и польстило (не разб.) самолюбию молодого кандидата, он, однако ж, задумался: не слишком ли поторопился? Впрочем, по нашему личному мнению, Андрей Александрович поступил очень благоразумно, поторопившись в вступление на службу: средств, оставленных ему покойным отцом и матерью, хватило ровно на столько, чтобы окончить на свой счет воспитание в университете, обзавестись по получении диплома приличным платьем и прожить еще месяца (четыре), отдыхая и приискивая ряд служб; затем Аргунову приходилось рассчитывать только на свою светлую голову и здоровые руки — ни больше ни меньше.

«Не многих так скоро принимают просьбы о вступлении на службу, как приняли мою,— размышлял очень справедливо Андрей Александрович, весело въезжая в Н-скую заставу: — Стало быть, я здесь нужен, а если нужен, то мне, вероятно, порадуются и, само собой разумеется, примут меня как нельзя лучше...»

Но Андрею Александровичу никто не обрадовался и никому особенно нужен он не оказался. Это дали ему почувствовать два официальных визита, сделанных им на другой день приезда. Н-ский губернатор, старичок непрезентабельный, но довольно почтенной наружности, обошелся с ним вежливо — и только.

— Н-да!..— заметил он (не разб.), когда молодой человек игриво отрекомендовался ему: — вот и вы, наконец, вашей собственной особой... Очень рад-с. Н...да! Давно ли приехали?

Аргунов отвечал, что приехал вчера вечером.

— Н...да, вот видите... Ну-с... что я хотел сказать? н...да! Так вы ужо пока отдохните с дороги, а там мы подумаем, что с вами делать...

Аргунов молча поклонился.

— Я бы вам советовал явиться к вице-губернатору... сегодня же... н-да...— продолжал его превосходительство, старательно приглаживая свою лысину.

— Отсюда я прямо пойду к нему,— заметил почтительно Аргунов.

— Н...да, и прекрасно! — сказал губернатор: — вы к нему и зайдите... Ну-с... надеюсь, вы (не разб.) оправдаете и.... ссориться нам с вами, думаю, не придется...

Аргунов сказал, что постарается сделать все, что может.

— Н...да, я надеюсь...— повторил губернатор и раскланялся.

Этот прием показался Андрею Александровичу почему-то очень холодным, но как добросовестный человек и как кандидат права он мысленно отозвался о новом своем начальнике весьма снисходительно. «Губернатор, кажется, добряк, только сейчас видно, что человек строгого закала: руки, бестия, не подал!» Это мелькнуло у него в голове перед самым подъездом вице-губернаторской квартиры. Самого вице-губернатора он застал в передней в ту самую минуту, когда тот надевал пальто и собирался ехать куда-то. Это был стройный мужчина высокого роста, с гордым, но чрезвычайно привлекательным лицом, исполненным доброты и энергии; во всей его изящной фигуре, как и в обращении, проглядывал самый утонченный аристократ, и с первого взгляда ему никак нельзя было дать больше тридцати лет, хотя ему было уже под сорок. Аргунов отрекомендовался ему в передней.

— Очень рад с вами познакомиться,— сказал вице-губернатор, с самой безукоризненной любезностью, выслушав молодого человека и вежливо протягивая ему руку: — только вы меня извините, не приглашу вас выкурить со мной папироску: меня ждут в губернское правление; сегодня у меня (не разб.), а я уже и так опоздал немного, зачитался. Но вы меня очень обяжете иногда, в свободное время, завернуть ко мне вечерком, запросто, посидеть, потолковать... Ах, да! Где вы остановились? — спохватился он, (натягивая)

изящную французскую перчатку и поджидая, пока подадут карету. Аргунов назвал гостиницу.

— Стало быть, нам с вами по пути и вы позволите мне подвезти вас? Вы домой теперь?

Аргунов поблагодарил и отвечал утвердительно.

— Так поедемте, и еще раз извините меня... Не угодно ли? — сказал вице-губернатор, приглашая его рукой пройти в дверь первым и первым сесть в карету.

— Скажите, что нового в Петербурге? — спросил, между прочим, вице-губернатор у Аргунова дорогой.

Андрей Александрович в коротких словах рассказал, что знал.

— Знаете ли,— заметил вице-губернатор, внимательно выслушивая молодого человека:— я никогда не мог быть равнодушным к Петербургу и никогда не привыкну к провинции, хоть и семейный человек. Что бы ни толковали о петербургском эгоизме, но по мне, право, лучше уж этот эгоизм, чем здешнее (не разб.) радушие. Ведь тут будут великолепно поить, великолепно кормить, будут смотреть вам в глаза и употреблять все усилия своего ума на то, как бы ловчее ударить вас, при случае, по затылку.

Право, иногда на меня находит здесь такая тоска, что не знаешь, куда деваться, хотя дела полны руки... Если вы не привезли с собой книг, так вам на первое время, пока вы не догадались их выписать, придется в свободные минуты для собственного развлечения или бить мух, или слушать разные городские сплетни: библиотеки здесь нет, книжного магазина — тоже, а о возможности маскарадов в городском обществе здешняя публика еще не догадывается; на вашу долю остается нарумяненные и (не разб.) музыкальные вечера с танцами в дворянском собрании по вторникам, да самый плохонький оркестр в губернском саду по воскресеньям. Заметьте к этому еще, что здесь не танцуют, а спят, разумеется, с открытыми глазами — из приличия не гуляют в саду для собственного удовольствия, а чинно и бестолково прохаживаются совершенно, как по обязанности, вроде часового на гауптвахтах; наконец...

Но в эту минуту карета остановилась у гостиницы.

— Наконец, все это вы сами скоро увидите...— любезно поспешил заключить вице-губернатор, отворяя дверцу кареты, приветливо протягивая руку Андрею Александровичу:— До свидания!

Забавно сказать, но как люди посторонние и беспристрастные мы все-таки скажем, что вице-губернаторский прием показался молодому кандидату еще холоднее губернаторского.

— Ну, этот, сейчас видно, современная косточка! — анализировал Аргунов, входя в гостиницу.

— Вежлив, уж очень некстати даже, как будто заискивает во мне... Не люблю я этих через-через вежливых людей с готовыми дипломатическими фразами!

Таково было мнение Андрея Александровича о вице-губернаторе. Но очевидно, что кандидат наш просто был почему-то недоволен сам собою и смотрел в это утро на все сквозь свое недовольство. А не доволен он был, как мы догадываемся, своей непрактичностью в обществе, непривычном к нему. Аргунов всю свою жизнь до настоящей минуты, кроме раннего детства, проводил в школе, сперва в компании товарищей-гимназистов, а потом в кругу товарищей-студентов, где обыкновенно все делается и говорится нараспашку, что на уме, то и на языке; другого общества не мог и знать Андрей Александрович, не имея в Петербурге ни родственников, ни знакомых вне окончательного круга. Он мог бы еще познакомиться с обществом из книг, но в странно устроенной голове Андрея Александровича мир художественной фантазии и мир действительности вел беспрестанно какую-то упорную борьбу, и, анализируя, например, какую-нибудь тургеневскую женскую личность, он только недоверчиво улыбался. Впрочем, у него на это было некоторое право — благотворное женское влияние покинуло его в лучшую и опасную пору детства. Он остался от матери восьми лет. Следствием всего этого было то, что в характере молодого человека образовалась постепенно одна странная черта, которую мы не рискнем назвать никак иначе, как только *мнительностью*. Отсюда, читатель, уже легко усмотреть, почему Андрей Александрович наш считал официальные визиты не совсем удачными, что и было, как мы доложили выше, причиной его скуки, во-вторых.

В-третьих, на нашего кандидата весьма неприятно подействовали слова вице-губернатора о совершенном отсутствии публичных развлечений в Н-ской. Наконец (будем уж весьма откровенны, скажем), Андрей Александрович скучал просто потому, что ему скучалось. Скука выражалась у него немножко по-своему: сперва он закурил папироску и бросил ее тотчас же; затем последовала громкая энергическая выходка против Н-ска и сделано несколько беспокойных шагов по комнате; потом он открыл окно, посмотрел (не разб.); немедленно его запер и улегся на диван лицом к стене; через минуту он повернулся на другой бок, потянул себя, гримасничая, за левое ухо, и в заключение, отмотнув ладонью с особенным озлоблением муху, живо

попавшуюся ему, между прочим по предсказанию вице-губернатора, которая вздумала было, в видах своего развлечения, конечно, прогуляться по крутому кандидатскому носу, Андрей Александрович живо соскочил с дивана, засвистал: «Ля донна е мобиле»,— и начал одеваться.

— Пойду шататься по улицам! — сказал он лениво, оканчивая свой туалет. Вручив половому ключ от своего номера и попросив, чтобы к одиннадцати часам ему приготовили ужин, Аргунов вышел и направился в первый попавшийся ему на глаза переулок. Пройдя этот переулок, он, также машинально, повернул в другой, в третий и, таким образом, вдруг очутился на набережной, встретившись на углу с чьим-то прогуливающимся семейством, которое оглянуло его с ног до головы с тем пронзительным любопытством, с каким обыкновенно смотрят провинциалы на всякое новое, прилично одетое лицо. Прохладный воздух, напитанный запахом травы и повеявший с реки прямо в лицо Андрея Александровича, мгновенно освежил его голову. Он, прищурившись и прикрыв рукой глаза от солнца, с любопытством посмотрел вдаль. По ту сторону реки тянулись в один ряд однообразные деревянные домики деревенской постройки, за ними, несколько в гору, пестрели огороды, а еще выше зеленелся мелкий березовый лес; немного правее, там, где оканчивался ряд домиков, один из признаков реки, (река) круто поворачивала за гору, образуя из себя самостоятельную речку, и потом за этой самой горой пропадала из виду. Андрей Александрович невольно залюбовался на ту сторону: «А что, разве броситься от нечего делать часа на два в объятия прорвы?» — подумал он, улыбаясь и осторожно спускаясь по обрыву к самой реке. Какая-то молодая деревенская женщина с ребенком на руках тут же весело садилась в маленькую лодку, управлять которой собирался молодцеватый парень в красной рубахе. Андрей Александрович от души порадовался беззаботному выражению их чему-то смеющихся лиц, позавидовал даже ясной возможности для них быть через несколько минут за рекой. «За реку так за реку»,— решился он в минуту и отправился прямо к лодке по двум скользким бревнам, заменявшим подмостки. Эта импровизация молодого человека (вторая по нашему счету), по-видимому, озадачила на минуту веселую парочку. Аргунов заметил это и в нерешительности остановился на самом конце бревен.

— Ничего, барин, садитесь, садитесь! — сказала приветливо женщина, угадав совершенно по-женски его смущение: — перевезем (по надобности)... Погулять, видно, за-

хотелось? — прибавила она, улыбаясь и очищая место возле себя на лавочке.

— Разве это не перевозная лодка? — спросил Андрей Александрович, садясь все еще немножко смущенный.

— Нет, перевозные-то там повыше будут...— заметил парень, указав пальцем направо.

— Вы, видно, недавно здесь?

— Недавно,— отвечал Андрей Александрович ласково.

— Вы зачем же переезжаете туда? — спросил он, несколько минут помолчав затруднительно.

— Мы ведь там и живем,— сказала женщина.— Это вот мой муж, а вот это... сыночек! — пояснила она, кивнув сперва головой на парня, а потом, поцеловав, на ребенка.

— У вас там свой дом есть, что ли?

— Как же! Дом есть — вон с балкончиком-то, с зелеными-то ставенками... Видите?

— А-а! Вижу...

— И лодка эта у нас своя,— заметила молодая женщина как-то особенно весело, даже радостно. Ей, по-видимому, очень приятно было рассказывать про свое довольство незнакомому человеку, да еще и барину.

— Вы, стало быть, богато живете? — сказал Андрей Александрович своей соседке, улыбаясь ее (говорливости), от души желая ей доставить невинное удовольствие пококетничать перед ним этим довольством.

— Хоть небогато, да хорошо... тепло, барин,— вот что,— ответила женщина, искоса и с любовью посмотрев на улыбающегося мужа.

— Там кто же больше живет за рекой-то? Крестьяне, что ли?

— Да, всякие есть,— отвечала женщина, заботливо утирая передником нос своему сыночку.

— И крестьяне есть, и мещане... Мы ведь и сами тоже в мещанах числимся,— заключила она с комической важностью.

Счастливые лица и речи этих простых людей подействовали на скуку Андрея Александровича лучше всякого публичного развлечения. Он развеселился, настроился, так сказать, совершенно на их лад, шутил, смеялся поминутно своим спутникам, бороздил пальцами воду, обрызгивая парня в красной рубахе, а потом, будто нечаянно, повторял ту же операцию со своей соседкой, словом, во всю дорогу начал проказить как в былое время в четвертом классе гимназии. Однако ж, подплывая к тому берегу, Андрей Александрович случайно вспомнил, что у него в кармане не

оказалось ни гроша медных денег, чтобы заплатить за радушную услугу, и вдруг присмирел. Он торопливо вынул бумажник, украдкой заглянул в него, делая вид, что собирается закурить папироску и отыскивает спички: между тощею пачкой ассигнаций одна нечаянно оказалась рублевого достоинства. Аргунов незаметно прибрал ее в кулак, а оттуда вместе с кулаком перетянул в боковой карман своего пальто. И от этой находки повеселел еще больше. Лодка между тем причалила. Андрей Александрович выпрыгнул из нее чуть только что не в воду, засмеялся и, воспользовавшись минутой, пока парень в красной рубахе засуетился с веслами, краснея, сунул в руку его жены свой измятый целковый, сказал: «Большое вам спасибо»,— и бойко взбежал по крутой тропинке на самый верх берега. Но его громко окликнули сзади. Он невольно остановился и как-то забавно испуганно оглянулся.

— Ишь ты, какой бойкий,— говорил парень, догнав его и стараясь вручить ему рубль обратно.

— Это ты пошто забыл-то-о?

— Да я не забыл,— отвечал Андрей Александрович сконфуженно,— я это вот ей отдал...

— Нет уж, барин, видим мы, добрый вы человек, точно, а только возьмите, возьмите — нам не надо! — настаивала в свою очередь женщина, поднимаясь вслед за мужем.

— Вы это за перевоз, может? Не маловато ли, барин, будет! У нас к этому не приучено. Мы ведь не перевозчики, по спопутности только тебя перевезли — даром, значит...— толковал парень, грациозно потряхивая кудрями.

— Да я это не за перевоз совсем, не тебе,— оправдывался Аргунов.— Это вот ее мальчику на игрушку я подарил...

— А вы, барин, барин... выдумали: на игрушку! — сказала женщина, ласково покачав головой.— Бранить-то вас, знать, некому — хозяйки нет... Возьмем уж либо, Ваня, вишь, аж сам же и обижается, добрая этакая душа,— обратилась она с улыбкой к мужу.

— Что с тобой станешь делать! — заметил тот Аргунову, еще раз молодцевато тряхнув кудрями.— Возьмем уж, может, когда заслужим.

— Ты ужо заходи-ко к нам, как назад-то пойдешь, яичек всмятку покушать. Ну, благодарим тебя покорно! Заходи, слышь...— заключил он, слегка приподняв шапку.

— Ладно, спасибо, зайду...

— Беспременно-таки заходите,— прибавила от себя женщина, лукаво улыбаясь какой-то нечаянной мысли, мельк-

нувшей у ней в голове и осветившей все ее алое личико.— Не пожалеете.

— Мы (не разб.) числимся,— пояснил парень свой (не разб.).

— Хорошо, хорошо...

И Андрей Александрович, тоже почему-то раскрасневшийся, поспешил распроститься со своими импровизированными знакомыми, приветливо пожав им руки обоим.

Перебирая в уме маленькие подробности своей веселой переправы, он так задумался, что даже не заметил, как прошел домики и вдруг очутился в полном смысле слова, по его же собственному выражению, «в объятиях природы». Нежно раздражительный запах цветов, трав и деревьев, разом обдав его обоняние, пробежал легкой живительной дрожью по членам, так что он остановился и осмотрелся. Местность была великолепная. Налево, возле самой тропинки, по которой он шел, ярко зеленела, тянулась гора, направо — небольшая речка кокетливо пробивалась между тальников и подергивалась время от времени мелкой рябью, чуть слышно шумела, словно шептала свои проказливые речи заходившему солнцу, которое в свой черед вместо (не разб.) на сон грядущий набросило на нее нежный и прозрачно-пурпурный оттенок.

— Отчего это вдруг так запахло цветами? — подумал Аргунов, ложась на траву. Но в ту самую минуту ветер порывисто дунул ему прямо в лицо, снова и еще с большей силой, обдав его тем же нежно-раздражительным запахом,— так что недоумение Андрея Александровича разрешилось само собою. Он внимательно оглядел небо. С востока, нахмурившись, тянулась синеватая туча, обещавшая еще поутру, по крайней мере, дождь к ночи.

— Ничего! Еще поспею до дождя! — подумал Аргунов и до самых сумерек неподвижно просидел на одном месте, крепко над чем-то задумавшись. Мало-помалу эта задумчивость перешла у него сначала в легкую дремоту, потом он на склоне дня крепко заснул, вероятно, потому, что дурно провел прошедшую ночь. Несколько крупных холодных капель, упавших ему на лицо, разбудили его. Спросонья он, однако ж, не вдруг припомнил, где он; да и нелегко было сразу припомнить: ночь наступила такая темная, хоть, как говорится, глаз выколи. «Надо поторопиться!» — сообразил, наконец, Андрей Александрович, быстро соскакивая с травы и почти ощупью отыскивая тропинку. Да, действительно, поторопиться не мешало. Дождь начинал уже накрапывать и мог разыграться уже не на шутку. Добравшись с грехом

пополам до первой избы, Андрей Александрович, к величайшему своему ужасу и изумлению, был встречен здесь непрерывным лаем собак, которые только что не цапали его за брюки, хотя по всему заметно и имели этот злой умысел. Он едва-едва отбился от них какой-то палкой, как нельзя вовремя попавшейся ему под ноги. Через две избы эта неприятная история повторилась с приличными вариациями, и потом, дальше, повторялась еще раз, так что мы положительно можем сказать, что Андрей Александрович, добравшись до перевоза, если и не перекрестился обеими руками, то, во всяком случае, с полнейшим наслаждением перевел дух.

Но на перевозе ожидал Андрея Александровича, как вы думаете, кто? — новый сюрприз; видно, уж такой день для него выпал: ни лодок, ни перевозчика не оказалось. Он крикнул на ту сторону, подождал — ответа не последовало; он еще раз крикнул сильнее — то же (самое).

Неудобно было думать, что перевозчики либо спали на той стороне, или за ветром не расслышали его голоса. Аргунов сделал усилие и закричал во все горло, продолжая потом через каждые полминуты повторять свое отчаянное воззвание. Но и оно оказалось без малейшего успеха. А тут еще, как нарочно, дождь полил как из ведра и с реки подул такой выразительно-зловещий ветер, что Андрею Александровичу, как человеку мнительному, ясно должно было послышаться в нем дантовское (не разб.). Нечего делать, приходилось вспомнить Русановых, которые незадолго перед этим вышли было у него из головы при первом собачьем (лае). Аргунов воротился, подумав весьма основательно, что в такой дождь собаки не появятся снова.

Но который же дом Русановых?

Вопрос, заметим, тоже весьма основательный. Впотьмах «зеленые ставенки» похожи на какие угодно. Андрей Александрович постучался наудачу в незакрытое окно первой встретившейся избы. Ему отвечали не вдруг, но все-таки отвечали, хотя не таким вопросом, который можно бы было прилично отнести к кандидату петербургского университета.

— Кого там опять леший носит? — послышался за окном старушечий голос.

— Скажите, пожалуйста, где тут дом Русанова?

— Да тут две избы Русановских... тебе которых?

— Молодых,— сказал Аргунов наудачу.

— Так это, слышь, через четыре избы от тебя направо будет — пятая — смекаешь?

— Ладно, спасибо.

— Спасибо!!. Леший носит их!..

Но Андрей Александрович не дождался конца этой лаконической речи, стал буквально ощупью пробираться к (не разб.) пятой избе.

Дождик почти унялся тем временем, и теперь только попрежнему свет показался...

Ощупав, наконец, кольцо (закрытых) ворот, Аргунов постучался сперва довольно скромно, а потом принялся стучать усиленно и нетерпеливо.

— Кто так там стучится? — раздался вдруг над самой головой Андрея Александровича серебристый женский голос.

Аргунов на одну минуту совершенно растерялся от этой неожиданности.

«Откуда мне сие да приидет? — подумал он до крайности заинтересованный.— С неба, что ли?»

И чтоб разрешить себе этот вопрос, он решился, не отвечая, постучаться еще раз.

— Я хочу знать, кто это там так стучится? Кто там? — повторил гораздо настойчивее тот же серебряный голос.

Андрей Александрович растерялся было еще больше, но вдруг вспомнил о «балкончике», поднял голову вверх.— Действительно, белелось что-то весьма неопределенное. Очевидно, таинственный голос принадлежал, судя по его свежести, молодой еще женщине, но только женщине отнюдь не простого класса: в нем для развитого уха ясно слышалась та неуловимая прелесть звуков, которая постоянно и подсознательно прокрадывается в голосе человека (близкого) с образованием. Не отвечать на такой голос в ту же минуту было бы крайне невежливо и грубо. Андрей Александрович понял это сразу.

— Извините,— сказал он, как можно мягче, обращаясь лицом к балкону и приподнимая по обыкновению фуражку, хотя в темноте настоящей ночи и не представлялось никакой возможности даже для (не разб.) зоркого зрения разглядеть этих учтивых движений.

— Я думал, я, вероятно, ошибся... Я думал, это изба,— заключил Аргунов, не зная, что сказать.

— Да, это и в самом деле изба, могу вас уверить,— отвечали ему лукаво и с улыбкой, как можно было догадаться по голосу.

«Экая насмешница!» — подумал Андрей Александрович, невольно улыбнувшись в свою очередь.

— То есть я не это хотел сказать,— начал он снова,

смутившись и подбирая выражения.— Я немного неточно выразился, ...извините; я хотел сказать, что я думал... домик, что (не разб.) живут... простые люди...

— Да простые же люди и живут здесь,— немедленно последовал ответ.— Наипростейшие, если вам это больше нравится!..

На балконе тихо засмеялись.

«Шельма какая-то!» — подумал Аргунов ласково, однако ж решительно недоумевая, за какое объяснение взяться ему теперь.

— Во всяком случае, извините,— сказал он только.

— Я ни в коем случае не извиняю неискренности,— заметили ему.

Андрей Александрович растерялся пуще прежнего.

— Право, я... Это такая неприятная случайность...

— Что это за неприятная случайность? Разговор наш?— спросили с балкона.

«Теперь она меня доконает, бестия!» — робко промелькнуло в голове у Аргунова.

— О, помилуйте, напротив...— спохватился он ответить громко.

— Как напротив! Что это значит? Вы, кажется, начинаете пускаться в крайности! — получил Андрей Александрович довольно строгое замечание.

— Будьте уверены, я не желал вам сказать ничего неприязненного,— оправдывался он на этот раз несколько досадливо.— Извините, если как-нибудь случайно... Я лучше скажу вам всю правду! — громко заключил Аргунов и почувствовал, что с него точно спала половина тяжести в эту минуту.

— Давно бы так сделали! С этого, мне кажется, и начать бы следовало. Не забудьте еще (не разб.) к вашему сведению, что вы стоите у *избы* и говорите с *простыми людьми*... Так, кажется, вы желали? Ну-с, теперь говорите.

— Видите ли, я немного замешкался за рекой... гулял,— пояснял Андрей Александрович, заметно ободрившись.— Кричал перевозчикам — не слышат! А тут дождь, я...

— Позвольте мне вас на минуту перебить... Надобно вам сказать, что у нас здесь нет постоянного перевоза: перевозят только с семи часов утра и до десяти часов вечера, а теперь уж около одиннадцати...

— Ах, боже мой! Как же я так?— испугался Андрей Александрович.

— Но это еще, помилуйте, не так страшно, как вам кажется. Те, которые хотят ночью переехать сюда из города,

могут там легко найти перевозчиков: они живут в домике напротив самого перевоза; заречные, т. е. здешние, все имеют свои собственные лодки, но обыкновенно им редко приводится переезжать в город ночью, нет надобности.

— Стало быть, я могу попросить... кого-нибудь...

— Еще раз погодите. В такой ветер вас положительно никто не повезет... ни за что! Я хорошо знаю здешних. Продолжайте!

— Но как же я теперь буду продолжать? Путь мне окончательно пресечен! — возразил Аргунов с самым наивным затруднением.

— Путь на ту сторону — да. О! Да вы еще острите, значит, вам тут, под балконом, не так дурно, как я было подумала! Послушайте, речь ведь у нас шла, кажется, не о продолжении вашего пути, а о продолжении вашей *всей правды...* Жду терпеливо.

«Экая ведь какая! Вот разбойница-то!!» — подумал Андрей Александрович и сказал:

— Я готов... с большим удовольствием...

— Во-первых, значит, вы стучались? — прервали его.— Лодки попросить хотели?

— Да... не совсем,— замялся Андрей Александрович.

— Какой же вы несносный, как я посмотрю на вас! Да говорите же, ради бога, откровеннее и по-человечески! — сказал серебряный голос с маленькой, чуть приметной досадой.— Объясните мне сперва, пожалуйста, что значит на вашем языке: *«да не совсем»*? Вы просто ищете ночлега... так ли я вас понимаю?

— Так...— решился, наконец, откровенно выговорить Андрей Александрович и сконфуженный чем-то быстро пошел от ворот, не отдавая сам себе отчета в этом порывистом движении.

— Подождите, куда же вы? Это даже невежливо! — остановили его.— Да вы и в самом деле (несносный) человек... извините! Куда вы, например, теперь направились?

— Мне совестно вас беспокоить... Я... я думал постучаться где-нибудь у других ворот.

— Где же это? Направо или налево, позвольте узнать?

— Налево,— отвечал Аргунов сконфуженно, возвращаясь к воротам и не зная еще сам, в какую бы сторону он отправился.

— Налево вас, прежде всего, примут собаки,— ответили ему коротко.

— Так я — направо...— проговорил он нерешительно.

— Там такие же собаки,— засмеялись с балкона.

— Что же я стану делать с собой? — задумался вслух Андрей Александрович.

— Не знаю, что вы теперь намерены делать с собой, но скажу вам, что вы должны были сделать с самого начала, как я с вами заговорила: надобно было просто попросить у меня позволения, как более или менее у хозяйки этой *избы* — переночевать в ней; по крайней мере, мне так кажется.

— Согласитесь, это весьма неприятно... посудите сами...— начал было оправдываться Аргунов. Чрезвычайно неудачно и даже, пожалуй, грубовато немножко, хоть он и не подозревал этого. Его, однако ж, опять перебили.

— Не соглашаюсь и не могу судить, насколько это неприятно для вас, но положительно могу предложить вам у себя уголок... до завтрашнего утра, если только это вам неособенно — неприятно? — сказал серебряный голос лукаво-ласково.

— Помилуйте! Напротив... мне...

— Опять вы! Пожалуйста, поберегите ваши фразы для людей не простых. Со мной — без церемонии...

— Покорно вас благодарю, но...

— Что но?

— Я вас, может быть, обеспокоил...

— Это уже не ваше дело. Принимаете вы мое предложение или нет?

— Принимаю, с удовольствием...— невольно сорвалось у Андрея Александровича с языка.

— Так подождите минутку: я скажу, чтоб вам отворили...

На балконе послышался шелест женского платья, и белое пятно исчезло. «А ведь, должно быть, она, в сущности, хорошая женщина, только резка немножко... Ну, да увидим!» — подумал Андрей Александрович, оставшись один и прислушиваясь, как где-то внизу стукнули дверью. Впрочем, мы беспристрастно должны сказать, что он подумал это не совсем спокойно; напротив (пусть нам извинят, что мы заимствуем у него же этот счастливый оборот речи), при мысли «увидим» в душе его сильно заговорило какое-то странное, ни разу не испытанное им еще тревожное чувство. Он даже, в другое время, не преминул бы задуматься над ним, но теперь ему уж отворяли ворота.

— Бог-таки не попустил вам, барин, пройти мимо нас! — с приветливым упреком сказала ему женщина, отворявшая ворота, в которой он тотчас же узнал по голосу молодую Русанову:— а мы с Ваней вас ждали, ждали... сейчас только хотели спать ложиться. Пожалуйте-ка!

— И вы разве здесь живете?

— Да как же... здесь! Эта барыня-то, с которой вы разговаривали, у нас только квартеру нанимает. Вы ужо теперь к ней на половину пожалуйте: она вас к себе велела просить... веселая чего-то такая, так и смеется! Вы тут, смотрите, не ушибитесь как-нибудь у меня — за мной следом идите. Вот ведь я вам давеча еще говорила, что не пожалеете, мол, коли зайдете, так нет ведь — пробежал мимо хозяйки! Ан и попались! — говорила молодая женщина, по-прежнему веселая и теперь совершенно довольная своим поздним гостем.

Они поднялись на крыльцо и вошли в сени. Здесь Аргунов приостановился было, чтоб вытереть о порог ноги, так как он из города не взял галош и некоторое время шел по грязи, но в эту самую минуту хорошенькая полная ручка с бирюзовым колечком на указательном пальце медленно и немного приотворила дверь направо, и хорошо уже знакомый Андрею Александрычу серебристый голос застенчиво-тихо сказал:

— Милости просим!

Аргунов очутился вдруг в светлой, уютной комнатке, ничем не напоминавшей обыкновенную избу, и сейчас же снял пальто, небрежно бросив его на стул у порога! Хозяйки, однако ж, здесь не было; он, входя, заметил только мельком и притом весьма неопределенно нечто стройное и грациозное, в белом кисейном платье, мелькнувшее за небольшую портьеру низенькой двери в соседнюю комнату. Андрей Александрыч готов уже был смутиться отсутствием хозяйки, но его тотчас же вывел из затруднения знакомый голос, радушно сказавший из-за портьеры:

— Пожалуйста, без церемоний садитесь, курите и отдыхайте: папиросы и сигары лежат вон там, на угольном столике... найдете?

— Постараюсь найти...— сказал Аргунов, чтобы только сказать что-нибудь.

— Ну, хорошо, постарайтесь, если это для вас легче, чем подойти просто и взять...— рассмеялись за портьерой.— Впрочем, я сейчас и сама явлюсь к вам на помощь!

«Эдакая ведь булавка... нет-нет да и кольнет, бестия!» — весело, хоть и не без некоторого смущения подумал Аргунов; потом он достал из своего пальто папироску, закурил, молча сел на кресло и положительно осмотрелся на новом месте. «Клетка, кажется, по птичке!» — подумал он снова, внимательно оглядывая комнату.

В самом деле, это была премиленькая комнатка. Направо поместился уютно изящный диванчик, вокруг четыре таких

же кресла, перед диванчиком стол, покрытый узорчатой бархатной салфеткой; на столе горела стеариновая свеча в маленьком серебряном подсвечнике, лежала недоконченная работа — какой-то мудреный тамбурный воротничок, а на самом краю книга, заложенная, вероятно, на недочитанной странице простеньким, слоновой кости ножом для разрезывания листов. Андрей Александрович полюбопытствовал взглянуть на переплет и вдруг удивленно прочел почти вслух: Мицкевич. Он очень хорошо знал по-польски, основательно выучившись этому языку еще в университете от товарищей студентов-поляков. Теперь Аргунов полюбопытствовал еще и дальше — развернул книгу на том месте, где она была заложена, и глаза его еще с большим удивлением остановились на двух первых строках знаменитой *импровизации* в последней части поэмы Дзяды: это было весьма редкое в то время у нас, в России, парижское издание.

«Так вот мы что читаем! Эге!» — подумал Аргунов улыбаясь, лихорадочно потирая руки и вообще радуясь как-то по-детски своему нечаянному открытию. Затем, оправившись от этого невольного волнения и старательно продолжая обозрение своего временного убежища, Андрей Александрович обратил должное внимание на высокую этажерку, помещавшуюся в левом углу против той двери, куда он вошел за несколько минут перед этим; этажерка была вся заставлена книгами, книги были русские и французские, как показалось ему издали. Между этажеркой и столиком в переднем углу стояли у окна пяльцы, покрытые чем-то белым, из-под которого выглядывал с одного боку кончик какой-то мелкой бисерной работы; перед пяльцами он заметил особенного фасона кресло и на полу скамеечку с вышитой гарусом подушкой. Быстро перебегая глазами с предмета на предмет, Андрей Александрыч, между прочим, не оставил также без внимания и чистые светло-зеленые обои комнаты, усмотрел белые как снег кисейные драпри на окнах и хорошенькие цветы, не пропустил даже в переднем углу миниатюрной, по художественно сделанной копии с известного «Святого семейства» Рафаэля, заменившей здесь образ, перед которым, однако ж, не было лампадки. Когда он наклонился, чтобы поднять случайно выпавшую у него из рук папироску, взгляд его остановился на красивом, хотя и не дорогом ковре, так что он с некоторого рода ужасом потом перенес от него глаза на свои довольно грязные сапоги и теперь только заметил, что такими же точно коврами был устлан и весь пол. В заключение своего обзора Андрей Александрыч встал, взял со стола свечу и поднес ее к небольшой картине

в золоченой раме, висевшей над диванчиком: картина оказалась превосходной копией с Рюисдаля. Всматриваясь в нее, он только что начал припоминать, что еще прежде видел где-то, чуть ли не в Эрмитаже, это мастерски написанное болото, как вдруг ему послышался сзади легкий шорох женского платья и приветливое: «Здравствуйте!», заставившее его мгновенно обернуться... О ужас! Перед ним, наконец, стояла сама владетельница серебристого голоса — таинственная, остроумная *птичка* этой хорошенькой *клетки!*

II

Первая встреча лицом к лицу молодых людей в первую минуту крепко озадачила, по-видимому, их обоих: ни он, ни она, казалось, не ожидали того впечатления, какое нечаянно произвели друг на друга. Мы с своей стороны можем теперь же положительно в этом ручаться, по крайней мере за Андрея Александровича. Он думал встретить в лице хозяйки хорошенькую, весьма неглупую и чрезвычайно развязную даму — и только. Но перед ним было нечто другое: перед ним стояла женщина, прекрасная в полном смысле слова, с большими голубыми глазами, смотревшими на него спокойно и кротко с каким-то особенным разумно-задумчивым, милым выражением; в ее коротком приветствии была та же кротость и особенная простота, удивительно облегчавшая первую встречу с ней, так что даже Андрей Александрович, совершенный новичок с женщинами, невольно почувствовал это сразу и ободрился. Она и одета была как нельзя проще, в белом кисейном платье с широкими, постепенно суживающимися к концу кисти рукавами, где они застегивались крошечной серебряной запонкой; изящную талию свободно и красиво обхватывал шелковый голубой поясок с маленькой серебряной же пряжкой, а полные плечи и пышная грудь были неумышленно-кокетливо закутаны в темную клетчатую шаль; в ушах ее блестели тоненькие золотые серьги, на шее не заметно было ни воротничка, ничего; пышные волосы лежали у нее не гладко, но как-то своеобразно хорошо, и длинная темно-русая коса, небрежно собранная сзади головы, как это делается на сон грядущий, отлично лежала без всякой гребенки. Она казалась годами пятью старше Андрея Александровича, между тем как мы положительно знаем, что ей очень не долго перед этим минуло всего двадцать два года.

В свою очередь на лице молодой женщины, когда та,

отвечая на почтительный поклон Аргунова, посмотрела на него внимательно и с некоторым удивлением, появилось такого рода выражение, как будто она в эту минуту подумала, что молодой человек, недавно разговаривавший с ней впотьмах на улице, и молодой человек, стоявший теперь перед ней,— две вещи, не совсем похожие одна на другую; в прекрасных глазах хозяйки даже как будто выразилась маленькая робость, но она тотчас же исчезла, заменившись естественным любопытством. Да и в самом деле, Андрей Александрович, своей собственной персоной, далеко не казался таким, как можно было представить его себе, судя по известному разговору; среднего роста, хорошо сложенный, с открытым, умным и приятным лицом, хотя вместе с тем далеко не красавец, с большими синими глазами, в которых в полном блеске горели сила и отвага молодости, он мог с первого взгляда произвести на женщину серьезную самое благоприятное для мужчины впечатление; правда, во всей его фигуре заметно проглядывала некоторая робость, но это была только робость непривычки, обещавшая исчезнуть бесследно при первом хорошем уроке.

— Я принимаю вас немножко по-домашнему,— сказала хозяйка очень мило Аргунову после первых приветствий: — но, впрочем, об этом не стоит говорить... Милости просим садиться!

Она, говоря это, поместилась на диванчике. Андрей Александрович хотел было занять свое прежнее место на креслах, но его тоже попросили сесть на диванчик, заметя ему между прочим, что для него это будет гораздо покойнее, особенно после такой прогулки. Он безмолвно повиновался.

— Извините,— сказала она снова с улыбкой, когда они сели.— Меня так от души забавляло давеча ваше умышленное или неумышленное смущение, что я позволила себе помучить вас немного дольше, чем вы заслуживали вашей неискренностью. Немудрено вам было и смутиться: вас, я думаю, порядком озадачил первый мой вопрос с балкона.

— Да признаюсь...

— Я думаю!

Наступило коротенькое молчание.

— Вы не хотите ли, послушайте, чаю? — спохватилась хозяйка.

— Нет, благодарю вас...

— Ну? Отчего? Пожалуйста, будьте без церемонии... Хотите? — Аргунов вспомнил, что еще не пил чая, но поцеремонился и сказал: — Нет, в самом деле не хочу.

— Ну, бог с вами! В таком случае я сейчас распоряжусь, чтоб нам дали вина.

И хозяйка поторопилась встать.

— Сделайте одолжение, не беспокойтесь... если только для меня... Я... мне совестно...— сказал Аргунов, запинаясь и тоже намереваясь встать.

— Сидите, сидите! — поспешила молодая женщина успокоить его:— Я ведь вас не возьму с собой, не думайте. Право, не моя вина, что вам почему-то все совестно: нет ли у вас на совести чего-нибудь дурного? Нет, кроме шуток, почему я должна непременно совеститься, если обо мне радушно хотят позаботиться крошечку; притом, заметьте, я беспокоюсь не для вашего удовольствия, а для вашего здоровья: вы довольно долго были под дождем, и нет ничего мудреного, что простудились немножко, а в этом случае выпить вина или чего-нибудь горячего — первая медицинская помощь. Да вы, кажется, и без галош? — спросила она вдруг, нечаянно уловив робкий взгляд Андрея Александрыча, торопливо брошенный им в эту минуту на свои сапоги:— так и есть! Совсем промочили ноги и ничего мне не скажете! То-то вот и совестно все! Погодите! — спохватилась она:— у меня тут как-то гостил молодой человек, родной брат моего покойного мужа, и забыл свои сапоги да две пары карпеток; я сейчас вам их отыщу, а вас на одну минуту оставлю в потемках... в наказание за вашу неоткровенность! — добавила она с ласковой улыбкой.

И не дожидаясь возражений, молодая хозяйка взяла со стола свечу и вышла в соседнюю комнату. Андрей Александрович только теперь, по ее уходе, вспомнил, что подметил в лице ее одну особенную черту: когда она говорила или хотела сказать что-нибудь забавное либо лукавое или когда ласково подсмеивалась над ним — на несколько смуглых и нежных щеках ее появлялись мгновенно две прехорошенькие розовые, даже почти алые ямочки, придававшие в ту минуту выразительному лицу этой женщины что-то особенное, детски-прекрасное...

«Какая она, в самом деле, милая, добрая...» — подумал Аргунов, заключая этим свое раздумье в потемках; хозяйка воротилась в эту минуту, держа в одной руке свечу, а в другой очень приличные сапоги и чистую пару карпеток.

— Вот вам, неискренний вы человек! — сказала она, поставив на стол свечу и опуская на ковер перед ужасно сконфуженным Аргуновым свою остальную маленькую ношу:— переобуйтесь же, пока я пойду распорядиться.

— Ради бога, не беспокойтесь... я ведь привык...— от-

говаривался Андрей Александрович.— Послушайте!..— заключил он торопливо, видя, что она опять пошла к двери.

Молодая женщина на минуту остановилась, обернулась к нему полулицом, улыбнулась, сказала:

— Ничего вы не привыкли и ничего я не хочу слушать!

И ушла, в самом деле не выслушав его.

«Вот вам, неискренний вы человек!» — вспоминал Андрей Александрович по ее уходе, и он невольно задумался над этими нехитрыми словами; они повторились у него в голове несколько раз сряду, и каждый раз, по какой-то необъяснимой прихоти, ему ужасно хотелось припомнить, до мельчайших подробностей, то именно выражение в голосе, с каким они были сказаны. «Как она проста и как это идет к ней! — стал он раздумывать, когда эта попытка окончательно не удалась ему:— Да, в самом деле удивительно идет! У другой это сейчас смахнуло бы на пошлую фамильярность, а у ней, разбойницы, нет — вот и поди, разумей ее как знаешь! Толкуют еще некоторые господа — что я: некоторые? Даже и весьма многие толкуют, да все почти, что будто бы образование не только не упрощает женщину, но что, напротив, делает ее чрезвычайно искусственной в ее отношениях к людям, к привязанностям, к мелочам обыденной жизни». Андрей Александрыч с маленькой гримасой переобул левую ногу. «Хватили! Как же! Врут они все, бестии,— вот что, по-моему! — продолжал он, принимаясь с такой же гримасой за правый сапог:— видно, одних только педанток и видали на своем веку... Посмотреть бы им вот на эту... что бы они сказали? Да ничего бы и не сказали, растерялись бы, вот как я давеча... да!» — Аргунов прошелся раза два по комнате, пробуя, ловко ли ему будет в чужих сапогах; оказалось, что очень ловко, даже гораздо ловчее, чем в собственных — грязных, и он опять сел — продолжать свои размышления: «Если она уж так проста со мной, с человеком посторонним, которого в первый раз видит в глаза, то как же, должно быть, она проста была... с мужем, например! Или уж она не может быть проще этого? Интересно!.. Ну как еще проще? Разве только то, что она ему «ты» говорила? Нет, в самом деле, интересно представить себе, как она с ним, с мужем-то? Положим, подойдет он, поцелует ее... что она тогда? Как она тогда? Просто ли ответит ему, молча, как же?.. Или еще скажет что-нибудь при этом?.. Или, наконец, сделает милое что-нибудь такое, особенное, по-своему? Что же бы такое она сказала или сделала, в ее тоне? А ведь никак не представишь... Что это я: она да она?!» — рассердился вдруг, ни с того ни с сего, на самого себя Андрей Александрович:

«поэт я какой-нибудь, что ли?.. Ведь, собственно, ничего особенного нет в ней: женщина как женщина — вот и все... Проста очень?.. Что же такое, что проста? Ну, проста, так проста — и бог с ней!.. на здоровье!.. Да еще, может быть, эта простота-то и не от образования у ней, а так себе, наивность... бывает ведь это у них... А Мицкевич-то?» — Аргунов встал и начал большими шагами мерить комнату. «Непременно разговорюсь с ней!» — решил он, усиливая свое (не разб.): «увидим что...»

— Что это вы без меня не сидите смирно! А! Переобулись? Отлично! — говорила вошедшая хозяйка, застав Аргунова шибко расхаживающим по комнате и прервав таким образом его умственный монолог.— Вот ведь, как вас не похвалишь теперь! — право, умница вы! Больше всего меня радует, что вы, кажется, начинаете понемногу осваиваться в моем уголке, а то я все боялась, чтоб вам как-нибудь не было в тягость мое гостеприимство: тогда мне, пожалуй, пришлось бы уступить вас, как гостя, Русановым, что для меня, как для всякой хорошей хозяйки, было бы, согласитесь, не особенно лестно. Долго я была? Соскучились? Что вы тут без меня поделывали?

Одного взгляда на молодую женщину, в то время как она говорила это, достаточно было для того, чтоб у Андрея Александрыча мгновенно пропала всякая решимость «непременно разговориться с ней»: ему совершенно верно подумалось, что, о чем бы он ни разговаривал с ней в эту минуту, весь его разговор показался бы одной натянутой фразой в сравнении с той простотой, с какой эта женщина говорила все, что только случилось ей сказать.

— Да ничего не делал! — ответил вдруг Аргунов по какому-то внезапно нашедшему на него вдохновению и тотчас же мысленно сам себе сознался, что и она, на его месте, не могла бы ответить ничего проще.

— Вот как! Ну и отлично! Знаете! Я начинаю замечать, что вы исправляетесь...

— Очень рад,— сказал Андрей Александрович, чувствуя, что в самом деле начинает незаметно исправляться под ее руководством.

Молодая женщина улыбнулась.

— Как вы серьезно сказали это! — заметила она ему.

— Я серьезно и рад,— отличился Аргунов:— вы даете мне превосходный урок!

— Что вы! Помилуйте! Какой урок? — спросила она торопливо, удивляясь и оробевши немножко.

— Надо вам признаться, что я очень мало знаю об-

щество, особенно... женское,— тихо и скромно заметил Андрей Александрович.

— А! Это очень легко может быть... Но я, право, уверяю вас, и не думала даже серьезно сказать вам что-нибудь в поучительном смысле, шутя разве... Простите меня, если так!

— Не прощаю, а благодарен вам... очень! — сказал Аргунов, невольно залюбовавшись ее милым смущением и сам не понимая, как это так ловко удалось ему извернуться с ответом.

— О, да какой же вы злой еще вдобавок!— оправилась она тотчас от своей минутной робости:— Я этого и не подозревала за вами... Поздравляю вас!

Ей ужасно хотелось в эту минуту смутить его самого. Но Андрей Александрович (порадуемся за него) решительно чувствовал себя под вдохновением.

— И есть с чем! — сказал он весело и развязно.

— С чем же, позвольте узнать?

— С таким учителем, например, как вы! С вами, мне кажется, я в один урок пройду всю общественную азбуку, даже грамматику, пожалуй,— наивно сознался Андрей Александрович.

— Вы подсмеиваетесь надо мной, или так просто говорите это, как комплимент? — спросила молодая женщина Аргунова, с таким видом, с каким дуэлист спросил бы своего противника: деретесь вы со мной или намерены извиниться?

Андрей Александрович вдруг страшно смутился и покраснел.

— Нет,— отвечал он, благоразумно отступая.

— Как это нет? — полюбопытствовала хозяйка, очевидно радуясь, что ей удалось-таки смутить опять своего застенчивого гостя.

— Так!.. Я сказал только, что думал,— ответил он, уже инстинктивно попадая в прежний искренний тон.

— А! Это совсем другое дело. Радуюсь от души за такой нечаянный проблеск искренности с вашей стороны и, кстати, буду еще раз просить вас — говорить мне и на будущее время только то, что вы думаете. Заметьте уж также раз навсегда: я не сержусь, если надо мной немножко подсмеиваются, люблю, когда со мной говорят от души, и выхожу из себя, если слышу... комплименты.

«Ложь», кажется, хотела она сказать, но удержалась почему-то.

— Поверьте, что я и сам терпеть не могу комплиментов,— заметил Аргунов, совершенно оправившись:— однако ж в обществе они допускаются...

— Мало ли что терпимо, послушайте, в нашем обществе! Я знаю, что отдельной личности часто приходится делать уступки этому обществу, понимаю, что иногда это даже необходимо — но ведь какие опять уступки? Их там так много требуется! Я, по крайней мере, признаю только те, которые не противоречат ни совести, ни здравому смыслу...

— Но позвольте,— живо перебил Аргунов, обрадовавшись, что разговор их свернул на любимую дорогу — на путь анализа:— таким образом, вы допускаете весьма мало уступок: или даже, пожалуй, и вовсе их не допускаете?

— Весьма мало и редко — это правда; но почему вы непременно заключаете отсюда, что я отвергаю их совсем? Не понимаю!

— Сейчас поймете. Видите ли, все дело в том, что вы ваши уступки ограничиваете одним только непротиворечием здравому смыслу и совести...

— Так что же? И довольно!

— Не совсем; какой бы лучше сказать вам пример?..

— Скажите какой знаете.

Опять последовало коротенькое молчание.

— Извините ли вы меня, если я приведу вам такой пример, который... который будет... ну, хоть не совсем приличен в разговоре между людьми только что познакомившимися? — спросил Аргунов, краснея, как шестнадцатилетняя девушка.

— Совершенно, если только ваш пример пойдет к делу!

— В таком случае я скажу,— проговорил Андрей Александрович, краснея еще больше.— Представьте себе, что вы на бале и танцуете...

— Представляю.

— Положим, танцуете с человеком, которого любите и который тоже вас любит...

— И это могу представить.

— И вам вдруг, тут же, в зале, и именно во время танца приходит неодолимое желание поцеловать его...

— Даже могу представить и это! — заметила молодая женщина с такой обворожительной улыбкой, что Андрею Александровичу решительно потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться и продолжать.

— Скажите же, поцелуете вы его или нет? — спросил он, наконец, сам удивляясь своей храбрости.

— Нет.

— Почему?

— Не скажу, пока не узнаю вполне вашей мысли.

— Хорошо! Но если б вы его поцеловали — противоречило ли бы это, по-вашему, здравому смыслу?

— По-моему, нет; в строгом смысле, заметьте.

— Так. А совести бы это противоречило?

— Тоже нет.

— Видите? Ваш поступок был бы согласен и со здравым смыслом и с совестью, а вы все-таки его не сделаете; потому не сделаете, что общество, среди которого вы будете находиться в ту минуту и которое не терпит ничего подобного, незаметно подскажет вам уступку, и вы, как сами сейчас сказали, сделаете ему эту уступку...

— Боже мой, какой нерациональный пример! Нет, не правда, не потому я его не поцелую, что сознаю в этом случае необходимость уступки обществу!

— А почему же?

— Я не поцелую его просто потому, что не захочу порадовать его таким завидным признаком моей любви при других; они непременно испортят и у него и у меня это удовольствие, так что неприятность, которую мы будем испытывать в минуту такого поступка от присутствия посторонних, уничтожит для нас самую приятность поцелуя. Счастливый поцелуй любит уединение и потому счастлив, а не потому, чтоб в нем чувствовалась неправота или уродство; таким поцелуем я даже дома мужа никогда не поцеловала бы при свидетелях! — заключила молодая женщина тихо и застенчиво.

— Помилуйте! — скромно заметил Аргунов: — много ли женщин у нас так понимают? Одна из тысячи, может быть!

— Не знаю, право, так ли это? Представляю другим понимать вещи, как они хотят; я тоже хочу понимать так, как я хочу... как умею! — сказала она с жаром.

— И имеете полное право на это; но...— хотел было возразить Андрей Александрович.

— Послушайте-ка, милостивый государь! Вы, как я замечаю, думаете, кажется, уклониться от сущности нашего разговора? — перебили его вопросительно.

— Нисколько!

— А! Ну, виновата! Так позвольте же прежде всего вам заметить, что пример ваш нам не годится и, по условию, я могу не извинить вам его; но так и быть, в первый и в последний раз — прощаю!

— Благодарю; однако ж он совершенно пригодился бы, если б вы разделяли мнение большинства женщин.

— Да; но я его не разделяю, по крайней мере в этом случае...

— Все-таки пример мой показывает, что я мог бы привести вам и другие, уже положительно идущие к нашей речи, и, таким образом, был бы в состоянии доказать вам мою мысль; досадно только, что примеры такого рода как-то не приходят в голову...

— Постараемся обойтись без них. Не буду противоречить вам, хоть и люблю поспорить: сегодня я немножко устала; но, скажите на милость, допустив, что я не признаю почти никаких уступок обществу, какой вы особенный сделаете для меня вывод отсюда?

— И очень особенный: вам после этого нельзя жить ни в каком обществе!

— Будто бы уж и ни в каком?

— Поверьте, что так!

— А в обществе, например, разделяющем одни взгляды со мною, я тоже не могу жить, по-вашему?

— Там можете; да ведь в том-то и дело, что нет у нас подобного общества!

— Общества, в обширном смысле — не найдется такого, это правда; но я всегда могу удовольствоваться небольшим кружком сочувствующих мне людей, взгляды которого будут и моими собственными взглядами.

— Да, собственно вы — это так, а другие?

— Если я могу, то и другие также могут; это совершенно будет зависеть от них.

— Нет, извините, не от них!

— Так от кого же, скажите?

— Прежде всего, каждый человек, желающий выбирать общество по своему вкусу, должен иметь, по-моему, обеспеченное состояние, то есть, я хочу сказать, что он должен быть прежде всего независим.

— Как! Стало быть, вы вне богатства не допускаете возможности независимого положения?

— Положительно не допускаю!

— Но позвольте вам, если так, заметить, что я сама, например, не имею ровно никакого состояния, живу своими трудами — и чувствую себя вполне независимой!

— Вы?.. Живете своими трудами?! — воскликнул Андрей Александрович, не в силах будучи преодолеть своего недоверия.

— Да; что же? — сказала она очень просто.

— Должен вам поверить; но в таком случае, вы не независимы...

— Пожалуй, хоть и зависима, если вам это больше нравится; только ведь какого рода эта зависимость? Если я

что хорошо сделаю — мне хорошо и заплатят; сделаю хуже — и заплатят меньше, вот и все!

— Да, это все так!

— Что же я-то за исключение такое, скажите вы мне на милость?

— Вы раскольница! — сказал Аргунов, не скрывая своего восторга.

— А у вас староверческие понятия! — отвечала она стыдливо.

Они оба тихо засмеялись.

— Наша независимость, послушайте, зависит, по-моему, от нас же самих, от меры наших требований в жизни,— сказала молодая женщина, подумав немного.— Вы, например, положим, хотите иметь отличную квартиру, роскошный стол, пару лошадей для выезда; чтоб удовлетворить себя с этой стороны, вам понадобится или выгодное частное место, или широкий род официальной службы, если только вы не какой-нибудь исключительный талант, которому общество искательно заглядывает в глаза; для того же, чтобы получить такое место или службу, понадобятся опять связи; придется вам столкнуться с так называемыми сильными мира сего, кланяться, угождать им, делать обществу уступки против своих убеждений, придется, пожалуй, переменить некоторые свои привычки, непременно даже придется! Я же, положим, прежде всего хочу сохранить эти привычки, эти убеждения, и для этого ограничиваюсь простенькой квартиркой, простеньким столом; а это я могу приобрести и на те средства, которые дает мне работа, не требующая от меня ни особенных поклонов, ни уступок каких-нибудь возмутительных! Я только предлагаю свой труд — берите, если кому надо! Вот вам и весь секрет моей независимости! — заключила она с детски-милой улыбкой.

— Прекрасно! Все это прекрасно! Но... какого же рода ваш труд? Что вы такое работаете?

— Поверьте, что не египетские пирамиды...

— Однако ж можно узнать: что именно, хоть это с моей стороны и нескромный вопрос?

— По-моему, совершенно скромный. Утром я учу грамоте девочек и мальчиков, детей здешних мещан; у меня учится их всего десять человек, и каждый приносит мне по два рубля в месяц: вот вам уже и двадцать рублей в месяц! После обеда я вышиваю что-нибудь, вяжу, шью; это дает мне еще... рублей пятнадцать. Наконец, у меня есть в городе вечерние уроки музыки, три раза в неделю, по полтиннику за урок: вот и еще вам шесть рублей! Кроме того, случаются

иногда и другие работы, на заказ, не так правильные, как эти, но больше выгодные, так что, круглым числом, я имею рублей до пятидесяти в месяц, которых мне не только вполне достаточно на мое содержание, но я даже немножко еще, представьте, и в кубышку откладываю! — заключила она с невыразимо милой улыбкой.

— Какая же вы славная женщина! — восторженно сказал Аргунов — и вдруг, будто испугавшись звуков собственного своего голоса, растерялся, потупился, покраснел.

Молодая женщина, должно быть, поняла сразу искренность этих восторженных слов, и когда, через минуту, Андрей Александрович осмелился робко взглянуть на нее, она только улыбнулась особенной какой-то улыбкой.

— Видите, как нехорошо говорить не вполне прочувствованные любезности,— заметила она ему, по обыкновению, тихо-ласково:— сами же вот вы и покраснели!.. Но вернемся к нашему, весьма интересному для меня спору: согласились вы со мной или нет насчет независимости?

Аргунов бойко ободрился.

— Нет... не совсем,— отвечал он, прежде подумав несколько.

— В чем же мы расходимся?

— Независимость вашего изобретения задумана очень хорошо,— сказал Андрей Александрович:— вы за то ведь и пользуетесь ее привилегией; но она, позвольте вам сказать, удобна только в том случае, если все ваши стремления ограничиваются домашней деятельностью, скромным довольством в вашем хозяйстве...

— Положим, что у меня только такие стремления, что же вы скажете?

— А то, что у другого могут быть еще и другие: иной, например, хочет приносить *заметную* пользу обществу, для этого ему нужно и поле деятельности пошире вашего; и чтоб выбраться на такое поле, ему действительно не раз придется и поклониться, и уступить...

— У вас, должно быть, очень уступчивый характер, замечу вам мимоходом,— улыбнулась хозяйка.

— Н...ну, нельзя сказать! — улыбнулся, в свою очередь, Аргунов.

— Послушайте, как вы думаете,— сказала она серьезно:— капля дождя сама по себе приносит ведь весьма незаметную пользу?

— Да, по-видимому, очень незаметную.

— То-то и есть! Вы прибавили же вот: по-видимому, стало быть, вполне убеждены, что множество таких капель,

упавших одновременно и на большом пространстве, принесут и очень *заметную* пользу, такую пользу, от которой бывают (не разб.) тысячи, миллионы!

— Пример ваш... немного староват,— заметил Аргунов откровенно.

— Да ведь что станешь делать! Иногда приходится прибегать за доказательствами и к старым истинам, если они и до сих пор все-таки истины...— ответила она, нисколько не обидясь его откровенным замечанием.

— Но не забудьте, что ведь человек не капля же дождя в самом деле: ему иногда хочется, даже случается, одному и разом, принести такую же точно пользу человечеству, какую приносят в разное время целые мириады дождевых капель!

— Да ведь я же вам еще давеча докладывала, что допускаю скачки только в отношении исключительных каких-нибудь личностей, исключительных именно по своим особенным талантам! — возразила хозяйка немножко нетерпеливо:— те всегда независимы, даже в своих уступках, потому что же они сами и управляют умами того общества, среди которого живут и действуют, а не оно управляет ими. Обыкновенному же смертному, как мы с вами, например... впрочем, извините, вы, может быть, считаете себя принадлежащим именно к числу таких личностей? — поправилась она и лукаво-вопросительно посмотрела на Аргунова.

— Увольте, пожалуйста! — сказал Андрей Александрович, рассмеявшись. «Нашла-таки ведь опять, бестия, чем уколоть меня!» — подумал он в ту же минуту.

— Так обыкновенному человеку, я хотела сказать, если только он искренне намерен быть истинно полезным кому-нибудь, надо, по-моему, прежде всего выработать себя и свою независимость, и потом уже делать свое дело, свободно, без шуму, не торопясь, чтобы не испортить всего,— продолжала молодая женщина медленно и с расстановкой.— Такая сознательная и твердая деятельность может действительно, со временем, выдвинуть вперед и обыкновенного человека, даже может постепенно обратиться у него сперва в не совсем обыкновенную деятельность, а там уж и прямо в необыкновенную, если он только будет настойчиво преследовать свою мысль. Мало ли людей выдвинулось таким же образом из толпы; за примерами недалеко ходить: множество скромных ученых — людей не особенно талантливых, а только умных — оставили благодаря этому свое полезное имя в истории человечества! Спрашивается теперь: что же

лучше для человека, желающего принести посильную пользу? Идти ли к этой цели зависимо, путем наклонов и уступок, или идти свободно, путем постепенной нравственной разработки в самом себе и постепенного терпеливого труда? Тем более, что независимый человек может и высказываться независимее! Да, наконец, неужели вы, в самом деле, допустите, что человек, не умевший быть истинно и разумно полезным в своем ничтожестве, может сделаться именно таким от одного величия, которое упадет на него ни с того ни с сего, только благодаря его умению поклониться и уступить вовремя?

— Вы говорите, как настоящий парламентский оратор! — сказал серьезно Аргунов, в самом деле заслушавшись ее плавной, серебристой и несколько горделивой речью.

— Я уж вас предупредила, что подсмеиваться надо мной можно совершенно безопасно, хотя с вашей стороны и не совсем-то деликатно злоупотреблять этим без особенной надобности! — заметила ему хозяйка также серьезно.

— Помилуйте! сами же вы требовали сначала откровенности, а теперь всякий раз упрекаете меня за нее! — попытался оправдаться Андрей Александрович.

— Да, действительно, я люблю откровенность и желала ее, но серьезно хвалить человека, которого в первый раз видишь, ему же в глаза, хотя бы он и заслуживал этого, значит, по-моему, как будто покровительствовать ему тем, что вот, дескать, ценишь его, понимаешь!— отвечали Аргунову.

— Но ведь я просто сказал, что думал...— еще раз попытался он оправдаться.

— Надобно прежде доказать или надеяться на себя твердо, что мы всегда бываем одинаково откровенные, и тогда уже требовать, чтоб каждое наше слово считали за откровенное! — замечали ему по-прежнему.

Последнее замечание своей серьезностью испугало Андрея Александровича не на шутку. «Неужели она, в самом деле, рассердилась на меня?» — подумал он и пристально посмотрел на свою собеседницу: в ее спокойном лице, однако ж, не оказалось ни малейших следов чего-нибудь подобного; оно было, как и прежде, кротко, ясно, только без улыбки. «Чего бы ей стоило улыбнуться. Да так ведь не улыбнется, бестия, как нарочно!» — успокоил себя Аргунов, но заговорить все-таки не решился.

— Что же вы замолкли вдруг? — спросили у него, улыбнувшись. Молодая женщина словно угадала причину его замешательства.

— Мне показалось, что вы сердитесь...— тихо ответил он, потупляя глаза.

— Кто: я сержусь? на вас? Что вы это! И не думала! Вы только посмотрите на меня хорошенько: разве так сердятся! — И, говоря это, она еще раз улыбнулась ему так мило, что не осталось никакой возможности сомневаться в искренности его слов.

Андрей Александрович почувствовал себя не совсем ловко от этого маленького промаха.

— Вас, право, не скоро поймешь...— сказал он только.

— Да вам что же, скажите, непонятно-то во мне? Зачем вы сами делали вид, что как будто оправдываетесь, когда были или считали себя правым? И наконец, с чего вы взяли, что я на вас рассердилась непременно? Что я серьезно сказала? Но почему же мне не сказать серьезно того, что я серьезно подумала! Я ведь вам это заметила искренно, стало быть, отвечала откровенно, что же за откровенность, если с вашей стороны действительно такого было: а вы уж сейчас и заподозрили, что я непоследовательна, что я, может быть, говорю одно, а думаю совсем другое! Не знаю я, как вы понимаете искренность: может быть, мы с вами и в этом расходимся?

— Я понимаю ее совершенно так, как и вы, мне кажется...— сказал Аргунов.

— А! Если так, то я ее понимаю вот как: быть вполне искренним — значит, по-моему, откровенно говорить друг другу все, что думаешь и ни на что не обижаться из того, что услышишь... Так ли вы понимаете?

— Совершенно так,— согласился Андрей Александрович.— Ведь у кого надо поучиться логике — у вас! Вы просто необыкновенная женщина! — прибавил он пылко, не замечая в своей наивности, что попал этим замечанием из кулька в рогожку.

— Нет, вижу я, вы окончательно неисправимы,— рассмеялась она невольно.

Аргунов тоже засмеялся, хоть и сконфузился.

— Только не сердитесь, пожалуйста...— сказал он.

— Ну уж погодите! Скажу же я вам любезность, хоть и не говорю их никогда; но пусть это будет первый и последний комплимент мой: вы — великий мастер уклоняться от вопросов.

— Как так?

— От комплимента объяснений не требуется!

— Но я сейчас вам докажу, что я даже и не думал вовсе уклоняться от чего бы то ни было...

— От чего бы то ни было! Это-то уж слишком сильно сказано, мне кажется: давно ли вы уклонились от чаю? Уклонились и от предложения переобуться...

«Вот дернуло-то меня сказать! Ах, булавка!..» — запальчиво подумал Аргунов и скромно сказал:

— Докажу, по крайней мере, что не думал уклоняться от вопросов.

— Докажите.

— Хорошо-с. Позвольте мне начать именно с тех самых доказательств, которым вы так блистательно разъяснили и окончили ваш вопрос о независимости...

— Позвольте.

— Доказательства эти почти верны и даже, пожалуй, применимы к делу, но только в отношении мужчины, а никак уж для женщины!

— Ну, послушайте, нельзя вас поздравить с таким оборотом: вы, судя по нему, причисляете женщину к какой-то совершенно особой породе, а не человеческой!

— О нет, напротив, я отношу ее к лучшей части этой самой породы!

— Ладно уж вам, так действительно не скоро поймешь: человек считает женщину лучше мужчины и в то же время находит ее менее способной взяться за общее дело... удивительно, что за логика!

— Выслушайте меня, пожалуйста. Я вовсе не считаю ее неспособнее, но общественное положение женщины у нас таково, что оно заставляет ее временно казаться именно такой, другими словами, она не имеет средств, при этом положении, выказать свои способности наравне со способностями мужчины, оттого даже и самые эти способности постепенно слабеют.

— Я не буду спорить с вами, что положение женщины в нашем обществе весьма неопределенно, чтоб не сказать совершенно (не разб.), об этом уж и говорить нечего. Это нашло место даже в литературе! Но я вас покорнейше прошу поставить вопрос наш прямее,— отвечайте вы мне, ради бога, просто: согласны ли вы с тем, что всякая женщина, кто бы она ни была, в наше время и у нас может, как и мужчина, быть независимой, благодаря своему скромному труду и идти к задуманной цели, если она только положительно твердо и разумно этого захочет?

— Но, помилуйте! Многие ли из наших женщин захотят подвергнуться лишениям из-за независимости, за которую общество будет их же преследовать и, наконец, укажет им на дверь!

— Господи ты боже мой! — вспылила хозяйка,— да

оставьте вы, Христа ради, в покое всех этих ваших женщин, которые шелковые платья предпочтут независимости. Пусть они рабствуют! Пускай до конца рабствуют! Поделом таким женщинам! Я не о них говорю!

Аргунов не мог отвести глаз от своей вспылившей собеседницы: она была удивительно хороша в эту минуту.

— Следовательно, вы сами говорите об исключениях,— заметил он нарочно вяло, чтоб продолжить ее восхитительный пыл.

— Поймите же, ради бога, поймите, что тут говорится совсем не об исключениях каких-нибудь! — сказала она с особенным жаром, прикладывая правую руку к груди:— тут просто речь идет о такой женщине, которая захочет!

— Но ведь такая женщина и будет исключение,— сказал Андрей Александрович по-прежнему.

— Да с чего же, скажите, вы назовете ее исключением, если за ней не будет никаких особенных талантов, ничего, кроме сильной и твердой воли?

— Все равно: одна уж такая воля делает ее исключением.

— Да вздор же — не делает! Воля есть у каждого, и каждый может развить ее, как ему угодно; но не всякому дается исключительный талант, как бы он ни развивал свои способности!

— Пусть будет по-вашему, но я предложу вам только один вопрос.

— Предложите.

— Вы сказали, говоря о независимости, что достигнуть ее может всякая женщина, кто бы она ни была: стало быть, по-вашему выходит, что и простая, например, крестьянка тоже может быть независимой, если захочет?

— Само собой разумеется, что может. Что за странный такой вопрос!

— В таком случае, уж позвольте мне таки предложить вам и еще два вопроса в том же роде.

— Предлагайте.

— Вы на земле живете? — спросил Аргунов.

— На земле,— улыбнулась она.

— И не с неба упали? — спросил он снова, тоже улыбаясь.

— Нет, не с неба, кажется...

Опять они оба тихо засмеялись.

— Ну, так если вы действительно живете на земле и не с неба упали, то должны знать не меньше моего, что простая крестьянка не поймет даже и самого вашего слова: независимость! — сказал Андрей Александрович с улыбкой.

— Да ей и не нужно совсем понимать этого слова,— у ней найдется другое, лучшее, простейшее, которое она понимает, это — именно слово — воля!

Аргунов не мог удержаться и расхохотался самым ребяческим образом.

— Что же вас насмешило так? — спросили у него серьезно и без улыбки.

— Виноват! — ответил Андрей Александрович, стараясь всеми силами удержаться от смеху, который так и подступал к нему.— Да ведь простая крестьянка и этого простого слова не понимает так, как мы с вами его понимаем! — заключил он, овладев наконец собой.

— Вы смеетесь, между тем как сами совершенно не поняли того, что я сказала! — заметили ему с маленькой досадой,— а я сказала, кажется, очень ясно, что всякая женщина, кто бы она ни была, может быть независима, если разумно захочет этого... Скажите же вы мне теперь: разве может кто-нибудь разумно захотеть воли, не понимая ее истинного смысла? Вы, может быть, можете?!

«Сердитая какая, бестия!» — подумал Аргунов и сказал:

— Но растолкуйте мне, пожалуйста, кто же или что разовьет простую крестьянку до такого понимания?

— Это уже не наше с вами дело, а ее: мало ли что бывает в жизни!

— А все-таки, по-моему...— хотел было возразить Андрей Александрович.

Но в эту самую минуту вошла Русанова. Она принесла на подносе кастрюлю с горячей водой и откупоренной бутылкой лафиту и осторожно поставила все это на стол перед диванчиком или, вернее сказать, перед Аргуновым, которого она и поприветствовала еще раз:

— Здравствуйте, барин!

Аргунов поздоровался с ней рукой.

— Да! Ведь вы уж знакомы, кажется? — заметила ему вскользь хозяйка, указав глазами на Русанову и как-то особенно мило обрадовавшись их рукопожатию.— Что так долго, Маша? — обратилась она ласково к вошедшей.

— Извините, барыня,— начала было та.

Но хозяйка остановила ее нежным упреком, покачав головой:

— А помните, Маша, что я вам говорила на той неделе в среду?

Русанова заалелась как маков цвет.

— Простите уж меня на нонешний-то раз! Забыла! — сказала она покорно, но с достоинством своего рода.

— Ну, хорошо, так и быть, прощаю,— будто ради гостя! — рассмеялась хозяйка.— Принесите же вы нам теперь стаканчики, Маша! — попросила она.

Русанова вышла.

— Что это вы заметили ей про среду на той неделе? — спросил Аргунов у хозяйки, воспользовавшись этой минутой:— не секрет?

— Любопытный вы какой! Нет, не секрет. Я никак не могу приучить ее называть меня и всякого по имени и в ту среду прибегла к решительной мере, то есть объявила ей, что за каждую такую ошибку — не буду: во-первых, учить ее на другой день, а во-вторых, не стану говорить с ней целое утро: она ко мне так привыкла и так любит учиться, что это ей покажется очень тяжело.

— Так вы и ее учите?

— Да, уделяю ей каждый день полчаса времени.

— Чему же вы ее учите?

— Всему понемножку, как придется...

— И она делает успехи?

— Большие даже.

— А как она вас называет по своему-то?

— Вы слышали: «барыней» называет, а вас — «барином». Я, надо вам сказать, не могу слышать равнодушно этих названий!

— Скажите мне еще, пожалуйста, вы как узнали, что мы с ней уже знакомы?

— Да она мне сама рассказала про вашу встречу, как пришла; признаюсь даже вам: когда вы постучались и я с вами заговорила — я как-то сейчас догадалась, что вы именно тот самый и есть господин, который платит по рублю за перевоз в один конец,— улыбнулась лукаво хозяйка.

Андрей Александрович покраснел.

— У меня мелких не было,— сказал он.

— Зачем вы покраснели и как будто оправдываетесь? Неужели вам стыдно того, что вы добрый человек? — заметили ему ласково.

Аргунов промолчал; но в душе он погордился этой скромной похвалой, как никогда еще ничем не гордился.

— Я со всеми внимательна, но особенно внимательна с теми, кто хорош с моей Машей,— сказала молодая женщина, не дождавшись его ответа.

— Муж у нее такой молодец, что просто любо посмотреть: они мне ужасно понравились, как я переезжал сюда,— выразил свое мнение Андрей Александрович.

— Это у меня настоящие «Иван да Марья», воплощен-

ные русские «совет да любовь»! — прибавила от себя хозяйка: — оттого и весело на них смотреть, действительно. Я вам доставлю сегодня же случай познакомиться с ними покороче, если только, разумеется, вы не найдете это почему-нибудь неудобным для вас...

— Помилуйте! Я буду очень рад,— сказал Аргунов поспешно.

— Ну так и отлично! Так мы и сделаем, значит... Мне, послушайте, всегда бывает ужасно скучно быть одной, и потому очень часто я обедаю и ужинаю вместе с ними: сегодня я намерена попросить и вас разделить со мной эту маленькую привычку, хоть и знаю, что мне и вдвоем с вами не будет скучно поужинать; но... они еще прежде пригласили вас к себе на смятку, и потом... нельзя же опять отнять у них всего: вы ведь у меня — только по праву завоевания,— мило улыбнулась она.

Аргунов подумал, что ему было бы приятнее ужинать с ней вдвоем, но не решился ей в этом признаться и сказал только, что воображает, как это будет весело.

— Не особенно, но скучать вам не дадут. Я уже настолько хорошего о вас мнения, что и не спрашиваю: по сердцу ли вам простые, необразованные люди? — заметила хозяйка.

— Благодарю вас и надеюсь, что вам не придется переменить...

Русанова, вернувшаяся в эту минуту, помешала Андрею Александровичу докончить его церемонную фразу; она принесла две кружечки саксонского стекла, с ручками — одну побольше, другую поменьше.

— Отлично, Машенька! — сказала ей хозяйка, подвигая к Аргунову кружечки, поставленные на поднос возле кастрюли: — теперь вам остается только позаботиться о вашем ужине для нашего гостя: мы оба будем у вас сегодня ужинать.

НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР

Роман в шести частях

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

«Сердце губернии» замерло

В утро достопамятного дня, с которого начинается наш рассказ, правитель дел канцелярии земельского губернатора Николай Иванович Вилькин «сидел в так называемой правительской комнатке» и весело покуривал крученую папироску, распечатывая только что полученную петербургскую почту. Он, заметно, был в отличном расположении духа. Торопливо пробежав глазами газету, Николай Иванович медленно принялся за казенные пакеты; он стал распечатывать их в том порядке, как они лежали кучкой на столе. Первая бумага вызвала на его лице только кислую гримасу.

«Что за бестолковщина! По крайней мере раза три мы им писали об этом, объясняли... и опять то же самое! Народец!»

Вилькин взял другую бумагу.

«Это уж из рук вон!.. В пятый раз одну и ту же справку наводят... Тьфу!»

Он плюнул и с таким сердцем швырнул от себя несчастную посланницу Управы благочиния, что она, смиренно повертевшись на воздухе, едва не попала за шкаф с законами. Расположение духа правителя, очевидно, нарушится, и, верно, окончательно нарушилось бы, если б не третья бумага, по прочтении которой он даже улыбнулся, самолюбиво как-то.

«Молодцы же мы! отписались-таки...»

Вилькин потер себе руки и самодовольно потянулся на кресле. Четвертый пакет, так же как и третий, был за печатью министерства внутренних дел. Николай Иванович распечатывал его не торопясь.

«Должно быть, какое-нибудь грозное предупреждение», — подумал он, посмеиваясь.

Но бумага сама собой выпала у него из рук, как только он ее прочитал. Сперва Вилькин слегка побледнел, потом покраснел, сильно, потом еще раз побледнел, но уже как

полотно, и просидел в таком виде, не двигаясь ни одним мускулом, по крайней мере, с четверть часа; он будто замер на все это время в своем правительском кресле. Очнувшись, Николай Иванович судорожно позвонил...

Вошел сторож канцелярии.

— Позови ко мне скорее кого-нибудь из столоначальников... Матьвиевского позови!

— Слушаю, ваше высокоблагородие.

Сторож поспешно ушел, несколько испуганный встревоженным видом своего начальника. Через минуту явился Матьвиевский, молодой человек с умным и озабоченным лицом, в щегольском вицмундире, застегнутом на все пуговицы.

Вилькин приветливо кивнул ему головой.

— Вот что-с, батюшка: сию же минуту запечатайте здесь, при мне, в особый конверт, вот эту бумагу, возьмите на мой счет извозчика и отвезите ее к управляющему губернией... лично ему отдайте. Если не застанете дома, узнайте, где он, и туда свезите к нему... да, пожалуйста, поскорее. Я бы сам поехал, да... у меня голова болит...

Матьвиевский засуетился, сбегал к себе в стол за конвертом, принес свечу и сургуч, мигом, хотя и (не разб.), запечатал бумагу, ту самую министерскую бумагу, которая так убийственно подействовала за четверть часа до этого на его начальника, и хотел было уже идти.

Правитель пристально, хотя и тупо как-то следивший за работой столоначальника, остановил его на минуту:

— Погодите... Вот что еще-с: объявите в канцелярии от моего имени, что хотя управляющий губернией и освободил вас, по моей просьбе, от вечерних занятий, но сегодня вечером, с шести часов, я желаю видеть здесь всех налицо, каждого у своих занятий... понимаете?

— Понимаю-с,— столоначальник поклонился.

— Поторопитесь же, пожалуйста, да не забудьте...

— Не забуду-с,— Матьвиевский еще раз поклонился и торопливо вышел.

Оставшись один, Николай Иванович медленно уложил в свой портфель распечатанные бумаги и остальные, не вскрытые еще пакеты, запер его, положил в карман ключ, тяжело облокотился на стол, закрыл лицо руками и снова впал на некоторое время в какое-то бессознательное состояние.

— Что это вы, сердце нашей губернии,— никак все еще после вчерашнего бала отдыхаете?

Вилькин вздрогнул. Перед ним стоял и любезно протягивал ему руку, поглаживая другой пушистые усы, земельский

почтмейстер, армии подполковник Вахрушев. Он был в полной парадной форме. Правитель канцелярии с безотчетным недоумением поглядел сперва на его сильно напомаженный парик, потом на его немного солдатское лицо, на огромные рыжие бакенбарды, несколько испуганно даже смотрел глазами на подполковничью саблю — и машинально протянул ему руку.

— Охота вам так себя изнурять: в три часа вчера от меня уехали, в четыре, верно, заснули — уж, знаете, в канцелярии, уж за работой! — сказал подполковник, резко гремя своей саблей и бесцеремонно усаживаясь на парадное кресло.

Николай Иванович только взглянул на него еще раз и ничего не ответил.

— Что это вы: больны в самом деле? А я, знаете, сейчас только от генерала Столбова, с визитом у него был, да не застал: уехал к себе в деревню. Генеральша пригласила меня сегодня обедать к ней в сад; говорит, что она непременно хочет в саду сегодня обедать. Не могу понять, что за фантазия обедать в саду осенью! Поручила мне и вас тоже пригласить, то есть просто, знаете, взяла с меня честное слово, что я вас привезу. Скажите, говорит, сердцу нашей губернии, что у меня на днях превосходный херес из Петербурга получен...

Слова: «из Петербурга получен» точно укололи Вилькина. Он вскочил, схватил портфель и фуражку, отвернулся от крайне озадаченного этим почтмейстера, даже руку позабыл ему подать, сказал только чуть глухо как-то: — Извините... у меня стр-а-шно голова болит — и ушел.

Через канцелярию он прошел торопясь, слегка наклонив голову и не поднимая ни на кого глаза, весь позеленевший.

II

Отчего замерло «сердце губернии» и отчего именно оно — «сердце губернии»

Земельский губернатор, действительный статский советник Колоколов, вступивший в эту должность года четыре тому назад, был вызван, за месяц перед этим, особым официальным письмом министра в Петербург будто бы для личного разъяснения некоторых недоумений по крестьянскому вопросу. Слабодушный, слабонервный холостяк-старик, но добряк в высшей степени, он наскоро сдал губернию вице-губернатору и спокойно сел в свою дорожную карету вместе

с Вилькиным, провожавшим его до заставы, всю дорогу уверяя того, что после этой поездки в столицу, которая, вероятно, продолжится месяца полтора, не больше, они оба получат в награду... по крайней мере по годовому окладу жалованья. Только что проехали заставу, губернатор приказал остановиться; выпили в карете бутылку шампанского, обнялись, расцеловались,— и в эту трогательную минуту ни один человек в мире, кроме разве только самого правителя канцелярии, не заставил бы его превосходительство отказаться от приятной мысли, что его губерния — чуть ли не самая образцовая по своему управлению. А Вилькин-то уже отнюдь не желал разочаровывать его превосходительство, хотя, возвращаясь домой на своей пролетке, отлично хорошо знал, что губерния их не только не образцовая, но едва ли не самая запущенная.

Тем не менее Николай Иванович вовсе не прочь был помечтать на своих рессорных пролетках хотя бы и о годовом окладе жалованья, даже какой-то красивенький крестик зарябил у него перед глазами, когда он подъехал к каменному губернаторскому дому, где во дворе, в деревянном флигеле была и его собственная квартира, потому что, если он отлично хорошо знает, что губерния их запущена, то он также отлично хорошо знал и то, что и концы управления ею так глубоко запущены в воду, что их никакая там сенаторская ревизия без него не отыщет, только бы губернатора не переменили. Но ведь опять не переменит же ни с того ни с сего губернатора петербургское правительство, тем более, что еще недавно была получена от министра официальная благодарность за успешное взимание податей и пополнение трехлюдной недоимки.

Встречаются иногда на свете люди, наделенные от природы такой строгой логикой и такой способностью анализа, что они по возможности насквозь все видят и даже предвидят в жизни. Не могут только предвидеть они тех событий, которые, по-видимому, не поддаются никакой логике, никакому анализу; не могут они предвидеть бревна, которое как будто ни с того ни с сего упадет им на голову с крыши в ту самую минуту, как они будут проходить мимо и которое не упало же ведь тогда, когда другие точно такие же проходили мимо, да еще не одну сотню, не одну тысячу раз может быть. Вилькин принадлежал именно к числу таких людей и так же, как они, не мог предвидеть бревна, нежданно-негаданно свалившегося на него с последней петербургской почтой. Правда, бревно было очень легонькое: совершенно обыкновенный исписанный лист бумаги с министерским за-

головком и за подписью министра; но зато ведь этот смиренный лист бумаги, с такой убийственной для Вилькина краткостью и сжатостью, извещал управляющего губернией, что на место действительного статского советника Колоколова назначается гражданским губернатором в Земельск действительный же статский советник Павел Николаевич Арсеньев. В министерском послании это было сказано так просто, так ясно, обязательно, что над смыслом сказанного не задумался бы и пятилетний ребенок. Но для правителя дел канцелярии губернатора во всем этом стояла такая тьма, что даже у него самого потемнело в глазах от одного взгляда на него.

Вилькин был человек не совсем обыкновенный. Он кончил курс в Петербургском университете кандидатом юридического факультета. Через два года после выпуска, без всякой протекции, он был уже столоначальником в одном из департаментов министерства внутренних дел. Но Николай Иванович не был доволен ни собой, ни этой службой: его неутомимая, страстно-практическая натура требовала иной, более широкой, более самостоятельной деятельности. Он хотел добиться этого во что бы то ни стало, честным или нечестным путем — ему было все равно. Вилькин с неизменным практическим чутьем угадал и тут, что по своей неподатливой натуре он больше способен быть начальником, чем подчиненным. Когда старинный друг его отца Колоколов был назначен губернатором в Земельск, он всеми своими способностями ухватился за это обстоятельство, как за такое именно, которое скорее всего могло его подвинуть к цели. Колоколов взял его с собой на службу в качестве чиновника особых поручений. Начальник отделения, в котором он служил, надо сказать правду, не без сожаления расстался с таким дельным чиновником, как Вилькин, даже сам директор советовал ему остаться при министерстве. Но как это ни было лестно — Николай Иванович уехал. Чиновник особых поручений с необыкновенным в его лице искусством воспользовался близостью своих служебных отношений к новому начальнику. На первых порах он так ловко прикинулся безукоризненно честным, что его не больше как через год по приезде в Земельск губернатор определил на место смененного за слишком грубые взятки правителя своей канцелярии. На новом месте, которое почти законно давало Вилькину некоторые права — иметь свою долю влияния уже на целую губернию, он с изумительной ловкостью, дошедшей в последнее время почти до гениальности, опутывает губернатора мастерски скрытыми, но тем

не менее крепкими тенетами своего изворотливо-практического ума. Николай Иванович с неподражаемой ловкостью дал почувствовать губернатору, что только один он, Вилькин, может вполне понимать честные намерения его превосходительства и что все остальные чиновники только устами чтут его, сердце же далеко отринуто от него. И старик-добряк, наконец, совершенно беспрекословно вверился своему правителю; он даже только одному ему и верил, только его советов и слушал. А между тем Вилькин, этот красивый и изящный Вилькин, этот неподкупной честности человек, обделывал иногда, прикрываясь своей честностью, такое дельце в губернии, для которого, как говорится, и в Сибири места мало. Таким образом все, что делалось в губернии — делалось одним Вилькиным; губернатор управлял ею только номинально. Недаром прозвище, данное Вилькину местным остряком, губернским прокурором Падериным, так отлично и с одного разу привилось в обществе земельской аристократии: недаром о нем все отзывались так, что он — «сердце губернии». Даже недоступно-гордая мадам Матюнина, жена председателя казенной палаты, не хвалившая никогда никого, кроме себя, и только раз во всю жизнь похвалившая мужа за то, что он, застав ее в одном очень уж интимном положении вдвоем с близким ей человеком, ни о чем не догадался,— даже и эта дама, даже она в письмах к своей старшей, незамужней сестре, проучившейся в Петербурге в каком-то значительном женском учебном заведении, выражалась о Николае Ивановиче не иначе, как следующими словами: «Я, мадам Матюнина,— первая дама в губернии; а м-р Вилькин...— о! это человек чести, ума, вкуса, талантов... всего (не разб.), чего только ты хочешь. Одним словом, это — душа общества или, как здесь выражаются о нем по-чиновничьи — «сердце губернии». Действительно, в Вилькине оказывалась и первая из этих двух способностей: он был весьма находчив в обществе, острил иногда очень зло, но всегда с тактом, порядочно играл на фортепьянах и недурно пел. У него вообще была какая-то врожденная, почти инстинктивная способность нравиться одинаково мужчинам и женщинам. Короче, у него было дьявольское уменье поспевать всегда везде вовремя, в душу человеческую лазить, так сказать...

И как же было не замереть этому «сердцу губернии» в то достопамятное утро, которое двумя-тремя официальными строками почти разрушало все его планы или, по крайней мере, задавало ему такую мудреную задачу в близком будущем, что она пока не была даже в нем, в таком практи-

ческом жизненном математике, всю его веру в свои силы, всю надежду на свою громадную изворотливость? Человек почти до половины вывел задуманное им здание, потратил на прочное укрепление его огромный запас ловко замаскированной лжи, почти весь свой драматический талант,— и вот на пути к возведению нового яруса непредвиденно является какой-то несдвигаемый камень: какой-то пока еще безличный Павел Николаевич Арсеньев, даже звук просто, три неуничтожаемые слова — и здание надо оставить, надо начинать новое, искусно спрятавши прежнее! Хорошо еще, если этот камень окажется так мягок, что его, если не сдвинуть, так разбить можно; хорошо еще, если в личности этого пока еще безличного Павла Николаевича окажется такая щелочка, через которую ему можно будет влезть в душу этой личности — о, если бы нашлась такая щелочка!— он непременно влезет в нее, хорошо еще, если этот звук, эти три неуничтожаемые слова не оглушат его сразу... А если?..

Нечто вроде этого передумал Вилькин, сидя один у себя в кабинете по возвращении из канцелярии в день получения роковой министерской бумаги. Он заперся там до самого вечера, не обедал, чая не пил, не принял постучавшегося было к нему прокурора Падерина, его короткого приятеля, не заговорил с ним, сказал только сквозь закрытую дверь кабинета по обыкновению отрывисто:— Уйди, пожалуйста, не беспокой меня: у меня страшно голова болит! Он не принял даже и Матьвиевского, явившегося к правителю с докладом, что поручение его исполнено в точности. Лакей, докладывавший ему дважды о приходе этого последнего, добился от своего барина только одного, тоже отрывистого слова:

— Благодарю! — сказал Вилькин — и только.

А ведь этому человеку всего только двадцать девятый год шел, и он только седьмой год на службе был!

Ровно в восемь часов вечера дверь его кабинета наконец отворилась. Вилькин был бледен, но, по-видимому, совершенно спокоен.

Он пошел прямо в канцелярию.

III

Совершенно что-то непонятное для нас

Матьвиевский действительно исполнил в точности поручение своего начальника: канцелярия была в полном составе, когда вошел в нее Вилькин. Каждый был на своем месте,

каждый занимался. Правитель, всегда ласковый, всегда тактично-вежливый со своими подчиненными, был на этот раз приветливее обыкновенного. Он всем столоначальникам подал руку, у каждого стола останавливался на минуту, говорил какую-нибудь любезность, даже пристыл на стуле возле Матьвиевского, как будто поджидал, пока в правительскую комнату подадут свечи. Заметив, что казначей канцелярии, премилый седенький старичок, занимается при одной свече, он любезно сострил над ним, говоря, что если ему, казначею, так жаль другой свечки, то он, правитель, в видах сбережения такого драгоценного для всей канцелярии зрения строго-настрого прикажет сторожу, чтоб тот вперед всегда ставил ему по крайней мере четыре свечки. Канцелярия, и без того любившая своего ближайшего начальника за его (не разб.) вежливость и приветливость, хотя он строго иногда относился к неисполнительности, на этот раз была совершенно им очарована. Несколько лиц, недовольных было сначала тем, что их опять притянули к вечерним занятиям, теперь совершенно повеселели. Никто не обратил особенного внимания на бледность Вилькина, которые подумали только, что ведь у правителя еще и утром голова болела. Николай Иваныч бодро прошел в свою комнату, порылся там несколько минут в уголовных законах, отыскал какую-то статью, которая заставила его чуть не до крови прикусить губы — и снова вышел в канцелярию. Там кипела самая жаркая работа: перья скрипели на столах с каким-то особенным усердием. Вилькин остановился у стола Матьвиевского.

— Позвольте, господа, помешать вам на минуту,— сказал он, обращаясь ко всей канцелярии:— мне надо кое-что сообщить вам...

В одну минуту живая машина остановилась и перья затихли. Лица были любезно вытянуты.

— Все ли здесь? — спросил правитель у Матьвиевского, как бы собираясь с силами.

— Кажется, все...— отвечал тот, почтительно привставая.

— Сидите, сидите... Прежде всего, господа,— начал Вилькин и побледнел пуще прежнего:— поздравляю вас... с новым губернатором!

На всех лицах выразилось крайнее изумление, смешанное с каким-то неопределенным испугом.

— К нам — назначен — из Петербурга — Павел — Николаевич — Арсеньев...— продолжал отрывисто правитель, резко отделяя каждое слово.

Чиновники слушали его с напряженным вниманием.

— Не могу сказать вам, что это за личность: никогда не имел чести слышать о его превосходительстве...

В слегка дрожавшем голосе Вилькина звучала чуть заметная ирония. Заметив, что некоторые из подчиненных смотрят на него все еще несколько испуганно, он поспешил прибавить:

— Во всяком случае, надеюсь, нам с вами нечего бояться этой перемены: сколько я знаю, кажется, у нас все совершенно исправно...

Чиновники заметно ободрились.

— Николай Иваныч! — осмелился отозваться один из столоначальников, почтительно вставая с места: — когда приедет новый губернатор?

Вилькин пожал плечами.

— Право, не могу вам сказать, вероятно, скоро.

На одну минуту в канцелярии водворилось недоумевающее молчание.

— Теперь, господа, я буду вас покорнейше просить,— сказал правитель, возвысив голос,— заняться делами как можно усерднее. Хотя я и уверен вполне, что у нас все в порядке, за что с особенным удовольствием считаю долгом благодарить вас теперь же,— все-таки заняться нам непременно надо. Многие из вас служили здесь при двух губернаторах — и сами видели, как они налегают на первых порах прежде всего на свою канцелярию. Придется заниматься и по вечерам, по крайней мере хоть до девяти часов. Я сам охотнее буду работать вместе с вами. Правда, скучновато оно немного, да ведь что же делать-то, если уж так приходится. Ведь вот вы видите, я и сам с большим бы удовольствием провел сегодняшний вечер где-нибудь в обществе, нежели здесь, а между тем вряд ли мне не придется просидеть тут до самого свету. Главное, надо постараться, господа, как-нибудь, чтобы по приезде губернатора не осталось у нас на руках ни одной не исполненной бумаги. Чем скорее это сделаем, тем лучше, разумеется, и для вас и для меня. Наша общая польза этого требует. Отдохнуть мы еще потом успеем, да, может, к тому времени успеем получить и кое-какие награды. Стало быть, и отдыхать-то будем, как говорится, на лаврах...

Вилькин рассмеялся ласково.

— Затем, вполне надеюсь, что ни в ком из вас не встречу недостатка в усердии...— заключил он, сделав головой один общий поклон, особенно милый какой-то, дружеский.

После этого Николай Иванович оставался еще несколько

минут в канцелярии, шутил, любезничал со всеми и затем уже отправился в свою правительскую комнату, сказав мимоходом Матьвиевскому, впрочем, не оборачиваясь к нему:

— Пожалуйте-ка, Матвей Семеныч, за мной...

Матьвиевский пошел за ним следом. Вилькин сел в кресло, порылся у себя в портфеле, достал оттуда одну из полученных утром бумаг — подал ее столоначальнику и сказал с ласковой улыбочкой:

— Пожалуйста, просмотрите всю эту чепуху и ответьте им так, чтобы они в другой раз не обращались к нам за подобными справками...

Матьвиевский поклонился.

— Сегодня прикажете это написать?

— Н-нет, зачем... Завтра успеете.

Вилькин небрежно зевнул и посмотрел на часы.

— Сколько у вас? — спросил он рассеянно столоначальника.

Матьвиевский торопливо вынул свои часы.

— Десять минут десятого,— сказал он.

— Вот как! Значит, мои убежали вперед: у меня уж почти три четверти десятого. Потрудитесь, пожалуйста, милый (не разб.) Матьвиевский, сказать вашим товарищам, чтоб они без церемонии уходили домой, не задерживались бы мной: я здесь еще долго проработаю сегодня, если только не до утра даже... Да и вам самим уж пора отдохнуть, я вижу.

— Я останусь, если вам будет угодно?

— Н-нет, зачем же... Сделайте одолжение, уходите: я вас не задерживаю больше...

Столоначальник поклонился и хотел идти. Вилькин вдруг будто вспомнил что-то.

— Да! вот что еще, батюшка,— сказал он поспешно:— не в службу, а в дружбу — скажите там в канцелярии, чтоб столоначальники не уносили сегодня с собой ключей от шкафов с делами, и ваш ключ оставьте. Мне, может быть, понадобится какая-нибудь справка от дела, так уж я тут сам и распоряжусь, не беспокоя никого...

Вилькин слегка покраснел.

— Вы их сами запрете, как будете уходить, Николай Иванович? — заметил почтительно столоначальник:— сторожу нашему никак нельзя доверять...

— Что вы! Как можно! Я думаю вот что сделать: я, уходя, запру шкафы, спрячу ключи от них в мой стол, замкну его, а ключ от стола унесу с собой... Вы завтра приходите

пораньше на службу и зайдите ко мне за ключом... Если я буду спать еще — разбудите меня без церемонии... понимаете? не забудете?

— Понимаю-с, не забуду.

— Мне кажется, так всего лучше будет сделать, как вы думаете?

— Я думаю, что это будет совершенно надежно-с.

— Не может же быть, наконец, чтоб сторож, какой бы он ни был, осмелился слазить в мой стол, когда он замкнут, не правда ли?

Вилькин нервически рассмеялся.

— Помилуйте-с!..— Матьвиевский улыбнулся.

— Ну-с, так вот так, стало быть... Очень вам благодарен, спокойной вам ночи!

Николай Иваныч радушно протянул ему обе руки. Столоначальник ушел от него сияющий.

Оставшись один, Вилькин стал с настороженном прислушиваться к тому, что делается в канцелярии. Там в первую минуту все было тихо, только перья поскрипывали уже не так бойко, как за несколько времени перед этим. Потом мало-помалу стали раздаваться торопливые шаги, послышалось несколько сдержанных голосов, кто-то смеялся чему-то, должно быть, какой-нибудь плоской остроте товарища. Затем шаги сделались тише, голоса удалялись, где-то поминутно отворялась дверь со скрипом. Наконец совсем все затихло, Вилькин услыхал явственно, как в соседней комнате сторож гасил и уносил свечи со столов.

Он крикнул ему:

— Степан!

Сторож прибежал с подсвечником в руках без свечи.

— Васкоблагородие, вы кликали?

— Я. Принеси мне стакан холодной воды!

— Слушаю, васкоблагородие...

Сторож сходил и принес воду. Вилькин выпил стакан залпом.

— Можешь, любезнейший, спать себе теперь. Я сам разбужу тебя, как буду уходить, чтоб запереть за мной дверь. Мне надо здесь еще заняться...— сказал он сторожу.

— Слушаю, васкоблагородие.

— Ступай!

Сторож медленно вышел. Вилькин глубоко задумался, смотря ему вслед. В этом раздумьи он просидел по крайней мере полчаса, то бледнея, то краснея; встал потом, прошел через всю опустевшую канцелярию до самой передней, прислушался здесь, спит ли сторож, и вернулся... прямо

к шкафу Матьвиевского. Ключ от него торчал тут же, в дверцах. Шкаф был почти до потолка. Вилькин стол к нему подмостил да стул еще, долго что-то рылся в порядочной кучке пыльных дел на самой верхней полке, выбрал себе оттуда какое-то довольно новенькое тощее дело, спустился, привел все в прежний порядок, запер шкаф Матьвиевского, обошел все остальные и их потом запер, взял отобранное дело под мышку и унес в правительскую комнату. Здесь он прежде всего замкнул ключи от шкафов в свой стол — и сам заперся на ключ.

Вилькин не обманул своих подчиненных: он оставался, запершись, в правительской комнате до пяти часов утра. Что творило там «сердце губернии» в продолжении с лишком шести часов — этого пока мы понять не можем. Догадываемся, однако ж, что оно спрятало тайну этой ночи в самый темный уголок своего извилистого дна.

Сторож, светивший Вилькину на лестнице в то время, как тот уходил из канцелярии, заметил только, что у правителя из правого кармана брюк случайно высыпалось несколько очень мелких лоскутков исписанной старой бумаги да что в глазах у него было что-то нехорошее такое, а на лице — лица не было.

IV

Губернский город волнуется

На другой день после этих происшествий в девятом часу утра Матьвиевский, идя на службу, зашел предварительно в квартиру правителя канцелярии. Вилькин еще спал. Столоначальник разбудил его.

— А! — сказал правитель, потягиваясь,— это вы... Здравствуйте. Что скажете новенького?

— Приказывали вчера зайти за ключом, Николай Иваныч...

— Ах, да! в самом деле... Только куда же я его вчера положил? Посмотрите-ка, пожалуйста, у меня в вицмундире, в кармане; вон он на кресле. Нашли? тут?

— Нашел-с, здесь.

— Извините, батюшка,— сказал небрежно правитель, зевая:— я вас вчера напрасно только побеспокоил: ни один шкаф мне не понадобился... Во всяком случае, очень вам благодарен...

Столоначальник откланялся и ушел.

В этот же самый день губернский город Земельск еще с утра стал обнаруживать какое-то не совсем обыкновенное для него движение. Чиновники особенно торопливо шли на службу; по главной улице то и дело проезжали разнохарактерные жеребцы крупной рысью; полицмейстер Вахрушев раз десять по крайней мере как угорелый промчался по ней взад-вперед на своей пожарной паре; великосветские губернские барыни, не покушавшиеся до этого времени выезжать раньше двенадцати часов, теперь, несмотря на то, что не было еще почти и одиннадцати, делали уже какие-то суетливые визиты друг к другу; даже мадам Матюнина удостоила на этот раз некоторых счастливцев из земельских смертных узреть божественные красоты ее (не разб.) раньше обычного. В особенности это последнее обстоятельство слишком очевидно свидетельствовало, что губернский город сильно взволновало что-то. А взволновала его, само собой разумеется, все та же министерская весть о безличном пока еще Павле Николаевиче Арсеньеве. Зоркий столичный наблюдатель провинциальных нравов мог бы в этот день по одним только лицам губернских чиновников, смотря по тому, были ли они темны или светлы, вытянуты или спокойны, составить себе приблизительно безошибочное понятие о степени честности каждого из них. Кто был чище на руку, у того, разумеется, и лицо было светлее; разве только один Вилькин поставил бы столичного наблюдателя в некоторое затруднение: лицо правителя канцелярии было как будто завешено чем-то, ничего не разберешь.

Весть о назначении нового губернатора, распространившаяся по городу почти с быстротою электрического тока, весьма различно подействовала на его почтенных граждан. Спокойнее других принял ее управляющий губернией, старичок вице-губернатор, Алексей Петрович Тихомиров. Прочитав еще накануне присланную к нему Вилькиным министерскую бумагу, он только вздохнул над ней раз, как бы размышляя о прочности всего земного, а затем, как всегда, не торопясь стал собираться в губернское правление. Тихомиров был в своем роде честнейший и добрейший человек, но до такой степени слабый по характеру, что тот же остряк, губернский прокурор Падерин, чрезвычайно метко окрестил его «бабушкой». Во всю свою многолетнюю службу Алексей Петрович не взял ни одной взятки, мухи, как говорится, с намерением не изобидел, но за то в его управлении губернией или в его непосредственном ведомстве, т. е. в губернском правлении, ловкий чиновник мог смело пользоваться незаконными поборами и обижать кого угодно. Ти-

хомиров был, так сказать, сановник не от мира сего: он, верно, и во всем хотел видеть только одну светлую сторону, как будто другой, темной, не существовало вовсе на свете. Являлась, например, к нему какая-нибудь старушка-мещанка с жалобой на притеснения частного пристава,— вице-губернатор ангельски терпеливо ее выслушивал, негодовал даже на частного за его незаконные поступки с нею, сочувственно повторял во все продолжение ее слезливого рассказа:

— Н-да... как же можно притеснять... круглую сироту притеснять... н-да... Это безбожно... н-да... Притеснять никого не следует... Я этого не терплю... н-да!

Успокоивши по возможности старуху, он немедленно посылал за безбожным частным приставом. Тот, как водится, сейчас же являлся, низко кланялся, выслушивал негодующие речи начальника и, выждав удобную паузу, представлял, разумеется, все дела в том свете, какой был для него более выгоден, уверяя его высокородие, что просительница известна всему городу по своим беспрестанным ложным (не разб.) на начальство, что она не хочет исполнять его законных требований, будто бы нагрубила даже самому полицмейстеру, и проч., и проч., и проч. Вице-губернатор и его также ангельски терпеливо выслушивал — и ему также сочувствовал во все время фальшивого рассказа:

— Н-да... за что же грубить... чиновнику... при отправлении его обязанностей грубить... н-да... законы надобно исполнять... Я этого не потерплю... н-да!

На другое утро старуха опять являлась. Вице-губернатор горячо напускался на нее за ложный визит, трогательно упрекал в грубости, говорил, что грубить никому не следует, что он этого не потерпит, и отсылал старуху домой ни с чем или, убедившись снова в справедливости ее просьбы, опять посылал за частным приставом, опять горячо распекал его, а дело все-таки кончалось (не разб.) смешной кукольной комедией, ни в пользу старухи, ни в ущерб интересам полиции. Впрочем, при хорошем губернаторе Тихомиров, руководимый им во всем, по своей неподкупной честности, мог быть очень полезен на своем месте.

Перейдем теперь к другим чиновным лицам. Некоторые из них, как губернский прокурор, например, приняли роковую министерскую весть как-то двусмысленно, не то спокойно, не то тревожно. Падерин, которого встретил на улице Матюнин, бесцеремонно прозванный им за глаза «матюхой» ради его нравственной мужиковатости, ответил

на поздравление председателя казенной (не разб.) «с новым губернатором», по обыкновению, остротой:

— Поверьте мне, многоуважаемый Гаврила Павлыч,— сказал он с чуть заметным раздражением в голосе: — «ничто не ново под луной...».

Но у Гаврилы Павлыча эта острота, при настоящем обстоятельстве, даже и улыбки на лице не вызвала, хотя во всякое другое время он наверно не пропустил бы ее без смеха. За Матюниным, как говорили злые языки, водился, между прочим, один очень скандалезный грешок. Желая как можно больше извлечь выгод из своей службы, он никому не давал никакого места даром, хотя бы даже это было место помощника столоначальника, а с другой стороны, чтобы не обижать чиновников и чтоб они не вздумали с ним торговаться, назначил у себя в казенной палате раз навсегда — таксу. Чиновник его ведомства, аккуратно каждый год уплачивающий председателю по этой таксе, был уверен, что продержится на своем месте, если не до окончания века, то во всяком случае до конца службы Матюнина в председательской должности. Такса эта имела в городе огромную популярность, и нет ничего мудреного, что Гаврила Павлыч не без тревоги узнал о назначении нового губернатора, хотя непосредственно и не был подчинен ему: всякое случается... Но особенно надо было видеть в этот день полицмейстера: армии подполковник просто был сам не свой. Он с самого утра неистово гремел саблей, как угорелая кошка раз по десяти совался на глаза то своим ближайшим подчиненным, то начальству, то частным влиятельным лицам в губернии; к генеральше Столбовой заезжал по крайней мере четыре раза, а жену частного пристава второй, самой доходной части города — ту так он просто чуть с ног не сшиб, встретившись с ней в полутемных сенях квартиры частного. Подъезжая к общей городской управе, Вахрушев как-то особенно неприязненно кисло посмотрел на старую, недавно надломленную сильным ветром березу, которую пока еще не успели срубить и которая теперь, качаясь от осеннего ветра, жалобно скрипела, будто причитала, кланяясь армии подполковнику:

«Так и так, дескать, ваше высокоблагородие... Стояла я на сем месте, росла ровно тридцать лет и три года; видела я на своем веку и пережила шестерых губернаторов; да вот, видно, не пережить мне седьмого: надломил меня злобный вихрь буйный... Ох, знать, смерть моя пришла, смерть пришла — последний час!»

Полицмейстер даже плю[illegible] мимо березы, и тут

же отдал приказание квартальному срубить ее немедленно: «потому-де, что она только портит (не разб.) вид общей городской управы, а пользы-де от нее никакой, как от козла — ни молока, ни шерсти». С полдня полицейские солдаты шныряли по всему городу, требуя, по приказанию полицмейстера, от домохозяев, чтобы они распорядились как можно поскорее и как можно чище вымести улицу, выполоть траву около тротуаров и проч. Вообще, в этот и на другой день, особливо по присутственным местам, в губернском городе все мылось и чистилось. Но как ни суетился полицмейстер, все-таки гораздо больше всех, после Вилькина, разумеется, был встревожен только что возвратившийся в это утро старший чиновник особых поручений при губернаторе Александр Александрыч Малюга. Он как только узнал в чем дело, так сейчас же и (не разб.), бледный как ясень, даже не переменив дорожного платья, к Вилькину в канцелярию. Александр Александрыч вошел туда в таком расстроенном виде, что чиновники даже переглянулись.

— Николай Иванович здесь? — задыхаясь спросил он у кого-то из них.

— Давно́ уже-с,— ответили ему.

Малюга чуть не бегом прошел в правительскую комнату. Вилькин был весь погружен в дела, которых лежала перед ним огромная куча.

— Что это вы, как будто с пожару откуда-нибудь? — сказал с неудовольствием правитель, пристально взглянув на неожиданного посетителя, и нехотя подал ему руку.

Старый чиновник особых поручений несколько минут переводил дух.

— Хуже всякого пожару! — проговорил он наконец.— Успокойте меня, ради бога, Николай Иваныч: скажите, правда ли, я слышал, не врут ли, что будто прежний губернатор наш сменен, а на его место назначен кто-то другой?..

— Совершенно правда-с...— ответил правитель с убийственной холодностью.

Малюга потерялся.

— Кто же назначен к нам? — спросил он с лихорадочной дрожью, не замечая, как странно его принимают.

— Действительный — статский — советник — Павел — Николаевич — Арсеньев-с...— с тою же убийственной холодностью пояснил правитель.

Малюга позеленел пуще прежнего.

— Но, Николай Иваныч... как же это?.. что же это?

Правитель плечами пожал.

— Право, я не понимаю, о чем вы говорите...

— Да новый-то губернатор... что это такое?

— Как что-с? Очень просто: назначен — министром...

— Извините, я еще не могу опомниться от этой проклятой новости...

— Говорите, пожалуйста, тише: ведь вы не у меня в квартире! — довольно строго заметил Николай Иваныч старшему чиновнику особых поручений.

Малюга от удивления понизил голос.

— Николай Иваныч... но... что же мы с вами будем теперь делать?..— спросил он, разводя руками,— что нам делать, скажите?

— Как что-с? Я думаю, как всегда, будем заниматься каждый своим делом...— обрезал его правитель.

— Да ведь не до шуток теперь нам с вами: ведь это, значит, умирать заживо приходится! — заметил Александр Александрыч жалобно.

— Не знаю-с, как вы, а я не имею к этому ни малейшей наклонности...— сказал Вилькин с холодной насмешкой.

— Да что же это наконец такое? Вы меня дурачите, кажется, что ли, Николай Иваныч? — заговорил Малюга, начиная терять всякое терпение от такого неслыханного равнодушия правителя к общим их интересам.

— Я ничего решительно не хочу-с, кроме того, чтоб вы оставили меня поскорее в покое-с с вашими пустыми вопросами: я стр-а-шно занят-с в настоящую минуту.

Малюга вспыхнул.

— Как пустыми вопросами? Какими пустыми вопросами? Наше общее дело, в котором мы оба с вами замешаны,— по-вашему, пустые вопросы? Что вы это, Николай Иваныч! Что с вами? в уме ли вы?

— Я уже имел честь заявить вам-с, что со мной ничего ровно не случилось. Кроме того, что я занят страшно, а что с вами делается — это не мое дело-с. Оставьте меня, прошу вас, в покое: мне некогда-с...

— Но ведь мы оба замешаны...

— Я ни во что не замешан-с, уверяю вас...

Малюга еще больше вспыхнул и вытянулся во весь свой высокий рост.

— Да ведь это уже с вашей стороны... наглость! — сказал он, весь дрожа:— ведь это, я вам скажу, подл...

Вилькин так быстро вскочил с кресла, что даже не дал ему закончить фразу. Он тоже во весь рост выпрямился.

— Извольте сейчас выйти вон, господин Малюга! — сказал правитель звонко:— иначе я вас прикажу сторожу вывести.

Старший чиновник особых поручений не на шутку струсил: он Вилькина хорошо знал.

— Надеюсь еще с вами встретиться не один раз! — сказал Малюга, весь дрожа от злости, низко поклонился и вышел.

— Вон, мальчишка! — сквозь зубы проговорил ему вслед побледневший Вилькин.

Несколько минут он просидел неподвижно, как бы сверяясь с мыслями, потом подошел к двери в канцелярию и звонко, отчетливо позвал:

— Г. Матьвиевский! Пожалуйте ко мне...

Столоначальник в ту же минуту явился.

— Потрудитесь довести до сведения гг. столоначальников,— сказал ему правитель чрезвычайно серьезно:— если г. чиновник особых поручений Малюга будет просить у когонибудь из них какое бы то ни было дело для справок, хотя бы даже под его расписку, пусть они ни под каким видом не исполнят его просьбы без моего личного дозволения. Если случай такой представится, пусть потрудится прежде доложить мне-с. Слышите?

— Слышу-с.

— Я имею весьма серьезные причины не доверять г. Малюге. Сейчас только что он мне сделал здесь маленькую сцену такого рода, что я не могу, хотя бы и желал, не считать его чиновником подозрительным. Это между нами-с, разумеется. Да вы, может быть, и сами кое-что слышали оттуда, из канцелярии: он так громко говорил?

— Нет-с, у нас ничего не было слышно.

— Я имею весьма серьезные причины на это распоряжение... понимаете?

— Совершенно понимаю-с.

— Так сделайте же одолжение, передайте там...

Столоначальник поклонился и хотел идти. Правитель остановил его рукой.

— Постойте, батюшка,— на один вопрос... Ну, как у нас дела, подвигаются?

— Работа просто кипит-с, Николай Иваныч. Послезавтра, я думаю-с, ни одной бумаги ни у кого на руках не останется-с.

— Я, право, не знаю, как мне вас благодарить, милый мой (не разб.) Матьвиевский: вы у меня просто правая рука. За это пока вот вам — мои обе...

Правитель протянул столоначальнику обе руки. Матьвиевский и на этот раз ушел от него сияющий.

Вилькин опять весь погрузился в дело. Но в эту самую

минуту, когда весь город лихорадочно волновался, передавал впопыхах из уст в уста министерскую новость, мог какой-нибудь сердцевед (не разб.) заглянуть в душу правителя и в то же время взглянуть на него самого, как всегда изящный, спокойно, даже с легкой насмешкой на губах занимающийся своими делами,— такой сердцевед невольно остановился бы перед ним и надолго задумался бы над полезным характером этого странного человека.

Но вряд ли бы Вилькин позволил кому-нибудь в эту минуту заглянуть в свою душу...

V

Вечер у мадам Матюниной

Прошло дня три. В это время губернский город успел освоиться мало-помалу с мыслью о назначении нового губернатора и толковал об этом уже довольно спокойно, теша свое воображение всевозможными и по большей части нелепыми догадками о человеке, которого в глаза никогда не видели. Павла Николаевича Арсеньева почему-то ожидали в Земельск не раньше, как недели через две.

Была пятница — приемный день у мадам Матюниной. В этот вечер у нее в маленькой гостиной собралось немногочисленное, но зато самое избранное и короткое общество. Несмотря на это, однако ж, общий разговор как-то не клеился... Сама хозяйка, полулежа на подушке дивана, разодетая «небесно-невинно»,— как выразился о ней потихоньку бывший тут же Падерин своей хорошенькой соседке, дочери председателя уголовной полиции, м-ль Снарской,— томно передавала полулежавшей с ней рядом на диване генеральше Столбовой свои сладкие воспоминания о Петербурге вообще и об итальянской опере в особенности. Армии подполковник Вахрушев играл в шахматы с управляющим губернией, поминутно делая самые непростительные ошибки, так что вице-губернатор, страстный игрок, несколько раз уже выходил из себя, не прощая ему ни одного промаха. Вице-губернаторша, очень молодая и очень ограниченного ума дама, с жаром доказывала прокурорше, также очень молодой еще, но тем не менее весьма развитой женщине, что так называемая «эмансипация», право, не поведет ни к чему хорошему, что и без нее, без этой что-то уж очень мудреной «эмансипации», как она выразилась, честная женщина, строго исполняющая свои обязанности, всегда будет совер-

шенно счастлива, и что, наконец, все эти вопиющие семейные сцены, которые так любят описывать современные литераторы,— чистая выдумка — читать иногда совестно. Вице-губернаторша, очевидно, разделяла розовый взгляд на вещи своего почтенного супруга. Падерина спорила с ней слегка, как обыкновенно спорят, когда не надеются, чтобы нас когда-нибудь поняли. Хозяин в уголку толковал вполголоса со стариком Снарским о каком-то весьма запутанном уголовном деле. В отдалении от всех молча курил сигару доктор медицины из евреев (не разб.) Васильевич Ангерман — бледный и серьезный молодой человек — брюнет, красавец собой, с лицом в высшей степени благородным и симпатичным, так что хорошему человеку нельзя было не полюбить эту личность с первого взгляда. Ангерман кончил свое образование в Дерптском университете, постоянно следил за наукой, выписывал множество книг, ездил на два года за границу, теперь весьма справедливо считался по искусству первым доктором в губернии, будучи в то же время и инспектором врачебной управы. Он был утомлен и (не разб.) оставался еще в этой гостиной только из приличия.

Маленький Коля Матюнин весело возился на ковре у его ног с левряшкой.

Был час десятый в исходе. Общество решительно не знало, чем прогнать налезавшую на него смертельную скуку. М-ль Снарская попыталась было что-то спеть с Падериным у рояля, но это не удалось им обоим: ибо, как оказалось, были не в голосе. Вице-губернатор, осторожно зевнув раза четыре, объявил Вахрушеву, что играет с ним последнюю партию. Генеральша Столбова стала ни с того ни с сего жаловаться хозяйке на внезапную головную боль и надеялась, что не будет на нее в претензии, если она так скоро оставит такое приличное общество. Словом, опустение гостиной предстояло неминуемо. Вдруг в передней раздался звонок.

— Н-да... Кто бы это мог быть... н-да? — сказал машинально управляющий губернией, осторожно отступая конем.

— О, это непременно м-р Вилькин! — заметила хозяйка, оживляясь:— держу пари, что он...

— И я тоже,— подтвердила генеральша Столбова.

В самом деле, в гостиную (не разб.) вошел Вилькин. Мы бы его не узнали теперь сразу. Николай Иваныч смотрел таким бойким светским человеком, таким веселым, что просто чудо. На лице его не было не только той озабоченности, какую, особенно в последнее время, привыкли видеть на нем в канцелярии его подчиненные, даже будто легкий румянец

играл у него на щеках. Избранное общество м-м Матюниной напустилось на Вилькина разом, как рыба на червячка: его просто закидали вопросами.

— Что так поздно, Николай Иваныч? — говорила томно хозяйка.

— Что нового, Николай Иваныч? — спрашивала Столбова, у которой, как видно было, внезапная головная боль прошла.

— Николай Иваныч, вы нас совсем забыли... Не грех ли вам (не разб.),— закричала м-ль Снарская звонко: — (не разб.) взялся...

— Николай Иваныч в последнее время даже как будто похудел от усиленной работы...— замечал в свою очередь ее папенька, отрываясь от интересного разговора с Матюниным.

— Безбожно так нескромно вести себя, Николай Иваныч! — уверяла вице-губернаторша.

— Н-да... это безбожно... н-да...— сказал весь занятый шахматами судья.

«Клюет»,— подумал Падерин, потому что вдруг почему-то пришло в голову это сравнение.

Очевидно, общество несколько стеснялось в присутствии управляющего губернией правителя канцелярии «сердцем губернии». Вилькин едва успевал отвечать на все эти вопросы, на замечания, дружески здороваясь со всеми. Он, заметно было, чувствовал себя здесь как дома, даже с вице-губернатором поздоровался очень фамильярно, только Ангерман раскланялся с ним, по обыкновению, молча и холодно-вежливо.

— Решительно ничего-с нового,— заговорил наконец было правитель, покойно располагаясь в порожнем кресле.— Ах, виноват-с, впрочем: есть одна маленькая новость... Говорить не ручаюсь, однако ж я сам не был — что вчера, после представления Мангаупа, наш достолюбезный градоначальник торговал у него пресловутую бутылку, ту самую, из которой явится какое угодно вино по требованию почтеннейшей публики; дорого заломил, бестия Мангауп, так и не сошлись, а все еще, говорят, продолжают торговаться.

Вилькин звонко засмеялся, лукаво поглядев на полицмейстера. Тот слегка покраснел от этой неожиданной выходки. Общество громко хохотало. Дело в том, что армии подполковник смертельно любил горячительные напитки и редкий день не был пьян к вечеру.

«Странный этот господин Вилькин! — подумал (не разб.), вглядываясь в него, Ангерман: — смеется, острит, как не

бывало; а ведь я думаю, на душе у этого господина черт знает что теперь происходит... Вот они наши, неведомые миру, Наполеончики III-и!»

В эту самую минуту в передней опять раздался звонок. Кто-то позвонил отрывисто и нетерпеливо. Гости в недоумении переглянулись. По удивленному лицу хозяйки заметно было, что она никого не ждала больше.

— Г. полицмейстера спрашивают,— доложил лакей, суетливо появляясь в дверях передней.

— Н-да... Кто же спрашивает... н-да...— полюбопытствовал управляющий губернией, недовольный, что у него отнимают противника в самый интересный момент сражения.

— Полицейский солдат-с говорит, что губернатор приехал-с!

Общество так и остолбенело от изумления. Даже никто, кроме Ангермана, не заметил, как покоробило на одно мгновение Вилькина от этой внезапной вести. Вахрушев первый опомнился и так быстро и неловко вскочил со стула, что чуть не поставил верх дном шахматной доски: шашки так и покатились по ней, толкаясь и разговаривая... Схватив фуражку, он, как-то особенно выразительно посмотрев на всех и не простившись ни с кем, опрометью кинулся в переднюю. Падерин торопливо вышел за ним.

— Приезжайте оттуда сюда,— сказал губернский прокурор полицмейстеру, догнав его уже у подъезда:— вы нам расскажете...

Вахрушев только головой мотнул и помчался во всю прыть к Московской заставе.

Вилькин тоже было приподнялся с места. С полминуты он, казалось, колебался, раздумывая: не поехать ли и ему с полицмейстером? Потом гордо обвел глазами гостиную и остался.

— Градоначальник-то наш бедный как струсил! — детски-звонко расхохотался правитель, лукаво подмигнув говорившему в эту минуту Падерину.— Я даже побледнел было за него, как он с места-то воспрянул: так вот, думаю, и раскроит себе где-нибудь в дверях лоб...

— А вы, Николай Иваныч, так ус хлаблый! — наивно заметил Вилькину Коля Матюнин, весело карабкаясь к нему на колени.

— Разумеется,— ответил правитель, слегка покраснев, засмеялся и потрепал Колю несколько раз по щеке.

— Н-да!..— произнес протяжно и как-то особенно торжественно вице-губернатор, тяжело поднимаясь с места.

Он сейчас же после этого стал собираться домой, дружелюбно простился со всеми и уехал, сославшись на бессонницу прошедшей ночи и пообещав жене прислать за ней через полчаса карету. Вслед за Тихомировым откланялся и Ангерман, которого, по-видимому, очень мало занимал нечаянный приезд нового губернатора. С отъездом их общество мадам Матюниной стало как будто легче, разговор тотчас же перешел на известную всем занимавшую в эту минуту тему, и предположениям и догадкам конца не было. Вилькин управлял этим живым оркестром, как самый ловкий капельмейстер; тем не менее во всем, что здесь говорилось, не было и сотой доли правды: прозорливость на этот раз положительно изменила правителю, хоть он и не отступил ни на минуту от своей роли — столько же равнодушного и остроумного собеседника. Большинство желало не ранее как через час удовлетворить свое крайнее любопытство, но не прошло и четверти часа, как вернулся подполковник Вахрушев. Он был смущен, растерян и рассержен до последней крайности. Никогда не (не разб.) и не устававший даже во время самой суетливой беготни пожара, полицмейстер на этот раз был почти весь мокрый от пота и едва переводил дух, как будто его там, у Московской заставы, закутали в дюжину енотовых шуб, с которыми он и добежал без отдыха до подъезда Матюниных.

— Ну, как? Ну, что? Что это за личность? — посыпались на него со всех сторон вопросы.

— Рассказывайте же скорее, а то простынет...— сострил Падерин.

Бывший подполковник только отпыхивался на всех, как кипящий самовар, и поминутно утирал себе платком лоб.

— Это черт знает что такое! я вам скажу...— выговорил он наконец, приходя в себя и садясь на кресло: — это не губернатор, а просто... мальчишка какой-то...

— Что вы??

— Неужели?

— Ей-богу! Представьте... Я подъехал как раз к тому времени, как переправили его тарантас...

— Разве он в тарантасе, а не в карете? — перебила генеральша Столбова.

Но Вахрушев не нашелся ничего ей ответить на это.

— Смотрю,— продолжал он: — сидят рядом две моloденькие рожицы — одну от другой не отличишь скоро; только вся и разница в том, что у одного крошечные черные бакенбарды, а у другого совершенно голо,— извольте различить, который тут губернатор!..

— Ну, и что же? — спросил Вилькин расхохотавшись.

— Да что же! нечего делать, думаю, подойду наудачу к бакенбардам: подошел, отрекомендовался и отрапортовал. Действительно, оказалось, что с бакенбардами — губернатор. Сперва он, знаете, и показался было мне так себе, ничего, как и следует: поклонился вежливо и руку мне подал.— Очень рад, говорит, с вами познакомиться, г. полицмейстер, и очень вам благодарен за вашу любезную предупредительность...— А потом и хватил:— не имею, говорит, только права в настоящую минуту принять от вас рапорта, так как не вступил еще в должность...— Каков гусь?

— Вот осел-то, должно быть...— заметил вскользь Вилькин, весело потирая себе руки.

— Потрудитесь, говорит, дать мне полицейского солдата, чтобы он указал мне мою квартиру.— Я говорю: я сам провожу ваше превосходительство.— О, нет! — говорит,— зачем же вам беспокоиться напрасно, когда это может сделать так же хорошо и один из ваших полицейских солдат.— Я, знаете, заметил было ему, разумеется, из приличия больше: это, говорю, не такой труд, ваше превосходительство... уж позвольте мне самому проводить вас.— У вас, говорит, г. полицмейстер, и без меня не мало обязанностей, и потому я еще раз вас попрошу дать мне только солдата.— Ну, что же мне, скажите, было делать после этого! Не насильно же провожать его! Посадить к нему своего казака на козлы: если, думаю, это общество тебе больше нравится, так это уж твое дело, а не мое...

— Так и расстались? — насмешливо спросила госпожа Матюнина.

— Нет, знаете, я все-таки спросил для виду: не будет ли, говорю, каких приказаний, ваше превосходительство? — Сегодня, говорит, никаких-с; завтра — может быть. Я уже вам сказал, говорит, что пока не имею на это и права; во всяком случае, говорит, прошу вас не беспокоиться — не являться ко мне покуда: вам будет дано знать в свое время.— И уехал. Каков губернатор, а? Я вам говорю: молокосос просто!

— В самом деле, он очень молод? — спросила Матюнина, кокетливо щурясь.

— Как вам сказать? По-моему, ей-богу, ему еще и тридцати пяти нету...

— Ну, это вам на старости лет так показалось...— снова сострил Падерин.

— Да уверяю же вас,— с жаром возразил подполковник:— я еще ни разу ни одного губернатора не видал таким

мальчишкой; я уж, слава богу, не мало-мальски их видал в разное время.

— Что он, недурен собой? — снова спросила хозяйка, еще кокетливее прищуриваясь.

— Да так себе, смазливенький...

— Непременно на той неделе даю для него бал,— сказала генеральша Столбова.

«Как бы мне это устроить прежде тебя?» — подумала мадам Матюнина, но не сказала почему-то этого вслух, а только возразила:

— Стоит ли еще...

— Что же это за господин с ним приехал, не знаете? — спросил Вилькин.

— Возможно, привез с собой служить какого-нибудь маменькиного сынка, а впрочем — не знаю.

— Может быть, это просто его камердинер, а вы его со страху за чиновника приняли?..— сострил еще раз губернский прокурор. Вахрушев покраснел.

— Ну вот еще: камердинер с кокардой! — сказал он, закуривая папироску.

— Бывает-с,— подтвердил Вилькин, трепля его по плечу.

— Да что вы толкуете, Николай Иваныч! — вспылил немножко армии подполковник:— когда прислуга прибыла сейчас же вслед за ним в отдельном экипаже; вероятно, повар, лакей и горничная.

— Как горничная? — Разве он женат? — Где же сама-то губернаторша? — Может быть, она в Петербурге осталась или за границей? — заговорили дамы все разом.

— Все может статься с человеком...— смеясь, заметил Падерин.

— Не думаю, чтоб он был женат,— сказал Вахрушев, делая кислую гримасу:— в его годы порядочные люди в Петербурге не женятся; а впрочем — на лице не написано,— заключил он, пожимая плечами.

— А горничная что значит? Или какая там с ним женщина приехала? — спросила генеральша Столбова.

— Это экономка, должно быть,— сообразил старик Снарский, имевший непреодолимую наклонность к экономкам вообще.

— Нет ничего мудреного, что и горничная...— сказал со сладенькой улыбкой Матюнин, имевший, в свою очередь, большое расположение к горничным своей супруги.

— Фи! Горничная у холостого человека!— сгримасничала хозяйка.

— Бывает-с и это...— успокоил Вилькин дамское любопытство.

— Его превосходительство, может быть, любит, чтоб ему на ночь пятки чесали...— сострил в последний раз в этот вечер Падерин.

— Не в тех еще он летах...— смеясь, поддержал его Вахрушев.

Мужчины бесцеремонно расхохотались; дамы улыбались только, слегка покраснев. В эту минуту доложили, что казак, провожавший губернатора, спрашивает г. полицмейстера. Вахрушев было вскочил.

— Позови его сюда!— распорядилась хозяйка, обращаясь к докладывавшему лакею.

Через минуту вошел казак. Сему храброму воину, вероятно, очень редко случалось бывать в изящной, ярко освещенной лампами гостиной и особенно объясняться с таким обществом, где, по его мнению, все, не исключая и дам, были «высшим начальством»: он, бедный, так разметался на паркете, что, не в силах будучи отыскать сразу глазами свое «ближайшее начальство», водил только носом во все стороны, как будто надеялся в эту минуту только на одно обоняние.

— Ну, что? проводил?— обрадовал его Вахрушев своим басом.

— Проводил,васкородие.

— Куда же ты его проводил?— спросила мадам Матюнина.

— До крыльца, васкородие.

— А не знаешь, какая с ним приехала женщина?— полюбопытствовала Столбова.

— Горнишная, васкородие.

— Горничная?

— Точно так-с, васкородие.

— Ну, а этот, что с губернатором вместе сидел — не знаешь, кто такой?— вставила свое словечко мадмуазель Снарская.

— Не могу знать, васкородие.

— Ничего не приказывал?— спросил Вахрушев.

— Никак нет-с, васкородие.

— Как же ты, братец, не узнал...

— Старался, васкородие: не сказывают.

— Кто не сказывает?

— Енаральский камельдинер, васкородие.

— А что, как тебе показалось — сердитый новый губернатор?— спросила Падерина.

— Никак нет-с,васкородие: полтинник на водку пожаловали.

— Как?! Дал полтинник?

— Точно так-с, васкородие.

— Сам дал?

— Своими руками, васкородие.

— Ты взял? — спросил Вахрушев, нахмурясь.

— Не брал, васкородие: приказали.

— Что ж говорит?

— Выпей, говорят, васкородие, за мое здоровье.

— Я вам говорил, господа, что... мальчишка, — хотел было сказать в горячности армии подполковник, но вспомнил о казаке и невольно прикусил язык.

— А жандарм там? — спросил он только.

— Поставлен, васкородие. Отпустили: до завтрева, сказали, не надо.

— Хорошо, ступай.

Короткие официальные ответы казака произвели почему-то весьма дурное впечатление на Вилькина, между тем как остальное общество, в том числе и сам Вахрушев, осталось ими почти довольно; так что, когда гости мадам Матюниной, исчерпав до конца насущную тему, стали сейчас же после ужина разъезжаться домой, — правитель канцелярии, садясь на свою пролетку, заметил вскользь армии подполковнику, как будто шутя, но тем не менее чрезвычайно колко:

— А вы у нас, однако ж, плохой градоначальник: не знаете, кто к вам в город въезжает! — Пошел!

И не сказал больше ни слова; закутался и уехал.

VI

Глава губернии и «сердце губернии»

На другой день утром, в одиннадцать часов, Вилькин отправился представляться новому губернатору. Жандарм доложил ему в передней, что его превосходительство «давно уже встали». Войдя в приемную залу, Николай Иваныч сразу заметил у окна «тощую фигурку среднего роста в коротенькой визитке», как рассказывал он в тот же день за обедом остряку Падерину. «Фигурка стояла к нему спиной и внимательно записывала что-то в памятную книжку, не замечая его прихода. Правитель принял ее за того «маменькиного сынка», которого, по вчерашней догадке полицмейстера,

«привез с собой служить» новый губернатор. Постояв минут пять в простом ожидании, Николай Иваныч самым утонченным образом обратился к «фигурке»:

— Позвольте узнать... извините... могу я видеть его превосходительство?

«Фигурка» быстро обернулась и, увидав перед собой изящного чиновника во всей форме, слегка поклонилась и тихо выговорила:

— Я губернатор. Что вам угодно?

«Тебя, действительно, надо сказываться, что никак не примешь за губернатора»,— с досадою мелькнуло в голове правителя,— и он отрекомендовался.

— Ах, извините и меня... я еще не одет. Прошу покорно в мой кабинет пожаловать: я сию минуту...— сказал губернатор светски-любезно.

Он быстро прошел через кабинет в уборную. Николай Иваныч остался в кабинете. Воспользуемся отсутствием его превосходительства, чтоб сказать два слова о его наружности. Вилькин был не совсем прав в своем мгновенном приговоре. Павел Николаевич Арсеньев хоть был, точно, немного сухощав, но зато вся фигура его была изящна; и хотя, действительно, в его лице не замечалось никакого «губернаторства», тем не менее это бледное и умное лицо с выразительными темными глазами было чрезвычайно строго и солидно. К этому серьезному лицу очень хорошо шли небольшие черные бакенбарды, замеченные вчера полицмейстером и не усмотренные сегодня правителем при входе; они так близко сходились у подбородка, что с первого взгляда можно было подумать, что новый губернатор носит бороду. Как бы то ни было, Вахрушев был отчасти прав, сказав, что для губернатора он еще очень молод: ему было, точно, только тридцать два года, непривычному глазу он казался и еще моложе; но (не разб.) знаток человеческого лица, привыкший читать в выражении глаз и в улыбке, невольно сказал бы, что его превосходительство по жизненной опытности гораздо старше своих лет.

— Очень рад познакомиться с вами, г. Вилькин,— сказал губернатор, входя в вицмундире и здороваясь с правителем рукой.— Садитесь, пожалуйста,— добавил он и с безукоризненной вежливостью придвинул ему кресло.

«Тонкая, должно быть, ты штука!» — подумал Вилькин, развязно садясь.

— Ваще превосходительство, вероятно, изволите очень устать с дороги?— спросил он вкрадчиво.

— О, ничуть! Я не избалован на этот счет; но я не предполагал сегодня видеть у себя кого-нибудь...

— В таком случае извините и позвольте мне в другой раз иметь честь...— сказал Вилькин и хотел встать.

Губернатор любезно его удержал.

— Сидите, сделайте одолжение,— сказал он, предлагая Николаю Иванычу папироску из своего портсигара, закуривая другую.— Я сам виноват, что забыл вчера и сегодня распорядиться об этом. Скажите, как вы находите здешнее общество?

Сатирическому уму Вилькина предстояла отличная пища: никто лучше его не мог бы обрисовать земельское общество: но приготовившись еще с вечера к тому, что новый губернатор с первого слова заговорит с ним о делах, правитель канцелярии не был расположен в настоящую минуту к какому бы то ни было постороннему разговору. Такое начало порядочно озадачило его, хотя и весьма приятно.

— Наше общество, ваше превосходительство,— сказал он только:— не представляет, по моему личному мнению, исключения из других губернских обществ.

— Однако ж?— настаивал небрежно губернатор.

Вилькин сейчас же смекнул, что отделаться после этого общими местами будет не совсем ловко, и слегка обрисовал тот избранный кружок, в котором постоянно вращался сам. Надо отдать справедливость Николаю Иванычу. Он сделал это мастерски, как великий художник, который, не желая лишить вас полностью наслаждения картиной и желая в то же время хоть сколько-нибудь познакомить вас с ней, набрасывает вам на лоскутке бумаги хотя и смело, но только намеком ее главные черты. Некоторые из них были подмечены так тонко и верно, что, слушая правителя своей канцелярии, губернатор не мог удержаться несколько раз от невольной улыбки. Разговор поддерживался таким образом, по крайней мере, минут десять, а о делах не было и помину; так что другой, на манер Вилькина, мог бы уже и забыть в это время, у кого он сидит: только когда Николай Иваныч совершенно закончил свой мастерский очерк, губернатор спросил его, и то как будто мимоходом, как спрашивают иногда о какой-нибудь не очень важной вещи:

— Скажите, пожалуйста: губерния сильно запущена?

Правитель очнулся в ту же минуту, но, как говорится, не моргнул ни одним глазом.

— Сколько я знаю, ваше превосходительство,— напротив...— ответил он не торопясь.

— Однако ж,— продолжал губернатор спокойно:— министр очень недоволен прежним губернатором.

— По крайней мере — у нас еще очень недавно-с получена официальная благодарность его высокопревосходительства,— заметил Вилькин невозмутимо.

— За что-с?

— Трех (не разб.) недоимка была пополнена-с.

— Да, но это ничего не значит...

— Может быть, ваше превосходительство, на мнение его высокопревосходительства влияли какие-нибудь ложные слухи...

— Вы думаете?

— Тем более, ваше превосходительство, что здешний предводитель дворянства находился в постоянной оппозиции к бывшему губернатору.

Губернатор подумал с минуту.

— Во всяком случае, министр имел, вероятно, очень серьезные основания, если удалил его от должности,— сказал он, пристально смотря на Вилькина.

— Может быть, ваше превосходительство, эти основания не касались целой губернии...

— Вы хотите сказать, что главную роль играло здесь злоупотребление *одного* лица?— быстро спросил губернатор.

Правитель скромно промолчал.

— Стало быть, вы полагаете,— спросил снова губернатор,— мне незачем особенно торопиться на ревизию?

— Мне кажется, ваше превосходительство.

Губернатор встал.

— Не смею вас удерживать дольше...— сказал он с изящностью и любезностью Вилькину, который встал вслед за ним.

— Угодно будет вашему превосходительству сделать теперь же какие-нибудь распоряжения по канцелярии?— спросил самым почтительным тоном Николай Иваныч.

— Да. Во-первых, я попрошу вас, г. правитель, распорядиться приготовить мне немедленно бумагу о моем вступлении в должность, чтоб завтра с утра я уже мог воспользоваться ее силой. Потрудитесь прислать мне ее подписать... хоть через два часа, если не успеете раньше. Во-вторых, я буду просить вас не делать мне пока общего доклада: я желаю прежде всего ознакомиться немного с (не разб.) сослуживцами по канцелярии, и потому вместо вас пусть на время сами столоначальники докладывают мне сведения, каждый по своему столу отдельно.

Вилькин поклонился. «Не терпится с непривычки!» — подумал он насмешливо.

— Кажется, все,— сказал губернатор, подумав.

— Когда угодно будет вашему превосходительству назначить прием остальных чиновников города?— спросил правитель еще почтительнее.

— Завтра, в час, я весь к их услугам, чиновники могут не стеснять себя мундиром, если это им будет угодно.

И губернатор вежливо раскланялся с Вилькиным. В передней Николай Иванович встретился с Тихомировым, о котором пошли уже докладывать.

«Премиленький мальчик!» — успел только шепнуть ему на ухо правитель.

— Н-да... и прекрасно!— ответил ему так же тихо старый добряк, покашливая.

Вилькин прошел в канцелярию. Все заметили, что он был в отличном расположении духа. Действительно, правитель был доволен на первый раз «тощей фигуркой».

В этот же день губернатор приехал запросто к вице-губернатору, просидел у него весь вечер и положительно обворожил изящной простотой своего обращения хозяина и хозяйку.

VII

Первый доклад у нового губернатора

Не легко маленькому чиновнику являться в первый раз на глаза к новому начальническому лицу, особенно когда это новое лицо — сам губернатор. Не легко было это сделать и Матьвиевскому, когда на третий день приезда его превосходительства пришлось ему первому нести к подписанию два-три (не разб.) доклада в одиннадцать часов утра. Позаимствовавшись кое-какими светскими манерами у своего образца и непосредственного начальника, молоденький столоначальник начал живее чувствовать всю их недостаточность в настоящую минуту. Робко вошел он в приемную залу и еще больше сробел, когда красивый камердинер — в щегольском фраке и белом галстуке отправился доложить о нем его превосходительству. С тоской смотря ему вслед, Матвей Семеныч невольно подумал, что этот господин одет не хуже самого правителя. Павел Николаевич не заставил дожидаться себя, и через минуту Матьвиевского учтиво попросили пройти в его кабинет. Губернатор сидел за столом, внимательно

перелистывая какую-то книгу. При входе столоначальника его превосходительство вежливо встал.

— Из моей канцелярии? — спросил он с ласковой улыбкой.

— Точно так-с, ваше превосходительство.

Голос Матьвиевского слегка дрожал, но губернатор заметил это сразу.

— Очень рад с вами познакомиться, — сказал он ободрительно Матьвиевскому и протянул ему руку. — Садитесь, пожалуйста.

Столоначальник стоял в нерешимости.

— Присядьте же, сделайте одолжение... — повторил губернатор, принимая от него одной рукой бумаги, а другой придвигая ему кресло, как сделал это вчера и Вилькину: — а я между тем прочту вам это.

Павел Николаевич указал глазами на бумаги и закурил папироску. Озадаченный чиновник присел на самый кончик кресла, больше для виду. Губернатор снова поместился у стола и с полным вниманием принялся за чтение. Прочтя первую бумагу, он мельком взглянул на Матьвиевского, который в эту минуту с таким смущенным видом смотрел в пол, как будто у одной из ножек его кресла была бездонная пропасть.

— Что вы не курите? — спросил его вдруг губернатор. — Вот папиросы.

И его превосходительство манерно подвинул к столоначальнику ящик с папиросами. Матьвиевский так растерялся от этой неожиданности, что даже забыл и поблагодарить, как требовало приличие. Столоначальник не знал, что и подумать: никогда еще он не был принят по службе так просто даже и у правителя канцелярии. Папироску, однако ж, он взял, но как-то нерешительно повертел ее в слегка дрожащих руках: ему все казалось, что это ни больше ни меньше, какая-нибудь тонкая ловушка со стороны его превосходительства. Зоркий губернатор как-то ухитрился подметить и это.

— Вот здесь огонь, — сказал он с едва заметной улыбкой и подал Матьвиевскому спички.

Матвей Семеныч на этот раз закурил папироску.

«Какой славный табак!» — подумал он через минуту, освоившись немного со своим положением и даже любуясь им мысленно.

Губернатор прочел между тем доклады. Отложив их в сторону, он сделал столоначальнику несколько необходимых вопросов, на которые тот отвечал ему хоть и очень робко,

но совершенно толково. Павел Николаевич остался им доволен: подписал все три доклада.

— Вы сами составляли это?— спросил его превосходительство, возвращая Матьвиевскому бумаги.

— Сам-с, ваше превосходительство.

— У вас все довольно прилежно, но я попросил бы вас... на будущее быть несколько покороче. Старайтесь, пожалуйста, всеми силами избегать многословия и придерживайтесь, по возможности, ближе обыкновенного разговорного языка в таких случаях, когда закон не требует особенной формы выражений. Главное, чтобы самая суть дела была как можно очевиднее. В этом вся мудрость хорошего доклада. Это, впрочем, не такой недостаток, чтобы вы не могли с ним скоро справиться: у вас, кажется, очень хорошие способности?

Столоначальник (не разб.) поклонился.

— Давно вы служите?

— Уж третий год-с, ваше превосходительство.

— О, как еще недавно!— сказал губернатор.— А где вы кончили курс?— спросил он, помолчав.

— В здешней гимназии-с, ваше превосходительство.

— А в университет не пожелали?

— Средств не было-с у отца, ваше превосходительство.

— А! Это другое дело... А вам самому хотелось?

— Очень-с.

Губернатор на минуту задумался.

— Где же теперь ваш отец?— спросил он внимательно.— Служит где-нибудь?

— Никак нет-с, ваше превосходительство: помер в прошлом году-с.

— Кто же у вас есть еще из родных? Мать?

— Мать-с, четверо братьев, две сестры, ваше превосходительство.

Губернатор сделался еще внимательнее.

— Велики ваши братья?

— Трое в гимназии учатся, а четвертый совсем еще маленький-с.

Губернатор помолчал.

— Вы, может быть, один поддерживаете все семейство?— спросил он через минуту.

— Сестра тоже помогает-с: шьет-с...

— Сколько же вы получаете в месяц здесь, у меня?

— Двадцать восемь рублей-с, ваше превосходительство, с копейками-с...

— Это очень немного для такого семейства,— сказал задумчиво губернатор.— Скажите, где вы живете? ваш адрес! — спросил он, вынув из кармана записную книжку, когда столоначальник назвал улицу, прибавив, что они живут в своем собственном доме, его превосходительство что-то записал для себя на память.

В эту минуту его камердинер принес на подносе завтрак. Матьвиевский стал раскланиваться.

— Не хотите ли позавтракать со мной немножко? — остановил его губернатор.

Столоначальник решительно не знал, что ему отвечать на такую любезность; он только переминался.

— Съешьте, пожалуйста, без церемоний что-нибудь...— сказал его превосходительство, наливая из графина коньяк в две крошечные рюмки.

Матвей Семеныч очень неловко приступил к подносу и так же неловко проглотил маленький кусочек телятины.

— Возьмите лучше вот это — прочнее...— сказал губернатор, заметив его затруднение, и положил ему отдельно на тарелку порядочную штуку превосходного бифштекса.— Что же вы ничего не выпьете?— прибавил он:— разве вы не пьете водки?

Матьвиевский не солгал,— сказал, что пьет.

— Так выпейте же, пожалуйста,— сказал губернатор.— У меня, с приезда, вам не мешает выпить одну маленькую рюмку,— пошутил его превосходительство, видя, что столоначальник все еще колеблется.

Матвей Семеныч торопливо выпил и даже осмелился выговорить:

— Желаю вам здоровья-с, ваше превосходительство!

— Самое главное,— заметил губернатор с улыбкой и поблагодарил его.

Матьвиевский был только очень скромен и застенчив, в сущности же он был далеко не глупый молодой человек. Он очень хорошо начинал понимать теперь, что новый губернатор вовсе не (не разб.) какой-нибудь, а просто — хороший, славный человек. Матвей Семеныч поспешил доесть свой бифштекс и начал снова раскланиваться.

— Желаю вам здоровья! — простился с ним губернатор рукой.— Скажите, кстати, от меня всем вашим товарищам: если кто из них будет иметь ко мне какую-нибудь нужду — я во всякое время готов их выслушать и быть им полезным, чем могу.

Губернатор поклонился, и Матьвиевский вышел, встре-

тясь в дверях с камердинером, который докладывал о приехавшем с рапортом полицмейстере.

— Попросите подождать минуту: я сейчас выйду,— сказал губернатор камердинеру, торопливо оканчивая свой завтрак.

Часто уходил Матьвиевский сияющим от правителя канцелярии, но никогда еще он не уходил даже и от него в таком восторженном состоянии, в каком вышел в это утро от нового губернатора. Если бы у признательного столоначальника не было множества дел на руках, он наверно отпраздновал бы этот день, как свои именины. Эту счастливую восторженность донес он вполне на своем сияющем лице до самой канцелярии, где буквально все товарищи обступили его с жадными расспросами. Матвей Семеныч с радостью и впопыхах описал им свой доклад, описал его фотографически верно, не пропустил ни одной мелочи, ни одного слова из разговора; но положительно никто в целой канцелярии не хотел поверить, чтоб губернатор мог так мило и ласково принять простого столоначальника.

VIII

Речь его превосходительства

Ровно в час пополудни большая зала губернаторского дома наполнилась чиновниками, съехавшимися сюда со всех концов города. Каждое ведомство нашло себе здесь особенное место. На первом плане, налево, помещались члены губернского правления, большею частью старцы, во главе которых стоял старейший из них — сам вице-губернатор. Почти рядом с ним красовалась под предводительством Матюнина казенная палата в лицах самых разнообразных (не разб.) и весьма подозрительной наружности. Тут же предводительствовал и старик Снарский палатой уголовных дел, члены которой, действительно, напоминали собой нечто уголовное. В той же линии, только направо, приютились государственные имущества рядом с врачебной управой, в составе которой, однако ж, не видно было почему-то серьезно-умного лица доктора Ангермана, ее инспектора. Губернский прокурор и два губернских (стряпчих) представляли здесь из себя остроумную пирамиду, ибо оба стряпчие отличались прежде всего своими (не разб.) способностями, а уж о знаменитом остряке Падерине и говорить нечего. Полиция ухитрилась поместиться как-то особнячком, с боку,— не то на первом,

не то на втором плане; так что полицмейстер, например, держался на первом плане, а остальные члены — три частных пристава, два пристава — один следственных, другой уголовных дел, секретарь управы, брандмейстер и шесть квартальных надзирателей — на втором. У последнего, впрочем, никогда и в обыкновении не было являться в таких торжественных случаях к губернаторам; но новый губернатор еще утром, при рапорте, выразил полицмейстеру, что он желает видеть полицию по возможности в полном ее составе. Представители местного «благочиния и порядка перещеголяли своими беспорядочными физиономиями все это многолюдное общество; некоторые из этих физиономий были таковы, что при взгляде на них всякая мысль о благочинии и порядке вылетала совершенно из головы. Если у этих господ и было что-нибудь порядочное, то разве только одна амуниция. Затем второй план, то есть задние ряды, пополнялись остальными, более мелкими ведомствами, между которыми строительная и дорожная комиссия забилась, по обыкновению, в самую трущобу. Отсутствие в зале жандармского полковника объяснялось тем, что он еще утром успел побывать у губернатора. Предводитель дворянства чувствовал себя в этот день нездоровым и намерен был представиться с документами его превосходительству особо.

Во всей зале царствовало глубокое молчание. Лишь изредка кто-нибудь и то из самых представительных чиновников шепотом перекидывался с соседом двумя-тремя незначащими словами. Второстепенные лица позволяли себе только кашлять и сморкаться, да и то не очень громко. О мелкоте уже и толковать было нечего: она в этом зале положительно проглотила аршин. Один только изящный, как всегда, Вилькин позволял себе иногда нарушать эту убийственную тишину, подходя к губернскому прокурору и разговаривая с ним вполголоса. Далеко не спокойные чувства, испытываемые в эту минуту всей этой служащей толпой, были столько же разнородны, как и самые лица: на каждую физиономию приходилось здесь по совершенно особенному выражению; общего было у них — одна только тревога. Все, не исключая никого и несмотря на предупреждение Вилькина, были в мундирах.

В четверть второго вышел губернатор. Его превосходительство был во фраке, в ленте и со звездой. На минуту он как бы смутился, видя перед собой такую густую коллекцию сияющих золотым и серебряным литьем воротников, но тотчас же оправился и обвел все собрание орлиным взглядом.

— Здравствуйте, господа! Очень рад вас всех видеть... —

сказал губернатор, сделав общий глубоковежливый поклон.

Чиновники поклонились ему почти в пояс.

— Господа! — начал его превосходительство и ступил два шага вперед. — Вступая в управление вверенной мне губернией, я считаю первым долгом выразить вам мою задушевную надежду, что каждый из вас более или менее понимает требования нашего времени, по возможности сочувствует им, без этого сочувствия, без этой надежды тяжелая обязанность, принятая мною на себя, была бы мне не под силу: я бы принужден был ограничиться только законными распоряжениями, которые, как мертвая буква, не вносят в общество никаких живых элементов. Многие из вас служат не год, не два, не десять лет даже, и я очень хорошо понимаю, как трудно им будет отрешиться от некоторых служебных привычек, вошедших уже, может быть, иным в плоть и кровь. Но и вы, господа, в свою очередь, должны понять также, что общество не обязано терпеть нравственных убытков из-за неспособности одной какой-либо личности. Весь современный прогресс заключается именно в этом разумном понимании отношения отдельной личности к целому обществу. Старое дерево срубается иногда вовсе не потому, чтоб оно, в строгом смысле, было ни к чему не годно, но потому, что оно задерживает собой соки молодых побегов, на которые больше всего рассчитывает хороший (не разб.) садовник. Я хочу этим сказать, господа, что и устаревшее воззрение большинства из вас на гражданскую службу будет всячески преследуемо мною вовсе не потому, что эта служба даже и в настоящем своем виде не приносила законной пользы, но единственно потому, что в таком виде она значительно задерживает рост будущих административных сил нашего отечества. Настоящее правительство очень хорошо понимает это и стремится к искоренению прежнего зла всеми зависящими от него средствами. Надеюсь, господа, что между вами не найдется ни одного, кто не захотел бы оправдать наконец то доверие, которым почтило его это правительство и кто не постарался бы загладить своим будущим поведением того прошлого, которое служило, может быть, только в ущерб его ближайшим интересам. Наконец, ваша собственная польза, господа, требует этого. Что же касается лично меня, господа, то предупреждаю вас, что во всех тех случаях, когда я буду неловко поставлен вами в положение выбора между моим прямым долгом и сохранением моих личных отношений к кому-либо из вас, — колебаться я не буду ни одной минуты: последнее всегда проиграет наверно. За это я вам ручаюсь.

Губернатор остановился на минуту, чтоб утереть себе платком лоб. Лицо его горело воодушевлением: видно было, что он не сочиняет свою речь, но что она является у него прямо из сердца. Его превосходительство говорил очень тихо, но каждое его слово, врезываясь свинцом в память чиновников, отчетливо слышалось в зале, где была такая тишина в это время, что (не разб.) можно было принять (не разб.).

«Тощая фигурка» значительно выросла в эту минуту даже в глазах Вилькина, который, слушая, бледный как полотно, не проронил из этой речи ни единого слова.

— Настоящую мою обязанность, господа,— продолжал губернатор, подумав с минуту,— я принимаю на себя только еще в первый раз. Легко может быть, что на первых порах я буду иногда ошибаться, тем более, что служу сравнительно еще очень недавно. Это, мне кажется, даже и неизбежно на первый раз. В таком случае всякий дельный совет, веское разумное слово вовремя, от кого бы я ни имел чести услышать их, будут всегда приняты мною с истинной благодарностью. Для этого двери моей квартиры во всякое время дня, а в исключительных случаях даже и во всякое время ночи, будут отворены настежь к вашим услугам. По каким-либо возникшим служебным недоумениям также прошу обращаться ко мне лично. На всякого честно исполняющего свои обязанности чиновника, как бы незначителен он ни был, я не привык и не могу привыкнуть смотреть иначе, как на своего товарища по службе, как на такого же простого работника, каков я и сам. Но я в то же время не могу и не буду смотреть как на товарища на того из вас, кто не захочет помогать мне: я буду постоянно видеть в нем врага, который мешает моему и общему делу. Со своей стороны я всеми силами постараюсь выполнять эти обязанности, которые налагает на меня в отношении вас мое настоящее положение. Многим из вас может показаться с непривычки, что я еще слишком молод для него; но будьте уверены, господа, что я сумею понять и отличить каждого из окружающих меня, сообразно его достоинствам. Прошу вас поверить мне пока на слово. Во всяком случае, могу поручиться вам за то, что я буду постоянно ходатайствовать у г. министра за тех, кто, по крайнему моему разумению, заслужит лестное внимание от его высокопревосходительства: честный чиновник, как и всякий честный труженик, должен быть всегда обеспечен; иначе работа его не имела бы того живого и разумного смысла, который один служит источником удовольствия во всяком серьезном труде, в чью бы пользу он ни клонился. Надеюсь, господа, что вы все совер-

шенно поняли меня и что нам не придется ссориться. Больше, господа, я не имею пока ничего особенного сказать вам.

Губернатор еще раз глубоковежливо поклонился собранию.

Чиновники молчали, не шелохнувшись. Короткая речь его превосходительства произвела на них сильное и вместе с тем какое-то странное впечатление. На иных она повеяла чем-то отрадным, освежающим; другим она показалась торжественной панихидой, наводящей на душу неотразимое уныние. Вице-губернатор был тронут ею до слез. Вилькин казался еще бледнее.

Дав пройти первому впечатлению, губернатор вмешался в толпу. Он обошел все кружки, останавливаясь на несколько минут у каждого, знакомясь и разговаривая с чиновниками. Для каждого нашлось у него милое, приветливое слово. Никто не услышал ни одной колкости, не уловил ни одного косого взгляда, как это обыкновенно бывало при перемене губернатора. И он это сделал как-то так хорошо, что различие между вице-губернатором, например, и квартальным надзирателем — на время совершенно исчезло; к последнему он относился еще приветливее и внимательнее, чем к первому. Тем не менее не много лиц просияло в толпе чиновников в эти минуты; зато те, которые просияли — сделали это совершенно искренно, без участия всякой задней мысли. Поговорив с полчаса времени со всеми, его превосходительство сделал несколько шагов по направлению к кабинету, обернулся, поклонился всем с ласковой улыбкой и распустил собрание следующими словами:

— Повторяю еще раз, господа; очень рад вас всех видеть... Жалею, что на этот раз не могу уделить вам больше времени: мне надобно постараться догнать вас; да, вероятно, у вас самих найдется еще дело сегодня... Желаю вам здоровья, господа!

Подумав немного, он прибавил:

— Полицию прошу на минуту остаться...

Затем его превосходительство еще раз поклонился и быстро ушел в свой кабинет. При этом на полицейских лицах выразилось нечто такое, как будто губернатор сказал:

«А вас, господа, я должен еще высечь!»

Собрание сейчас же после этого начало расходиться; но уже гораздо более шумно, чем оно пожаловало сюда: иногда слышался даже неясный говор.

«Умные речи приятно и слушать»,— сказал Падерин Вилькину в самых дверях. Губернский прокурор хотел этим,

по обыкновению, сострить, но на самом деле сказал только совершенную правду, как подумалось даже и ничего не ответившему на это правителю.

Через пять минут зала совершенно опустела. Одна только полиция стояла здесь горемычной сиротой, уныло опустив долу свои забубенные головы. Губернатор вышел к ней почти тотчас же, как опустела приемная зала.

— Вас, господа, — сказал торопливо его превосходительство, — я удержал для того, чтобы сказать вам особо несколько слов, по моему мнению, необходимых... Полиция по самому своему назначению чаще всего сталкивается с обществом и его интересами. Во всяком образованном государстве она по этому назначению должна пользоваться полным уважением как самого общества, так и каждого члена этого общества порознь; потому общественное мнение и относится к ней гораздо строже и требовательнее, нежели ко всем другим рабам службы и служебных обязанностей. Здесь больше, нежели где-нибудь, требуется безукоризненность, честность, вежливость и расторопность. Особенно, господа, *вежливость* — запомните это хорошенько. Невежливый полицейский чиновник всегда и везде представляет собой ненормальное, уродливое явление; это все равно, что человек, имеющий голову, но не умеющий думать. Вежливым следует быть одинаково с каждым, кто бы он ни был, как бы низко он ни стоял на общественной лестнице и при каких бы обстоятельствах ни встречалась с ним полиция. Это правило — (не разб.). Потрудитесь, господа, всеми силами внушить его каждому из ваших подчиненных. О честности я уже не говорю. Кто не имеет этого качества или не надеется приобрести его с этой минуты, тот пусть приготовится вперед не служить со мной. Ни один чиновник в городе не может спать спокойно, если он не уверен, что полиция этого города служит своему делу честно и ревностно; а это много значит, господа. Я почти уверен, что некоторые из вас служат в полиции только из крайней необходимости и считают унижением для себя свои обязанности. Но эти «некоторые» жестоко ошибаются, господа: никакая обязанность не может унизить человека, если она выполнена добросовестно. Правда, наше общество смотрит на полицию пока еще не совсем доброжелательно; но это зависит не от него, а от тех ее неудачных представлений, которые на каждом шагу только злоупотребляют своим официальным именем. Сумеете, господа, поставить себя к обществу и особенно к простому народу так, чтоб заслужить их полное доверие, и вы увидите, что полиция в их глазах сделается любимою представительницею законной

власти. Так было везде, так *должно быть* и у нас. Ссылаться на ограниченное жалованье нельзя, когда не умеешь показать, что заслуживаешь большее. Что же касается расторопности, то она также необходима полицейскому чиновнику, как птице крылья.

Для полиции поспеть вовремя на место чаще всего значит — спасти человека! Исполняя иногда вяло ту или другую нашу обязанность, нам часто и в голову не приходит, как важна окажется в сущности эта обязанность, если в нее вдуматься глубже. Различивши это, господа, хорошенько внушите предписание как следует и низшим полицейским чинам. Можете на первый раз сказать им от меня, пока я не успею сам лично пожелать им того же, что я готов буду помогать иногда их нуждам даже из собственных сумм, если замечу в них искреннее желание воспользоваться моим добрым наказом. В противном случае я принужден буду прибегнуть к более энергическим мерам для восстановления полиции в ее настоящем виде, то есть в каком она должна быть во всяком благоустроенном государстве. Эти слова в той же степени относятся и к вам, господа, как и к нижним полицейским чинам, с той только разницей, что с вас, как с людей более развитых, я буду взыскивать еще строже: кроме того, что вы отвечаете мне за себя — вы отвечаете еще и за ваших ближайших подчиненных. У меня не в привычке пороть бесполезно горячку, но я и без шуму умею делать свое дело и твердо стоять на своем... Не забудьте же этого, господа. За тем, собственно, вы и удержаны здесь мной на несколько минут, чтоб потом не вышло между нами каких-либо недоразумений. Позвольте мне надеяться, впрочем, что после того, как мы поговорили откровенно, недоразумений этих не встретится... До свидания, господа! — извините...

И его превосходительство также торопливо раскланялся с полицией, как торопливо и вышел к ней.

Особенно положительное впечатление оставила эта последняя речь на душе гг. полицейских чиновников. Как стояли они в зале с опущенными долу главами, так и вышли оттуда, не поднимая их до самых своих обителей...

Что-то думал в эти минуты армии подполковник Вахрушев «об одной из молоденьких работниц», встреченных им недавно у Московской заставы?

IX

Новый губернатор у себя в канцелярии

Маленькая дверь, едва заметная на обоях стены, вела из губернаторской уборной в соседнюю комнату, где при прежнем губернаторе происходили по пятницам доклады строительной и дорожной комиссии, комиссии о земских повинностях и тюремного комитета; а из этой комнаты другая дверь вела прямо в канцелярию. Новый губернатор сделал это полезное для него открытие совершенно нечаянно. В день приема чиновников, перед чаем, около восьми часов вечера, его превосходительству вздумалось приколотить собственноручно какой-то гвоздик на стене. Он сделал это так неловко, что тоненький гвоздь совершенно погнулся и Павел Николаевич стал было выдергивать его обратно, как вдруг перед ним приотворилась дверь, на которую и попал случайно этот гвоздик. Губернатор, никак не ожидавший подобного сюрприза, сейчас же полюбопытствовал со свечой в руках, куда ведет новооткрытая дверь. Вступив в известную комнату и осмотрев ее внимательно, его превосходительство, все еще не подозревая, толкнул и следующую дверь. Но каково же было его удивление, когда он очутился вдруг перед длинной амфиладой ярко освещенных комнат, уставленных целым рядом столов, за которыми сидели, по крайней мере, человек двадцать и скрипело столько же перьев? Чиновники, сидевшие в первой комнате и почти возле самого его превосходительства, с удивлением привстали, не зная еще, сам ли это губернатор или приехавший с ним чиновник.

— Я никак не ожидал, господа, что вы от меня так близко... Это очень удобно. Здравствуйте!— сказал губернатор, весело раскланиваясь со всеми. Он был с сигарой во рту.

Чиновники окончательно встали и отвесили ему по низкому поклону. Губернатор прошел в следующую комнату, где каким-то чутьем встречал его уже сам Вилькин.

— Познакомьте меня, пожалуйста, с канцелярией, г. правитель...— сказал ему губернатор, здороваясь.

Вилькин повел его. Они остановились на несколько минут у каждого стола. Правитель отчетливо называл столы и столоначальника, а губернатор здоровался рукой и со всеми разговаривал очень внимательно. Когда им пришлось проходить мимо стола Матьвиевского, его превосходительство сказал, улыбаясь: «Мы уже знакомы», поклонился и прошел лишь. Обойдя столы по порядку, они вышли в переднюю, где

старик-сторож отвесил новому начальнику чуть не земной поклон.

— Здравствуй, братец, здравствуй! Ты, пожалуйста, почище дери мою канцелярию,— сказал ему губернатор:— а то вон у тебя ведь паутина по углам...

Заглянув мельком в соседнюю комнату, Павел Николаевич спросил:

— Отчего здесь такой дым?

— Тут курят, ваше превосходительство,— пояснял правитель.

— Они могут курить и в самой канцелярии, только не очень много, потому что у нас иногда могут быть по делам и дамы...— сказал губернатор:— а так у них много времени пропадет даром; притом гораздо веселее заниматься куря,— я это по себе знаю.

Правитель молча поклонился.

— А где же комната для дежурного? — спросил его превосходительство, возвращаясь в канцелярию:— я ее не вижу...

Николай Иваныч пояснил, что у них не полагается особенного помещения для дежурного.

— Где же он спит и на чем? — спросил снова губернатор.

— Где придется, ваше превосходительство.

— На чем же?

— Молодежь этим не стесняется, ваше превосходительство...

— Ну, нет-с; я на этот счет другого мнения,— сказал Павел Николаевич.— Разве у вас так мало помещений или недостает канцелярской суммы, чтоб устроиться поудобнее? — спросил он подумав.

— Предшественник вашего превосходительства не обращал на это внимания,— пояснил Вилькин с чуть заметной иронией в голосе.

— Да, но я желаю обратить внимание и на это,— сказал губернатор внушительно,— молодежь молодежью, а нам с вами, однако, придется спать со всеми удобствами, хоть мы и не можем еще назвать себя стариками,— пояснил он свою мысль.

Вилькин промолчал недовольно: канцелярия насторожила уши.

— Потрудитесь, г. правитель, распорядиться отвести ту комнату (не разб.) для дежурного,— продолжал его превосходительство, поглаживая бакенбарды.— Надо будет поставить туда какой-нибудь мягкий диван, дать простыню, подуш-

ку и одеяло, стол также не лишний... Вам не мешает завтра же позаботиться об этом.

Вилькин поклонился, недовольный еще больше.

— В этой комнате,— еще раз продолжал губернатор,— дежурный может располагаться как у себя дома: может обедать, читать, пить чай, даже принимать своих знакомых. Я желаю, чтобы каждый в день своего дежурства был уволен от других занятий по канцелярии; пусть этот день будет для него вместо отдыха; а то вообще, я знаю, дежурят всегда неохотно. Надеюсь, что никто из вас, господа, не злоупотребит этим? — обратился он к стоявшим вблизи чиновникам.

Чиновники молчали; но их довольные лица лучше всяких слов говорили, как они исполнят распоряжение его превосходительства.

— А в той комнате кто же?— спросил он вдруг, указав рукой направо.

— Виноват-с, ваше превосходительство,— сказал Вилькин и торопливо повел его туда.

— Наш казначей-с,— бойко отрекомендовал правитель, когда они остановились возле стола, освещенного одной свечкой, из-за которого неслышно вскочил низенький старичок самой добродушной наружности.

Поздоровавшись с ним особенно приветливо, губернатор ласково заметил ему.

— Вы напрасно занимаетесь с одной свечой: так очень скоро можно испортить глаза; вам вообще не следовало бы совсем вечером заниматься...

— Привычка-с, ваше превосходительство,— ответил старичок-казначей, смущенно перебирая счеты,— так скучно-с, без дела-с...

— Вот никак не могу, ваше превосходительство, урезонить — по крайней мере заниматься с двумя свечами,— подслужился Вилькин обоим.

Губернатор улыбнулся, посмотрел пристально на чудака-казначея и вдруг спросил, будто пораженный каким-то ехидством:

— Как ваша фамилия?

— Полозов-с,— проговорил тот чуть слышно, опуская глаза.

— Как вы сказали? Я не слышу,— повторил его превосходительство.

— Полозов,— звонко ответил Вилькин за казначея.

— Полозов?.. Полозов?..— усиленно старался припомнить что-то губернатор.— Не служили ли вы когда-нибудь

в Нижегородской казенной палате столоначальником? — спросил он вдруг через минуту.

— Как же-с! Служил-с.

— Так не помните ли вы там другого столоначальника, Арсеньева по фамилии...

Старичок самодовольно улыбнулся, не подозревая, впрочем, к чему клонятся эти расспросы.

— Очень хорошо-с помню, — сказал он.

— Который же вам теперь год?

— Да на будущее лето, ваше превосходительство, уже шестой десяток пойдет-с...

— Стало быть, вы и маленького Пашу даже помните? — продолжал допрашивать губернатор, а сам тоже улыбается, радостно как-то.

— И их помню-с, — ответил казначей застенчиво.

— Ну, вот видите, вы и меня даже помните, — сказал губернатор, весь просияв радостной улыбкой и ласково потрепав старика по щеке. — Уж ради одних этих воспоминаний я должен поберечь ваши глаза. Будет же вам заниматься сегодня; пойдемте-ка лучше ко мне чай пить, потолкуемте, — заключил он, взяв его за руку, и повел таким образом крепко озадаченного старичка через всю канцелярию, озадаченную этим не меньше самого казначея.

— Господа! — заметил его превосходительство мимоходом, обращаясь к своим молодым сослуживцам, — вечерние занятия для вас необязательны: вы можете ходить сюда вечером или не ходить, как вам будет угодно, как сами найдете лучше; в ваши годы не мешает пользоваться иногда обществом, а вечером — самое удобное для этого время, по-моему. Лучше, советую, занять лишний час утром. До свидания! — заключил губернатор, уводя к себе своего нечаянного гостя.

«Подурачишься, да устанешь!» — подумал вслед им Вилькин.

— Видали, господа? — спросил он с заметной насмешкой своих ближайших подчиненных, указывая глазами на дверь, только что захлопнувшуюся за его превосходительством.

Но чиновники не разделяли на этот раз саркастического взгляда своего любимого ближайшего начальника: они все оказались одинаково довольны новым губернатором, хоть и каждый по-своему. «Какой он молоденький — правда!» — заметил кто-то из них, но заметил это, видимо, с полным удовольствием. Долго еще оставались они в этот вечер в канцелярии, толкуя между собой о новом губернаторе и все поджидая возвращения казначея, но не дождавшись его,

разошлись, наконец, чуть не в одиннадцать часов. Дежурный на другой день, канцелярии служитель, на собственных боках испытал, что значит иметь молодого, ко всякой мелочи внимательного начальника: ему отлично спалось в ту ночь на мягком диване и мягкой подушке под чистым одеялом.

— Вот у нас нонешний-то губернатор какой славный! — сказал этот дежурный сторожу, уносившему от него свечу,— «только не надолго этакие-то!..» — подумал он, засыпая, и уснул с этой горькой мыслью.

X

Первые казусы

В утро такого невеселого раздумья канцелярского служителя, благополучно отпустив приехавшего с докладом полицмейстера и подписав несколько бумаг, его превосходительство пожелал вдруг видеть ни с того ни с сего губернского прокурора. Жандарм слетал за ним так скоро, что через четверть часа после этого приказания знаменитый губернский остряк стоял уже перед губернатором в мундире и придумывал как можно тонкую и любезную остроту.

— Я желал бы осмотреть острог,— сказал ему губернатор после первых приветствий.— Надеюсь, вы будете столь обязательны — проводите меня туда?

Падерин поклонился, смущенный немного.

— Когда угодно будет вашему превосходительству назначить время для этого? — спросил он, стараясь казаться совершенно равнодушным.

— Я желал бы сделать это сегодня же,— сказал его превосходительство,— сейчас...— прибавил он, застегивая вицмундир.

Губернский прокурор, по-видимому, не ожидал такого положительного ответа.

— Осмелюсь доложить вашему превосходительству, не лучше ли будет отложить это до завтра? — заметил он очень смутившись.

— Почему-с? — спросил его превосходительство, пристально смотря на него.

— Сегодня большая часть арестантов-с на работе,— доложил прокурор.

— Да, но это, я думаю, нам нисколько не помешает,— разочаровал его Павел Николаевич.

— Вашему превосходительству представится не очень веселая картина,— заметил, однако ж, развязно губернский прокурор, остря и заигрывая.

— Я не охотник до них,— сказал холодно губернатор.— Поедемте.

Делать нечего, как ни не хотелось почему-то Падерину ехать в острог сегодня, все-таки пришлось. Несмотря на то что губернский прокурор, «боясь стеснить его превосходительство», желал так же очень почему-то сесть на свои дрожки, губернатор посадил его любезно с собой на пролетку. Они поехали, разговаривая дорогой о каких-то совершенно посторонних вещах, а кучер Падерина следовал за ними издали, и Павел Николаевич часто обертывался, как будто рассматривая город, в сущности же для того, чтоб видеть, едет ли она за ними. Когда подъехали к острогу, губернатор вошел в него первый и, по обыкновению, очень скромно, так что сначала там его и не приняли даже за губернатора. Губернский прокурор хотел было распорядиться о чем-то, но его превосходительство попросил его знаком руки остаться в покое.

— Попроси ко мне, пожалуйста, г. смотрителя; скажи, что его желает видеть губернатор,— сказал он тихо в коридоре первому попавшемуся ему на глаза инвалиду. Тот на минуту изумленно вытаращил свои совсем полинявшие глаза и потом побежал со всех ног, как будто его вдруг кипятком обдали.

Падерин все посматривал по сторонам и как-то так странно, точно ему хотелось побеседовать с кем-нибудь в эту минуту.

— Как здесь душно и сыро, однако ж!— заметил губернатор, сделав вперед несколько шагов.

— Ветхое здание, ваше превосходительство,— обязательно пояснил прокурор.

— Должно быть, здесь никогда не проветривают камер?— продолжал Павел Николаевич, как бы не расслышав прокурорского ответа.

Падерин нашел лучшим промолчать на этот раз.

— И грязь везде какая,— не отставал от него губернатор.

— Здесь, ваше превосходительство, обыкновенно по субботам моют,— догадался соврать прокурор.

— Мыть следует не по субботам, а как только окажется грязь,— обрезал его довольно чувствительно, хоть и спокойно его превосходительство.

В эту минуту явился весь запыхавшийся смотритель в кое-как натянутом мундире; видно было, что ему накануне

и во сне не снилось сегодняшнее посещение. Смотритель был неимоверно высокого роста и вдобавок сутуловат, сутуловат так, что все острожные очень метко звали его «крючковатой дылдой», а чиновники, с легкой руки Падерина,— «холостым жеребцом», что также порядочно шло к нему. Руки у этой ходячей сажени, постоянно висевшие как плети, теперь поминутно болтались в ту и другую сторону, точно он ими муку сеет или все хочет поймать кого-то да никак не может; услыхав от своего кума, частного пристава первой части, что новый губернатор требует расторопности, он, может быть, именно ее и хотел выразить этим в настоящую минуту, а не то — просто выразить таким образом свою радость по случаю такого неожиданного губернаторского визита.

— Потрудитесь, пожалуйста, г. смотритель, провести меня прежде всего в арестантскую кухню,— сказал ему губернатор, ответив, против обыкновения, довольно сухо на его низкий поклон.

Смотритель повел их как растерянный. В арестантской кухне оказался страшный беспорядок: она походила на кузницу, на помойную яму, на что угодно в этом роде, только отнюдь не на кухню; в ней отвратительно пахло чем-то похожим на протухшую говядину. Кашевар, выбранный из арестантов и стоявший тут же с ковшом в руках возле огромного котла, вмазанного в печку, заметив на лице незнакомой еще ему власти крайнее неудовольствие, злобно-радостно посматривал на растерянного смотрителя: он сразу догадался, что это за (не разб.) пожаловал сюда в вицмундире, у которого красный околыш на фуражке. Другой арестант возился с метлой, выгребая из угла невообразимую кучу всякого сору.

— Отчего здесь так скверно?— спросил губернатор нахмурясь.

— Прибирают-с, ваше превосходительство-с,— отвечал смотритель скороговоркой.

— Что прибирают-с?

— Кухню-с, ваше превосходительство.

— Ради моего приезда?— спросил его превосходительство иронически и еще больше нахмурился.

Смотритель не нашел, что ответить.

— Что это у тебя там варится?— спросил губернатор у кашевара.

— Щи, ваше сиятельство,— ответил тот бойко.

— Я, любезный друг,— не сиятельство,— заметил ему строго губернатор.— Покажи мне твои щи,— сказал он через минуту несколько ласковее.

Кашевар почерпнул ему целый ковшик какой-то грязной жидкости.

— Это не щи, а мерзость какая-то,— выговорил с отвращением губернатор, пробуя из ковша и едва удерживаясь от тошноты.— Что это такое, г. смотритель?— очень заметно возвысил он голос.

— Точно так-с, ваше превосходительство-с,— ответил тот, совершенно растерявшись.

— Вы даже не понимаете, о чем вас спрашивают!— заметил ему губернатор еще строже.— Потрудитесь отведать это, г. прокурор,— отнесся он холодно к Падерину, передавая ему ковш.

Губернский прокурор, как только взял в рот эти щи, так тут же и выплюнул их обратно...

— Что вы скажете мне на это?— спросил у него губернатор еще холоднее.

— Ваше превосходительство, это случайность,— ответил весьма не развязно на этот раз Падерин и покраснел до ушей.

— Случайность?— переспросил его превосходительство, смотря прокурору прямо в глаза,— вы думаете?

Падерин только отвел их в сторону и отделался молчанием.

— Может быть, если б я приехал сюда завтра, подобной случайности так уж не выразилось бы, как вам кажется, г. прокурор?— напирал на него губернатор.

— Не могу вам сказать, ваше превосходительство,— замялся губернский остряк.

— Разве ты, братец, не умеешь варить щей?— отнесся его превосходительство уже к кашевару.

— Говядину тухлую дают, ваше превосходительство,— ответил тот по-прежнему бойко.

— Вот и еще случайность,— заметил Павел Николаевич вскользь прокурору и сейчас же потом обратился к смотрителю:— Вот уж, кажется, и самое название вашей должности, г. смотритель, могло бы вам напоминать каждую минуту, что вы обязаны ею смотреть и смотреть... за чем же вы смотрите здесь?

— Недостает времени, ваше превосходительство, углядеть за всем,— наивно оправдывался смотритель на свою голову.

— Зачем же вы служите, если у вас недостает времени на службу?— как ножом обрезал его губернатор.

— Я стараюсь, ваше превосходительство,— залепетал смотритель таким детским голосом, как будто в эту минуту

говорила не сажень, а сидевший у него в руке малый ребенок.

— Какая же кому польза от ваших стараний, если тем не менее здесь кормят арестантов такими щами, которых просто нельзя в рот взять?— продолжал его превосходительство разить смотрителя, по-видимому, очень спокойно.— Скажи, братец, откровенно, часто тебе дают тухлое мясо?— спросил он вдруг кашевара.

— Кажный божий день, ваше превосходительство,— ответил арестант еще бойчее.

Губернатор не сказал ни слова, но посмотрел на губернского прокурора таким выразительным взглядом, что того даже покоробило.

— Ты это по совести говоришь, любезный друг?— опять отнесся его превосходительство к кашевару.

— Как перед богом, так и перед вашей милостью,— подтвердил арестант, не моргнув ни одним глазом на пристальный взгляд Павла Николаевича.

— Отчего же ты, братец, не скажешь об этом г. губернскому прокурору или уголовных дел стряпчему, когда они бывают в остроге?— спросил его губернатор, подумав.

— Ваше превосходительство,— начал было Падерин.

— Прошу вас не мешать мне, г. прокурор: я не вас спрашиваю! — строго оборвал его губернатор.— Говори, любезный друг, смелее,— обратился он снова к арестанту.

— Неоднократно докладывал, ваше превосходительство; да их высокородие, другой раз, по месяцам к нам глаз не кажут,— отчаянно бухнул кашевар.

— А стряпчий?

— Их благородие больше (не разб.) свидетельствовать приезжают...

— Правду он говорит?— спросил Павел Николаевич у другого арестанта.

— Точно правду, ваше превосходительство,— ответил тот без запинки.

Губернатор быстро обратился прямо к Падерину.

— Г. прокурор! Неужели и это все, что я теперь слышу — только случайность?— спросил его превосходительство иронически.

Падерин намерен был лучше промолчать.

— Вы только что хотели говорить со мной,— заметил ему его превосходительство тем же тоном,— вот теперь ваша очередь: я слушаю...

— Могу вас уверить только, ваше превосходительство...

арестант показывает ложно,— выговорил наконец ненаходчивый на этот раз губернский остряк, чтоб только что-нибудь сказать.

— А говядина, г. прокурор, тоже показывает ложно, по-вашему?— озадачил его еще раз Павел Николаевич.— После этого я могу подумать, наконец, что и вы, извините меня, показываете ложно...

Падерин весь вспыхнул.

— Ваше превосходительство, не забудьте, что в качестве губернского прокурора я облечен, как и ваше превосходительство, доверием правительства,— сказал он, кусая нижнюю губу.

— Я именно потому и обращаюсь к вам в настоящую минуту, г. губернский прокурор, что очень хорошо помню это,— ясно и спокойно ответил ему губернатор.— А здесь что? В горшках?— полюбопытствовал его превосходительство, заглянув в печку.

— Больничная порция-с, ваше превосходительство,— поспешил доложить ему чуть-чуть оправившийся смотритель.

— Дай мне, братец, попробовать и больничную порцию,— обратился Павел Николаевич к кашевару.

Арестант подал ему.

— Вот это так похоже на суп, по крайней мере,— сказал губернатор, пробуя.

— За эвтим, ваше превосходительство, и инспектор частенько доглядывают,— пояснил кашевар.

— Инспектор?.. Какой?

— Врачебной управы-с,— поспешил подтвердить смотритель.

— Это и видно сейчас,— сказал ему губернатор.— А больше ничего не варится сегодня для арестантов?— спросил он через минуту, не обращаясь ни к кому особенно.

— Каша еще бывает-с, ваше превосходительство,— доложил смотритель.

— Где же каша? Я ее не вижу...

— Только сегодня нет-с, ваше превосходительство.

— Отчего же именно сегодня ее не полагается?

— Крупы нет-с, ваше превосходительство.

— Как! Во всей губернии не нашлось сегодня крупы? На что же подрядчик?— удивился и полюбопытствовал его превосходительство.

— В остроге-с, ваше превосходительство, вчерашнего числа вышла-с; не доставлено-с еще-с,— вывертывался смотритель, снова теряясь.

— Это не оправдание, г. смотритель! — сказал ему губернатор чрезвычайно внушительно, — припасы должны заготовляться подрядчиком вперед и доставляться в острог, по крайней мере, за три года до того, как они выйдут; эдак в одно прекрасное утро я и вовсе обеда здесь не застану...

— В остроге, ваше превосходительство, нет для этого сухого помещения, — смешался Падерин, — и потому припасы доставляются сюда подрядчиком каждую неделю.

— При наших предках не было суда на «месте», — заметил ему очень серьезно его превосходительство, — потомки смотрят на это иначе. Что же делает, спрашивается, тюремный комитет?

— Крупа сию минуту-с будет доставлена-с, ваше превосходительство, — отличился смотритель.

— Даже и это не оправдание, — сказал губернатор, повернувшись к дверям. — Проводите меня, сделайте одолжение, по камерам, — заключил он, выходя в коридор.

Смотритель так неосторожно бросился за ним, что даже задел его превосходительство своими лихорадочно болтавшимися руками.

— Не суетитесь так сильно, г. смотритель, — остановил его губернатор, — вот от этого теперь уж никто не выиграет...

Они пошли осматривать камеры.

В коридоре губернатор на минуту остановился и что-то записал в свою памятную книжку, на которую особенно недружелюбно посмотрел в эту минуту губернский прокурор; смотритель был так смущен, что дальше своего носа ничего уже не видел.

Войдя, между прочим, в одно из острожных помещений, похожих на (не разб.), где какой-то несчастный арестант был прикован железной цепью к стене, его превосходительство остановился перед ним в невыразимом смущении.

— Что это такое?! — спросил он, невольно отступая и забыв даже, по обыкновению, ласково поздороваться с арестантом, угрюмо повернувшим к нему свое изможденное лицо.

— Приговор, ваше превосходительство, к пожизненному заключению, — пояснил, бледнея, губернский прокурор, который почему-то чувствовал себя в этой камере особенно нехорошо.

— Да... но на цепи держат только собак, — с отвращением выговорил губернатор, обращаясь в одно время к смотрителю и прокурору.

— Этот арестант-с, ваше превосходительство, закован

потому-с, что он очень опасен: буйствует постоянно-с,— пояснил в свою очередь смотритель.

— То есть... как буйствует? На входящих к нему людей бросается, что ли?— спросил губернатор, недоумевая.

— Вот и вчера-с набуянил,— его и заковали,— не объяснил все-таки своей мысли смотритель.

— Отчего же ты, любезный друг, не хочешь сидеть смирно?— обратился его превосходительство к арестанту, видя, что толку от смотрителя добьешься не скоро.

Арестант посмотрел на губернатора исподлобья.

— Мне жисть надоела; пущай они меня убьют лучше,— сказал он мрачно.

— Кто?!— изумился Павел Николаевич.

Арестант злобно посмотрел сперва на прокурора, а потом на смотрителя.

— Начальники эвти наши,— проговорил он еще мрачнее, указав на них головой.

— Что же они сделали тебе?— продолжал губернатор, обратившись весь во внимание.

— Да все наказывают меня: придираются; из-за них и свои-то все надо мной (не разб.)...

— Ваше превосходительство,— попробовал было опять помешать Падерин.

— Отчего это вы, г. губернский прокурор, не умеете отвечать, когда я вас спрашиваю, и постоянно вмешиваетесь там, где вашей речи пока не надо? Еще раз прошу вас дождаться своей очереди,— снова как ножом обрезал его губернатор.

— Почему же придираются именно к тебе? Как ты думаешь?— обратился его превосходительство к арестанту.

Тот поколебался было с минуту.

— Говори, братец, смело,— ободрил его губернатор.

— Они на меня, вишь, сердце имеют: этта чиновник один большой приезжал нас левизировал, так я ему нажаловался на них...

— Когда же тебя в последний раз наказывали?

— Да вчера.

— За что, вы говорите, наказывали его вчера, г. смотритель?— спросил его превосходительство.

— Набуянил-с, ваше превосходительство: вчера утром помоями меня облил-с,— выяснил, наконец, смотритель свою заветную мысль.

Губернатор при этом хоть бы улыбнулся.

— Зачем ты это сделал? — спросил он только у арестанта.

— Их благородие «каторжным жидом» меня обозвал:

я эвтого прозвища слышать не могу,— пояснил в свою очередь заключенный.

— Я, ваше превосходительство, в шутку-с,— опять залепетал смотритель, как малый ребенок.

— В таком случае я не понимаю, за что же было наказывать его, г. смотритель!— обратился к нему губернатор, слегка покраснев почему-то.— Позволяя себе шутить с арестантами, вы должны были прежде всего подумать, что на шутку каждому позволительно отвечать шуткой же...

— Какая же это, ваше превосходительство, шутка-с,— осмелился обиженно выговорить смотритель.

— Точно такая же, как и ваша-с; только с вашей точки зрения еще поостроумнее... Стыдитесь, г. смотритель, заставлять меня краснеть за вас перед арестантом!— сказал губернатор с таким достоинством в позе и в голосе, что даже этот арестант посмотрел на него с невольным уважением.

— Это меня, ваше превосходительство, спервоначалу «каторжным жидом»-то г. прокурор прозвал... на другой день, как я на них нажаловался,— пояснил окончательно заключенный, в первый раз назвав губернатора его официальным титулом.

Его превосходительство посмотрел на него с минуту в тяжелом раздумьи.

— Можете теперь быть уверены, любезный друг, что никто уже больше не будет наказывать тебя без вины и раздражать неприличными шутками,— сказал он арестанту.— Потрудитесь, г. смотритель, сию же минуту распорядиться расковать его!— прибавил губернатор подумав.

Смотритель стрелой вылетел из камеры.

— Ваше превосходительство, вероятно, еще мало знаете этот народ,— осмелился заметить губернский прокурор чрезвычайно почтительно.

— Потому и знакомлюсь с ним,— сказал ему холодно губернатор.— Вы очень верно предсказали мне давеча, г. губернский прокурор, что я не встречу здесь ничего веселого; но зато я много вижу поучительного...

Подумав немного, его превосходительство обратился снова к арестанту:

— Веди же теперь себя лучше: мы очень скоро опять увидимся, и я буду положительно знать тогда, насколько ты был прав сегодня.

Проговорив это, губернатор вышел, учтиво попросив Падерина проводить его в острожную больницу.

В больнице оказался безукоризненный порядок. Расто-

ропный молодой фельдшер, торопливо вскочивший при появлении губернатора от какого-то больного, отвечал на все вопросы его превосходительства совершенно толково и в то же время очень сильно, что особенно понравилось Павлу Николаевичу. Прежде всего здесь бросалась в глаза необыкновенная опрятность: белье на арестантах, белье на кроватях, столы, пол, стены, самый воздух больницы — все было так чисто, что лучше нельзя было и требовать (не разб.).

Больных оказалось сравнительно очень много; но достаточно было только раз взглянуть на их спокойные и довольные лица, чтобы сразу же и понять, что больница для этих изгнанников общества была тем раем (не разб.), в котором Адам почувствовал всю мерзость грехопадения. Губернатор только для одного виду спросил у них: довольны ли они всем? И получил самый удовлетворительный ответ с прибавкою двух-трех трогательных благословений инспектору врачебной управы.

— Кто же заведует больницей непосредственно? — обратился его превосходительство к фельдшеру.

— Есть особый лекарь-с, ваше превосходительство; но больше сами инспектор заведуют-с,— ответил тот бойко.

— Часто он здесь бывает? — спросил его губернатор.

— Раз в сутки-с, ваше превосходительство; редко-с через день,— доложил фельдшер.

— Однако ж в остроге нашлась, чего я не ожидал, и веселая картина,— сказал довольный его превосходительство как-то вскользь Падерину и, помолчав, спросил у фельдшера:— Как фамилия инспектора врачебной управы?

— Ангерман-с, ваше превосходительство.

— А зовут?

— Иосиф Васильич, ваше превосходительство.

Губернатор опять записал что-то в свою памятную книжку.

— Позвольте вам доложить, ваше превосходительство,— не утерпел промолчать губернский прокурор,— что инспектор врачебной управы оказывает слишком много вредного снисхождения арестантам, не выписывая иногда по нескольку дней совершенно уже здоровых-с...

Губернатор промолчал, но посмотрел на губернского прокурора таким взглядом, каким развитый европеец смотрит на австралийского дикаря.

— Скажите от моего имени вашему инспектору,— обратился его превосходительство к фельдшеру,— что я остаюсь совершенно доволен всем, что здесь вижу...

1/212 Заказ 1047

И губернатор быстро вышел из больницы.

— Виноват-с... ваше превосходительство-с,— доложил впопыхах смотритель, почти наткнувшись на него носом в полутемном коридоре.

— Проводите меня, пожалуйста, в общую арестантскую камеру,— сказал ему только его превосходительство холодно-вежливо.

Большая арестантская камера по своим помещениям немного чем отличалась от острожной кухни; она могла бы даже, пожалуй, перещеголять ее своим воздухом, если бы смотритель не успел уже распорядиться вынести известного ушата и покурить вересом. Арестантов в ней было в настоящую минуту человек шесть — не больше. Губернатор подошел к ним очень близко и ласково поздоровался.

— Всем ли вы довольны, друзья?— спросил его превосходительство у арестантов, поочередно заглядывая каждому в глаза, как будто хотел прочесть в них то, чего не доскажут оробевшие языки.

Арестанты сначала было замялись.

— Весьма довольны, ваше превосходительство!— надумавшись, ответили они через минуту официальным тоном и в один голос, только какой-то чрезвычайно молодой еще арестант высунулся было немного вперед и хотел сказать что-то непохожее на это, но другой, более опытный, осторожно дернул его за рукав, не дав ему таким образом высказаться.

Губернатор это заметил.

— Ты хочешь, любезный друг, что-то сказать мне,— спросил он у него как можно ласковее.

Арестант смущенно молчал.

— Говори же, не бойся,— настаивал так же ласково его превосходительство.

Арестант смутился еще больше.

— Ну, я тебя прошу начинать,— сказал губернатор с такой нежностью в голосе, что молодой арестант только вскинул на него своими голубыми глазами и в ту же минуту перестал колебаться...

— Меня, ваше превосходительство, вот уже одиннадцатые сутки без допросу здесь держат,— сказал он робея.

— Как!.. без допросу... одиннадцать суток?!— с негодованием изумился губернатор.— Что это значит?— спросил он опять оторопевшего смотрителя.

— Он, ваше превосходительство, взят по подозрению в убийстве своей любовницы,— понес чепуху смотритель.

— Не можете ли, по крайней мере, вы, г. губернский

прокурор, объяснить мне эту новую случайность? — обратился его превосходительство к Падерину.

— В остроге, ваше превосходительство, время для таких молодцов тянется очень медленно, так что часто они принимают часы за сутки, — сострил ни с того ни с сего прокурор Падерин, — видно, и он растерялся в эту минуту не на шутку.

Губернатор смерил его глазами с ног до головы.

— Как вы думаете, г. губернский прокурор: достало бы у вас духу острить, если бы вы были на его месте? — спросил его превосходительство в сильном негодовании. — Гораздо будет лучше для вас, — прибавил он энергично, — когда ваши остроты будут произноситься в другом месте, везде, где им угодно, но не здесь, где я желаю видеть только, как вы исполняете вашу прямую обязанность.

Падерин вспыхнул как порох.

— Я, ваше превосходительство, отдаю отчет в своих обязанностях... только, — начал было он заносчиво.

— Вы хотите мне посоветовать, — перебил его губернатор еще энергичнее, — чтобы я написал обо всем, что я здесь слышу и вижу, министру юстиции? Очень благодарен вам за такой умный ответ, г. губернский прокурор, и на днях же воспользуюсь им, если вы даже и не сделали этого!

Теперь только спохватился Падерин, что занесся слишком далеко, но уже было поздно.

— А, господа! — продолжал его превосходительство с поразительной нравственной силой в голосе, хотя и очень тихо, обращаясь разом к смотрителю и прокурору, — так вы думаете, что острить — значит служить? Я постараюсь в самом скором времени разуверить вас в этом!

Губернатор холодно-вежливо поклонился им и хотел уже выйти, как вдруг вспомнил о жаловавшемся ему арестанте и на минуту вернулся.

— Насчет тебя, братец, я справлюсь и распоряжусь... Будь спокоен, — сказал ему его превосходительство. — А вы пеняйте уж сами на себя, когда не хотели сказать мне правды, — прибавил он уже несколько строго, обращаясь ко всем остальным арестантам, и вышел, не дожидаясь их ответа.

Неистово болтавший руками смотритель и значительно притихший губернский прокурор торопливо последовали за ним, не успев или позабыв даже погрозить пальцем слишком еще неопытному и потому слишком смелому арестанту.

У ворот острога, поджидая, пока подадут лошадь, губер-

натор очень вежливо извинился перед губернским прокурором, что задержал его так долго, и прибавил, что не может его больше задерживать, чем тот и воспользовался в ту же минуту,— уехал.

— Никаких особенных приказаний не будет-с, ваше превосходительство-с?— спросил у Павла Николаевича, прислуживаясь, смотритель, когда тот готов был садиться в свою пролетку.

— Потрудитесь, г. смотритель, приготовить к сдаче ваши дела!..— сказал ему только холодно-вежливо губернатор, раскланялся, сел и поехал.

«Ведь надо же было подвернуться этим казусам, да еще, как нарочно, всем вдруг! И где же это видано, не понимаю я, чтоб такую давать поблажку эдакому, можно сказать, бесчувственному каторжному народу!..» — болезненно завертелось в голове смотрителя, когда отягченный последними словами губернатора он стоял как вкопанный у ворот и бессмысленно провожал растерянными глазами быстро удаляющуюся пролетку его превосходительства.

Но... теплое чувство давно неиспытанной признательности осветило в этот день не одну загрубевшую, помраченную страстями душу, и не один хороший вздох нарушил в эту ночь мертвую тишину угрюмых стен острога...

XI

Частный пристав второй части улыбается

Вызвали ли все эти «невеселые картины» в губернаторе расположение к более веселым сценам или он уже намерен был окончательно испортить себе это утро,— как бы то ни было, его превосходительство приехал из острога прямо в полицию — именно во вторую частную управу. Губернаторская пролетка подъехала к ее парадному крыльцу так скромно, что даже само это «всевидящее око» второй части не узрело или не распознало на этот раз приезда хозяина губернии. На одной из ступенек крыльца сидела какая-то женщина с ребенком на руках и плакала. Его превосходительство как будто за этим именно только и завернул в эти стороны, чтобы услышать плачущую: он как встал с своей пролеткой, так и обратился прямо к ней...

— О чем ты плачешь, голубушка?— спросил ее губернатор.

Ласковый тон и приветливый вид незнакомого молодого

чиновника сразу расположили плачущую к откровенности.

— Да вишь, ваше высокоблагородие, мужа моего тут посадили, так вот уже четвертый день пошел — не выпускают,— ответила она слезливо.

— Почему же не выпускают?

— Да три рубли, говорят,— принеси...

— Кто говорит?

— Частной-от сам...

— А за что взят твой муж?

— Он плотник, слышь; так другой, значит, товарищ, по работе, значит, пять рублев у него взаймы взял да полушубок взаклад оставил; а полушубок-то, слышь, воровским оказывается. А нам почему знать, ваше высокоблагородие, товарищу как откажешь: тоже пригодится, поди, когда...

— Какие же это три рубля просит с тебя частный пристав?

— Выкупу, значит...

— Как «выкупу»?

— Ну, значит, что он его домой отпустит... Нам где их взять, ваше высокоблагородие, три-то рубля; вон теперь полушубок-от отобрали,— с деньгами-то, значит, теперь прощайся...

— Ты, голубушка, воротись и подожди меня там, хоть в передней: я справлюсь о твоем муже,— сказал его превосходительство, торопливо поднимаясь на крыльцо.

Когда он исчез за дверью, женщина подошла к его кучеру.

— Это какой же чиновник-то приехал?— спросила она. Женщина как стояла на месте, так и осталась тут на несколько минут с разинутым ртом.

Между тем виновник этого изумления вышел уже в переднюю. Комната эта была и тесна, и грязна, и темна, да еще вдобавок битком набита всяким народом, чаявшим движения от (не разб.) неповоротливого частного пристава, так что присматривавший за ним кривой полицейский солдат совершенно терялся (не разб.), как некогда наша земля в хаосе, пока какое-нибудь начальство не вызывало его из этой тьмы своим появлением в ней. На этот раз, однако ж, и сам губернатор, как лицо еще новое и, следовательно, темное для него, не мог совершить своим небросающимся в глаза видом такого вызова этой косой на один глаз тени; его превосходительство даже пальто свое пристроил собственноручно на вешалку. Некоторая часть публики, сидевшая за неимением скамеек, на грязном полу, равнодушно осматривала нового пришельца с ног до головы, не подозревая за ним и тени тех магических качеств, которые могли бы мгновенно поднять даже и ее на ноги, да еще, пожалуй, и удобную скамейку

ей доставить; остальная часть, не сидевшая только потому, что у нее была одежда почище, занята была исключительно томительным ковырянием в носу или (не разб.) же томительным чесанием затылка и потому не имела даже времени рассматривать каких бы то ни было пришельцев: на физиономиях этой части публики лежала точно такая же истома, какая лежит на лицах усердно попостившихся людей, когда они идут исповедоваться.

Кстати и чтобы дать осмотреться немного его превосходительству (не разб.), скажем уже здесь и об исповеднике всей этой стоящей и сидящей публики, то есть о частном приставе второй части, который положительно заслуживает, чтобы о нем было сказано два-три слова особо...

По части умственных способностей его высокоблагородие отличался еще на школьной скамье. Раз как-то пришлось ему по поручению учителя истории переписать несколько страниц из какого-то учебника, в который попал случайно совсем посторонний листок почти одинаковой формы с остальными листками книги. Будущий частный пристав, из крайнего уважения к науке, переписал все сплошь, так что в одном месте его рукописи получилось нечто вроде того, что, «когда Наполеон вступил со своими полчищами в Москву, сказал Христос своим ученикам» и проч., что и было принято к надлежащему сведению его товарищами. В позднейшем периоде, приближающемся к тому времени, когда дети не преследуются уже отцами за так называемую «клубничку», за ним появилось новое умственное качество перевирать шиворот-навыворот слышанное или прочитанное. Так однажды все еще пока только будущий частный пристав в какой-то газете о войне северных американцев с южными рассказывал одной старушке ввиду особенной (не разб.), что северные и южные штаты с Америкой теперь воюют, что очень огорчило чувствительную слушательницу.

В другой раз, услыхав, как кто-то сообщил, что у купца Петрова воры ограбили лавку и пойманы, он рассказал в тот же вечер в знакомом купеческом же семейном доме, что «купец Петров ограбил чью-то лавку и вор пойман»,— что произвело на другой день ужасный скандал в Земельске и к концу концов чуть ли не отразилось даже на боках рассказчика. В настоящее же время, когда умственные способности частного пристава находятся в полной зрелости, с ним, хоть ничего подобного не случалось, тем не менее к третьему прибавилось у него и еще новая умственная способность — черное считать белым, а белое — черным, больше, впрочем, из собственных видов.

По части расторопности, кроме множества случаев, отчасти относящихся к первому и второму (упомяну)... его высокоблагородие может похвастаться (...). Еще очень недавно доказывал какому-то непонятливому приятелю, что без денег на свете ничего (не поделаешь). Он так сильно махал у него под носом пером, что едва не выколол ему глаза; а в другой раз, спеша растолкать в соборе народ для прохода «владыки», толкнул самого «владыку».

По части честности, его высокоблагородие, не отличившись особенно в первых двух периодах, в последнем придерживается знаменитого прудоновского парадокса, только не в том смысле, что «собственность есть кража», а считает просто кражу — собственностью.

По части же вежливости, на которую особенно напирал новый губернатор — его высокоблагородие в первом периоде был неоднократно сечен, во втором бит, а в настоящее время заявляет ее тем, что полицмейстера называет «вы, полковник», а полицейского солдата: «ты, скот», купцу говорит: «вы, многоуважаемый», а мещанину: «ты, любезный», вообще же очень часто принимает публику народной второй частной управы за «чертей», хотя и употребляет горячие напитки в самом умеренном количестве.

Но кроме этих более или менее общих полицейских качеств,— у его высокоблагородия есть еще два, так сказать, отличительные. Первое — необыкновенная стойкость и усидчивость; вторая — какая-то физическая неспособность выговаривать букву «ю». Стойкость его заключается в том, что до нового губернатора он служил уже при трех и при всех трех делал пакости, но на ногах устоял; усидчивость же этого частного пристава вытекает непосредственно из его стойкости, то есть что он до настоящей минуты (в смысле этой главы) сидел на прежнем месте.

Что же касается до второго качества, то оно еще замечательнее. Не будучи по рождению ни поляком, ни малоросом, сей чистокровный русак тем не менее выговаривает брюки «бруками», брюкву — «бруквой», а брюхо — «брухом». Чтобы пример был красноречивее, приведем одно место из его недавнего официального разговора с полицмейстером. «Он так, полковник, назузился,— рассказывал про кого-то частный пристав,— что тяту не кликал, когда его в полицию ко мне привезли; только носом клует; бруки на брухе разорваны, в одном кармане нашли брукву, а в другом — румку разбитуу... Я только плунул ему в хару, да и умолк».

Но всего замечательнее, что в самой этой особенности есть еще особенность: слово «юбка» его высокоблагородие

выговаривает всегда совершенно правильно,— что зависит, вероятно, от огромной практики его по этому предмету. Жену ли увидит частный пристав по утру неодетой, он уж и ворчит: «Опять в юбке маешься?», горничная ли выйдет к нему в кабинет, он хвать ее за юбку: «Расфуфырилась» (не разб.),— говорит; бабу ли какую увидит у себя в управе: «Ну, что ты, юбка, скажешь?» — спрашивает; начнет ли слишком сильно приставать к нему какая-нибудь мизерная просительница: «Отвяжись ты, чертова юбка!» — кричит; на себя ли рассердится за какую-нибудь непростительную слабость: «Ах, я юбка!» — думает; даже спасением своим однажды обязан, буквально, юбке: не спрячься бы он раз в чьей-то (не разб.) под накрахмаленную юбку — пропал бы...

Не мудрено после этого, что только одну ее и выговаривает правильно его высокоблагородие.

Для совершенной полноты характеристики, так и быть, укажем уж и на то роковое обстоятельство, что частный пристав второй части никогда не смеется, когда есть чему смеяться, и всегда (не разб.) не улыбается...



ПРИМЕЧАНИЯ

Предлагаемый том включает основные прозаические сочинения И. В. Федорова-Омулевского, в том числе публицистику. Исключение составляет лишь роман «Шаг за шагом», неоднократно издававшийся в советское время. В настоящее издание включены произведения, опубликованные в дореволюционном (Омулевский (И. В. Федоров) Полн. собр. соч. в 2-х т. Спб., 1906) и советском изданиях (Омулевский И. Шаг за шагом. Романы, рассказы. Иркутск, 1983. «Литературные памятники Сибири»). Часть прозаических сочинений И. В. Омулевского впервые вводится в научный и читательский обиход, печатается с черновых автографов, хранящихся в личном фонде писателя (ЦГАЛИ, ф. 371, ед. хр. 2, 5, 6). Публицистика воспроизведена по журнальным публикациям 70—80-х гг. XIX в.

И. В. Омулевский много и активно печатался в периодической прессе демократического направления: «Современнике», «Русском слове», «Искре», «Будильнике», «Женском вестнике», «Луче», «Петербургском листке», «Наблюдателе», «Веке», «Художественном журнале», «Живописном обозрении» и «Восточном обозрении», позже перенесенном из Петербурга в Иркутск. В Сибири он сотрудничал в газете «Амур» и других местных изданиях. Цензурный гнет, зачастую прямое запрещение уже подготовленных публикаций и, кроме того, многочисленные технические изъяны (неточное написание собственных имен, географических названий, многочисленные стилистические погрешности) сказались на особенностях многих текстов, специфических трудностях работы с ними.

Яркая гражданственность, все более углублявшаяся революционность И. В. Омулевского вызывали усиленное внимание цензуры к его сочинениям. В фонде Главного управления по делам печати (ЦГИА СССР, ф. 776) и в фонде Петербургского цензурного комитета (ЦГИА СССР, ф. 777) сохраняется множество дел о их запрещении. Сошлемся в этой связи всего на один пример — «О запрещении стихотворения «Почему?» для ж. «Дело». 10 февраля 1872 г. Петербургскому цензурному комитету вменялось «стихотворение Омулевского «Почему?» к напечатанию не допускать» как «содержащее протест против социального положения нашего общества». Приведем и текст запрещенного стихотворения, характеризующего политические настроения писателя:

Пусть говорят, что мир широк,
Что жизнь — широкая дорога,

Что в данный нам короткий срок
На свете можно сделать много.

Но почему же в мире всем
Так неуютливо, так тесно,
И не стесняемся ничем
Мы лишь в могиле, как известно?

Но почему же нам всегда
Дают так мало в жизни ходу,
Что от нее мы иногда
Готовы броситься, хоть в воду?

Но почему же жалкий вид
Уносит каждый, век кончая —
Что не возделана стоит,
Как и всегда, земля родная?

Для настоящего издания использованы архивные фонды самого писателя и лиц, близких к нему по литературной деятельности или жизненному пути. Личный фонд И. В. Федорова (Омулевского) хранится в ЦГАЛИ. Он содержит две описи документов. В первой был найден автограф шести непубликовавшихся глав романа «Попытка — не шутка». Этот фонд позволил дополнить издание еще тремя прозаическими сочинениями — начальными главами романа «Новый губернатор», повестью «Софья Бессонова», неоконченным рассказом «Ученые разговоры».

Значительно по объему эпистолярное наследие И. В. Омулевского, которое нуждается в изучении и в предлагаемый том не включено. В обширной его переписке необходимо особо выделить письма А. К. Шеллеру-Михайлову. Их дружба была верной и многолетней, ей обязан писатель поддержкой и материальной помощью, в которой не переставал нуждаться всю жизнь.

В картотеке Б. Л. Модзалевского Рукописного отдела ИРЛИ хранится некролог, опубликованный в «Новом времени» от 27 января 1899 г. и подтверждающий точную дату смерти И. В. Омулевского, последовавшей 26 декабря 1883 г. На похоронах писателя на Волковом кладбище в Петербурге, которые состоялись 29 декабря 1883 г., присутствовали Н. В. Шелгунов, Н. М. Ядринцев, А. К. Шеллер-Михайлов, другие литераторы Петербурга. Присутствие Н. В. Шелгунова убедительно доказывает общественную значимость творчества И. В. Омулевского как писателя революционно-демократического лагеря.

Мемуарная литература о И. В. Омулевском включает «Сибирские литературные воспоминания» и «Литературные и студенческие воспоминания сибиряка» Н. М. Ядринцева (Восточное обозрение, 1884, № 6, 26, 33), «К биографии поэта И. В. Омулевского-Федорова» Л. Зисмана (Восточное обозрение, 1885, № 10), «Из воспоминаний» П. В. Засодимского (М., 1896).

В основу настоящего тома избранного положен следующий принцип публикации прозаических и публицистических сочинений И. В. Омулевского: опубликованные ранее произведения печатаются по текстам двухтомного издания А. Ф. Маркса (Спб., 1906) и книги «Иннокентий Омулевский. Шаг

за шагом. Романы, рассказы» (Иркутск, 1983); публицистика — по текстам журналов «Живописное обозрение» и «Восточное обозрение»; произведения, публикуемые впервые,— по материалам фонда ЦГАЛИ. Такому принципу отвечает и композиционное построение тома.

При составлении комментариев учтены наблюдения и выводы дореволюционных (Н. М. Ядринцева, Е. В. Петухова, П. В. Быкова) и советских (И. Г. Васильева, Н. И. Пруцкова, М. Д. Зиновьевой) исследователей, а также авторов «Очерков русской литературы Сибири» (Новосибирск, 1982, т. I, разд. III, гл. I).

СИБИРЯЧКА. Рассказ. Печатается по кн.: Омулевский (И. В. Федоров). Полн. собр. соч., т. II. Спб., 1906. Первая публикация: Сибирские рассказы. Сборник. Иркутск, 1862.

МЕДНЫЕ ОБРАЗКИ. Рассказ. Печатается по кн.: Омулевский (И. В. Федоров). Полн. собр. соч., т. II. Первая публикация за подписью «Ом...ский»: Амур, 1862, 4 апр., № 26.

СУТКИ НА СТАНЦИИ. Рассказ. Печатается по кн.: Омулевский (И. В. Федоров). Полн. собр. соч., т. II. Первая публикация: Сибирская жизнь (приложение), 1904, 7, 21 ноябр. 5, 30, 31 дек., № 244, 256, 267, 284, 285.

ОСТРОЖНЫЙ ХУДОЖНИК. Рассказ. Печатается по кн.: Омулевский (И. В. Федоров). Полн. собр. соч., т. II. Первая публикация: Художественный журнал, 1882, апрель, май, т. III, № 4, 5.

БЕЗ КРОВА, ХЛЕБА И КРАСОК. Рассказ. Печатается по кн.: Омулевский (И. В. Федоров). Полн. собр. соч., т. II. Первая публикация: Художественный журнал, 1883, март, т. V, № 3.

В МИРОВОЙ КАМЕРЕ. Печатается по первой публикации в кн.: Омулевский (И. В. Федоров). Полн. собр. соч., т. II.

ПОПЫТКА — НЕ ШУТКА. Роман. Печатается по кн.: Омулевский И. Шаг за шагом. Романы, рассказы. Иркутск, 1983. Главы I—III впервые опубликованы в журнале «Дело», 1873, № 1. Последующая публикация была запрещена цензурой. Черновой автограф рукописи, включающей не публиковавшиеся IV—IX главы, хранится в ЦГАЛИ в личном фонде И. В. Омулевского (ф. 371, оп. 1, д. 1).

МИМОЛЕТНЫЕ НАБРОСКИ. Печатается по первой публикации в «Живописном обозрении» (1877, т. I, № 20—26; т. II, № 27—28), подписанной анонимом «Веселый поэт». Авторство определяется на основании библиографии, составленной П. В. Быковым к Полному собранию сочинений Омулевского (И. В. Федорова) в двух томах. Цикл очерков, объединенных общим названием «Мимолетные наброски»,— яркий пример обращения писа-

теля к публицистике, соединяющей сатирические зарисовки действительности и ее социальные обобщения. В «Живописном обозрении» И. В. Омулевский начал сотрудничать с 1877 г., по преимуществу как поэт. Стихотворения его рассеяны по номерам журнала 1877—1883 гг. «Живописное обозрение» — иллюстрированное еженедельное издание, обращенное к широким слоям демократических читателей,— пользовалось популярностью, так как охватывало различные стороны общественной жизни внутри России и за рубежом. Широко, но достаточно неразборчиво отражалась в нем литературная полемика, хроника внутренней жизни, в 70-е гг.— славянский вопрос, события русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Эти мотивы вошли и в очерковый цикл И. В. Омулевского.

С. 197. *«Сын попа».*— Речь идет о рассказе И. С. Тургенева «Рассказ отца Алексея».

НАБРОСКИ СИБИРСКОГО ПОЭТА. Печатается по первой публикации в газете «Восточное обозрение» (1882, 9, 23 сент., № 24, 26; 1884, 12 янв., № 2), подписанной анонимом «Сибирский поэт». Авторство определяется на основании библиографии, составленной П. В. Быковым, и примечания от редакции, сопровождающего посмертную публикацию последнего в цикле очерка:

«Редакц. На этом прервался последний фельетон нашего покойного поэта И. В. Омулевского. Мы часто говорили с ним о жизни этого города, лучшего в Сибири, где пробуждалась умственная жизнь и где так мрачно ныне живется. Он застал этот город погоревшим, причем погибло и его имущество.

Нерадостно ему жилось здесь. От этого времени уцелело несколько набросков, и в том числе одно стихотворение, посвященное доктору, которое характеризует те невзгоды, которые испытывал поэт на родине. Вот это стихотворение:

БОЛЬНИЧНЫЙ ЭКСПРОМТ

(на память доктору Кр — кову)

В российской столице решили,
Что ум мой достоин поэта;
В Иркутске меня уложили
В больничную койку за это.

Но чем медицина поможет
В смягчении правды печальной,—
Что быть диагностом не может
И самый усердный квартальный?

О, доктор мой! в виде привета,
Я выскажу вам втихомолку,
Что нет на земле лазарета,
Который бы сбил меня с толку.

9 октября 1879 г. Иркутск.
гражданская больница Кузнецова,
12 палата. Вечером»

«Восточное обозрение» — литературно-политическая газета, основанная писателем, ученым, общественным деятелем Н. М. Ядринцевым в 1882 г. в Петербурге. В 1888 году редакция была переведена в Иркутск. Демократическую направленность издания усиливали осуществляемые на его страницах публикации редких сочинений декабристов. Так, в № 9, 23 за 1882 г. опубликовано «Переселение народов. Идеальные стремления и действительность» Д. И. Завалишина. Интересный материал о И. В. Омулевском и его окружении содержат «Сибирские литературные воспоминания (1884, № 6) и «Литературные и студенческие воспоминания сибиряка» (1884, № 26, 33) самого издателя газеты и друга писателя — Н. М. Ядринцева. Из них следует, что И. В. Омулевский был знаком и часто сотрудничал с Н. А. Некрасовым, который поддержал социальную направленность его стихотворения «Солдатка», В. С. Курочкиным, Д. Д. Минаевым, слушал лекции Н. И. Костомарова. В «Восточном обозрении» (1884, № 6) увидели свет и воспоминания Н. С. Щукина «При разливе Оби». В свое время именно он ввел И. В. Омулевского в круг сибирского землячества в Петербурге, во многом способствовавший духовному формированию, гражданскому самоопределению писателя. Не прерывая связей с Сибирью, И. В. Омулевский оказывал поддержку молодым литераторам-землякам, в частности, как свидетельствует Н. М. Ядринцев, иркутскому поэту Красноперову.

Чаще выступая как поэт, И. В. Омулевский развил в «Восточном обозрении» и свой опыт публициста. Критический материал для «Набросков сибирского поэта» дала захолустная жизнь Верхоянска, Якутска, Минусинска и других «медвежьих углов» Сибири, многочисленные факты рутины, невежества, лихоимства, вымогательства. Не пощадил писатель и родной Иркутск, негласно признанный столицей Восточной Сибири. В архиве И. В. Омулевского сохранился автограф последней части «Набросков сибирского поэта» (ЦГАЛИ, ф. 371, оп. 1, д. 7), содержащий незначительные разночтения с журнальным текстом.

УЧЕНЫЕ РАЗГОВОРЫ. Рассказ. Печатается впервые по черновому автографу, хранящемуся в личном фонде И. В. Омулевского (ЦГАЛИ, ф. 371, оп. I, д. 6, б/д). На заглавном листе помета рукою автора: «Рассказ из путевых впечатлений».

СОФЬЯ БЕССОНОВА. Повесть. Печатается впервые по черновому автографу, хранящемуся в личном фонде И. В. Омулевского (ЦГАЛИ, ф. 371, оп. I, д. 5, б/д). На заглавном листе помета: «На тему эмансипации».

НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР. Роман. Печатается впервые по черновому автографу, хранящемуся в личном фонде И. В. Омулевского (ЦГАЛИ, ф. 371, оп. I, д. 2, б/д). На заглавном листе помета: часть I.

Н. Минаева

СОДЕРЖАНИЕ

Федоров-Омулевский И. В.

Ф33 Проза и публицистика/Сост. Н. В. Минаевой и В. Д. Оскоцкого; Вступ. ст. В. Д. Оскоцкого; Примеч. Н. В. Минаевой; Худ. В. В. Еремин.— М.: Сов. Россия, 1986.—368 с., 1 л. портр.

Творчество Иннокентия Васильевича Федорова-Омулевского (1836—1883) — заметная и яркая веха в истории передовой русской литературы XIX века. Роман «Шаг за шагом», самое известное произведение писателя, неоднократно переиздавался. В настоящий сборник вошли основные прозаические сочинения Омулевского, а также избранная публицистика — фельетоны и очерки, подтверждающие заслуженную репутацию писателя и журналиста — непримиримого борца с темным, отживающим миром, убежденного демократа, твердого идейного союзника и последователя Чернышевского, Салтыкова-Щедрина, Некрасова.

Р1

Ф $\frac{4702010100-216}{М\text{-}105(03)86}$ 95—86

Иннокентий Васильевич Федоров-Омулевский

ПРОЗА И ПУБЛИЦИСТИКА

Редактор Т. М. Мугуев
Художественный редактор Г. В. Шотина
Технический редактор Л. А. Фирсова
Корректор М. Е. Козлова

И Б № 4396
Сдано в наб. 23.01.86. Подп. в печать 25.06.86. А02365. Формат 84 × 108/$_{32}$. Бумага типогр. № 1 (на вкл. — мелов.). Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 19,43 (в т. ч. вкл. 0,11). Усл. кр.-отт. 19,43. Уч.-изд. л. 22,99 (в т. ч. вкл. 0,03). Тираж 200 000 экз. Заказ 1047. Цена 2 р. 30 к. Изд. инд. ЛХ-82.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

Отпечатано с фотополимерных печатных форм «Целлофот»